



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

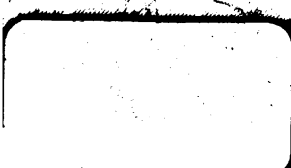
Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>







$$\begin{array}{r}
 17.154.2.9\bar{5} \quad 120 \\
 \hline
 667 \quad + \\
 130 \quad \frac{5-3}{202} \quad + \quad 130 \quad \frac{5-3}{198} \quad +
 \end{array}$$

$A_p \times 985a$

131

А. В. АМФИТЕАТРОВЪ.

КУРГАНЫ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1905.

**PRESERVATION
COPY ADDED
ORIGINAL TO BE
RETAINED**

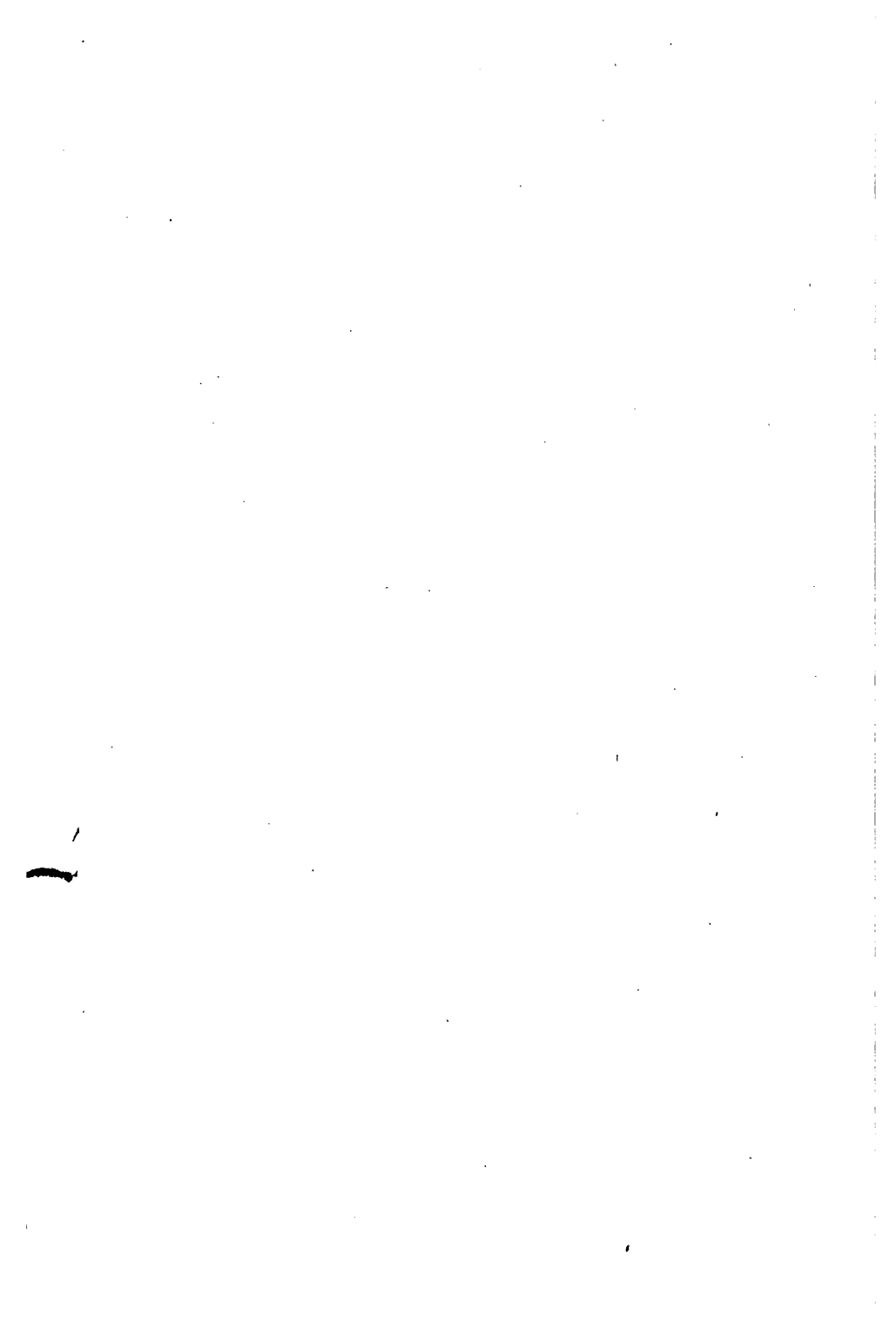
MAY 20 1994

PG3451
A7K85
1905

Памяти

Антон Павловича

ЧЕХОВА.



I.

Я не зналъ, какъ я тебя любилъ,
Я далекъ тебѣ живому былъ,
Я кипѣлъ и пламенѣлъ въ борьбѣ—
Рѣдко помнилъ, думалъ о тебѣ...

Злая вѣсть пришла издалика—
Затряслась съ письмомъ моя рука,
Къ горлу шаръ тяжелый подошелъ...
Я прочелъ письмо иль не прочелъ?

И хожу, хожу... а мыслей нѣтъ!
И одѣлся въ трауръ кабинетъ,
И пятно заката на стѣнѣ
Позолотой гроба мнится мнѣ!

О, какъ міръ внезапно опустѣлъ!
Безъ души осталось сколько тѣлъ!
Потому что ихъ душа была—
Только свѣтъ отъ твоего чела.

Сквозь погостъ не жившихъ мертвецовъ,
Безъ могилъ, безъ пѣня и вѣнцовъ,—
Какъ сокрытый богъ, свершилъ ты путь,
И скорбѣлъ, и говорилъ имъ:—Будь!

И рыдали мертвые глаза,
И жилая ждала слеза...
Чтобы жизнь в их тленье пролить,
Даль свою ты душу разделить!

И живеть, живеть твоя душа,
Какъ луна, свѣтла и хороша,
Въ каждой скорби-грусти на Руси,
Гдѣ ни глянь, кого ни спроси...

...Меркнетъ западъ, въ городѣ огни,
Барки спать подъ берегомъ въ тѣни,
Лаетъ песъ, на ночь освирѣпѣвъ,
На рѣкѣ—гармоники напѣвъ.

Дѣтка плачетъ, женщина поетъ,
По доскѣ чугунной сторожъ бьетъ,
Зашумѣлъ-запѣлъ кленовый садъ...
Это—ты, усопшій богъ и братъ?

Всюду, гдѣ тоскуетъ красота,
Скорбь твоя росой разлита...
Никогда мнѣ ближе ты не былъ!
Я не зналъ, какъ я тебя любилъ!

2 іюля 1904 г.
Вологда.

Н.

Прекраснымъ свѣтлымъ вечеромъ 2-го іюля получилъ я телеграмму о смерти Антона Павловича Чехова. Подъ окнами моего дома—яркая излучина рѣки, видная далеко-далеко на востокъ и на западъ. Рѣка жила, въ печальномъ огнѣ заката, усыпанная десятками лодокъ. Скрипѣло концертино. Пѣли хоромъ молодые голоса:

Хорошо было дѣтинушкѣ
Сыпать ласковы слова,
Да трудненько Катеринушкѣ
Парня ждать до Покрова!..

И хотѣлось мнѣ выбѣжать на бугоръ надъ излучиною и крикнуть имъ туда, на рѣку:

— Не пойте! Антонъ Павловичъ Чеховъ умеръ!..

И зналъ я, что, если выбѣгу и крикну, то замолкнутъ, скованные ужасомъ, голоса, и онѣмѣетъ унылая рѣка, и надвигающіяся сумерки накроютъ ее, какъ черный трауръ. Потому что голосъ мой, отравленный рыданіями, прозвучалъ бы тою же безысходною тоскою, какъ тотъ голосъ, который возвѣстилъ когда-то греку-корабельщику въ Іоническомъ морѣ:

— Скончался великій Панъ!

Да! умеръ великій Панъ! великій Панъ русской природы русскаго бытового уклада, разносторонней русской скорби, немногихъ, скромныхъ и робкихъ русскихъ радостей. Умеръ человѣкъ, который дышалъ одною жизнью съ

*

Россіей, который весь былъ сотканъ изъ русской стихіи, грустной, покаянной, самопровѣряющей, самобичующей... Умеръ гениальный художникъ, проникновеннымъ чутьемъ своимъ создавшій столько русскихъ, неотъемлемыхъ отъ насъ, плоть отъ плоти и кость и костей нашихъ, типовъ, что если бы собрать и поселить вмѣстѣ всѣ дѣйствующія лица Чехова, то возникъ бы цѣлый уѣздный городъ. И былъ бы онъ—настоящій русскій городъ, такой какъ почти всѣ наши великорусскіе города: географическая точка мѣсто-нахожденія въ одномъ сборномъ пунктѣ нѣсколькихъ тысячъ людей, недоумѣвающихъ, зачѣмъ они существуютъ, зачѣмъ тянулось и извивалось ихъ прошлое, куда поведетъ будущее, и стоитъ ли его ждать...

Сейчасъ не время и не мѣсто оцѣнивать и подсчитывать громадность потери. Она ошеломляетъ, подавляетъ, отъ нея, проклятой и неожиданной, опомниться нельзя! Боже мой! Передо мною лежитъ его недавнее письмо—милое, веселое письмо о «Вишневомъ садѣ», съ бодрыми шутками, съ общаніемъ скоро увидѣться... Боже мой! Онъ только что собирался ѣхать на войну, врачомъ, изучать, какъ убиваютъ другъ друга и умираютъ другъ отъ друга, охваченные стихіей разрушенія, люди... Боже мой! Давно ли онъ улыбался Москвѣ,—кто думалъ, кто могъ, кто посмѣлъ бы думать, что прощальною улыбкою?

Я узналъ Антона Павловича двадцать два года назадъ, въ редакціи юмористическаго журнала, когда онъ былъ молодой, здоровый, веселый, полный какой-то почти произвольной даже, механической будто, наблюдательности, со смѣхомъ въ юныхъ глазахъ и серьезными складками надъ глазами,—когда онъ звался Антошею Чехонте и говорилъ мнѣ своимъ глуховатымъ басомъ:

— Когда мнѣ будутъ платить 15 копеекъ за строчку. я закажу себѣ фракъ и стану думать, что я великій писатель.

Обманивалъ ты, лгалъ на себя—никогда не лгавшій

человѣкъ! Строки Чехова давно уже стали драгоценнѣе золота, а великимъ писателемъ считать себя онъ такъ и не выучился, и когда чья-либо восторженная критика или благоговѣйная бесѣда говорили ему: пойми же самого себя, взгляни и возрадуйся, какъ ты великъ!—онъ отступалъ, смущенный, сконфуженный, почти въ испугѣ. Чеховъ былъ человѣкъ скептицизма истинно трагическаго. Онъ чувствовалъ себя въ жизни, какъ чувствовалъ бы естествоиспытатель огромныхъ знаній и притомъ съ зрѣніемъ, обостреннымъ до силы микроскопа. Онъ проникалъ и въ другихъ, и въ самого себя до послѣднихъ глубинъ человѣческой природы, до мельчайшихъ пружинъ ея таинственнаго механизма. И вотъ, въ концѣ концовъ, онъ изъ говорливаго юноши, съ смѣющимися глазами, переродился въ молчаливаго, преждевременно пожилаго человѣка, а въ глазахъ его появилась и застыла ясная и неподвижная, внутрь себя обращенная, скорбь—роковая скорбь страдающаго «человѣкобога», ушедшаго въ прозорливыя тайны самопознанія, недоступныя къ пониманію даже лучшимъ изъ умовъ обыкновенныхъ, и потому одинокаго, одинокаго, одинокаго въ жизни, какъ—печальный полубогъ-полувѣръ,—мечтающій сфинксъ среди пустыни. Мы знаемъ много мыслей Чехова, а я все-таки думаю, что онъ успѣлъ бросить намъ лишь крупинцы своей бездонной души,—снялъ лишь верхній слой богатаго закрема. Въ этомъ человѣкѣ, помимо всего, что онъ явно творилъ, всегда глѣбла особенная, внутренняя работа, таинственно,—можетъ быть, даже не всегда сознательно для него самого,—подготавливавшая его будущія откровенія. И владела имъ эта пожирающая сила мучительно и властно, и затаивалъ онъ въ себѣ власть ея, чтобы не остаться непонятымъ и страннымъ, даже предъ самыми благожелательными—больше, даже предъ самыми близкими и родными людьми. Мнѣ извѣстны случаи, когда инымъ поверхностно-умнымъ охотникамъ поговорить съ знаменитостью

и даже специалистамъ по этой части, Чеховъ не только не нравился, но даже казался... глупымъ! Покойный Курепинъ, обожавшій дарованіе Чехова и едва ли не первый благословившій его въ печать, такъ и умеръ въ убѣжденіи, что Чеховъ—огромный талантъ, но плохая голова, да еще скрытная, черствая натура. А, между тѣмъ, были уже написаны и «Скучная Исторія», и «Дуэль», и «Степь»!.. Всю силу и глубину мягкой до дѣтскости, любвеобильной души Антона Павловича можно было взять сразу только инстинктивнымъ сочувствіемъ; исподволь онъ требовали очень пристальной и любовной вдумчивости. Надо было полюбить его и повѣрить ему,—тогда сфинксъ открывался вамъ, краснорѣчивый уже въ молчаніи своемъ, не нуждаясь пояснять себя многими словами, и росъ, росъ громадою, пока не заслонялъ собою весь вашъ умственный горизонтъ. И тогда, въ священномъ трепетѣ, вы понимали, проникаясь имъ во всемъ существѣ своемъ, что предъ вами—человѣкъ великій.

Я, послѣ молодыхъ лѣтъ совмѣстной работы, встрѣчалъ, видалъ Чехова и переписывался съ нимъ—все черезъ большіе промежутки времени, рѣдкими урывками. И, при каждой новой встрѣчѣ, я поражался, какъ быстро и полно мудрѣлъ и старѣлъ внутри себя этотъ огромный умъ. Къ сорока годамъ у Чехова былъ уже взглядъ вѣщаго пророка, съ памятью нѣсколькихъ столѣтій, съ печальнымъ опытомъ позади, безъ радости въ думахъ о будущемъ. Всѣ знаютъ, какъ скромнень былъ Чеховъ. Онъ едва ли не единственный крупный нашъ писатель, о которомъ рекламы нѣтъ и не было даже въ формѣ «анекдотовъ изъ жизни». Публика любитъ рассказы о разсѣянности писателей. Не думаю, чтобы Чехова можно было назвать разсѣяннымъ,—слушалъ и наблюдалъ онъ съ изумительно чуткимъ и терпѣливымъ вниманіемъ. Но за разсѣянность можно было иногда принять то хроническое состояніе задумчивости, «зрѣнія, обращеннаго внутрь

себя», о которомъ я говорилъ выше и которое, когда Чеховъ не слѣдилъ за собою, вырывалось вслухъ словами, врядъ ли вполне чайными для него самого и вполне неожиданными для собесѣдника. Въ 1892 году я сидѣлъ у него на Малой Дмитровкѣ и рассказывалъ объ Италіи, откуда только-что возвратился. Антонъ Павловичъ ходилъ по кабинету, спрашивалъ, о себѣ кое-что рассказалъ. Потомъ разговоръ перешелъ на стороннія, обще-литературныя темы. И вдругъ глаза мои встрѣтили уже знакомый, ясно и отвлеченно осмысленный, взглядъ человѣка, необычайно важно задумавшагося о чемъ-то далекомъ другомъ, и меланхолическій басокъ прогудѣлъ мягко и рѣшительно:

— Надо ѣхать въ Австралію...

А затѣмъ Антонъ Павловичъ спохватился, даже слегка покраснѣлъ и живо возвратился, въ разговорѣ, «на первое».

Въ творчествѣ онъ выливался весь, полнымъ воплощеніемъ мысли, какъ выносилъ ее и сумѣлъ сказать—до самаго дна. Печатными листами или текстомъ для сцены, онъ давалъ все, что самъ зналъ о предметѣ дѣйствія и характерахъ его героевъ, и еще дальнѣйшихъ объясненій было требовать отъ него уже напрасно. Артисты московскаго Художественнаго театра неоднократно рассказывали мнѣ, какъ плачевно кончались попытки вызвать Чехова на толкованіе написанныхъ имъ ролей. Твердо высказавшійся авторъ смущался, какъ застигнутый врасплохъ, улыбался и гудѣлъ какую-нибудь общую, ничего не прибавляющую, характеристику, врѣдъ:

— Послушайте... знаете, онъ человѣкъ такой... веселый.

Или:

— У него свѣтлыя пуговицы.

Впечатленіе, однажды захваченное его наблюдательнымъ механизмомъ, оставалось въ Чеховѣ жить навсегда,

покуда, выработавшись, не вырывалось какимъ-либо чаянным или нечаяннымъ экспромптомъ. И это—до мельчайшихъ мелочей. Мнѣ рассказывалъ А. Л. Вишневскій (артистъ московскаго Худож. театра): Чеховъ остался чѣмъ то недоволенъ въ первомъ представленіи «Дикой Утки» или другой какой-то пьесы Ибсена и не умѣлъ или не хотѣлъ выразить, чѣмъ именно. Прошло три мѣсяца. Чеховъ и Вишневскій въ подольскомъ имѣніи Антона Павловича унять рыбу. Молчать. И вдругъ Вишневскій слышитъ, что Чеховъ смѣется, какъ ребенокъ.

— Что вы, Антонъ Павловичъ?

— Послушайте же, нельзя Артему Ибсена играть!

А объ Ибсенѣ всѣ забыли уже и думать! А онъ думалъ...

Художественный театръ звали, и справедливо, театромъ Чехова. Но и благодарный Чеховъ, воскрешенный этимъ театромъ къ призванію и успѣху драматурга, послѣ недостойнаго отношенія къ пьесамъ его на казенныхъ сценахъ, сроднился съ Художественнымъ театромъ до полной неразрывности. Женитьба писателя на талантливой артисткѣ О. Л. Книпперъ закрѣпила его тѣсное дружество съ дѣломъ Станиславскаго и Немировича-Данченко. Врядъ ли Антонъ Павловичъ меньше любилъ театръ ихъ и думалъ о немъ не столько же, какъ они сами. Въ письмѣ, полученномъ мною отъ Чехова всего шесть недѣль назадъ, дышитъ такая теплая, хорошая любовь къ этому симпатичному дѣлу.

Разумѣется, не Чехову было жаловаться на неудачи въ литературной карьерѣ. Онъ былъ признанъ и публикою, и критикою почти съ первыхъ своихъ начинаній, едва изъ московскаго «Будильника» перешелъ въ петербургскіе «Осколки» и создалъ для нихъ сотню миниатюръ, сложившихъ потомъ, впервые прославившіе его, «Пестрые рассказы». Затѣмъ—нововременскій періодъ, съ почти вложеннымъ благоговѣніемъ къ Чехову А. С. Суворина. За-

тѣмъ — «Русская Мысль», «Сѣверный Вѣстникъ» и тѣсный союзъ съ передовою частью русской печати. Затѣмъ — періодъ Художественнаго театра, европейская слава, обезпеченное положеніе... казалось бы, счастливицомъ путь-дорогу совершилъ, совсѣмъ Sonntagskind, въ сорочкѣ родился! А, между тѣмъ, этотъ счастливецъ томился глубокимъ и искреннимъ самонедовольствомъ, полнымъ недовѣрія къ существу своего успѣха и, — быть можетъ, больше того, — тяжелыхъ сомнѣній въ самой нужности своего творчества. Только, когда я видѣлъ Чехова по возвращеніи съ Сахалина, то нашелъ его, хотя очень мрачнымъ, но собою какъ будто довольнымъ, въ живомъ сознаніи, что онъ сдѣлалъ важное общественное дѣло, значеніе котораго не можетъ подлежать спору. Я не скажу, чтобы Антонъ Павловичъ былъ совершенно равнодушенъ къ *неуспѣху* своихъ произведеній: напримѣръ, нелѣпный провалъ «Чайки» Александринскимъ театромъ страшно потрясъ писателя и несомнѣнно отнялъ у его жизни нѣсколько мѣсяцевъ, если не лѣтъ. Но успѣхъ свой онъ принималъ какъ-то грустно, скептически, не безъ печальной насмѣшки втайнѣ и надъ самимъ собою, и надъ честию воздающими... Пессимистическій потомокъ Экклезіаста, онъ носилъ его начертаніе въ сердцѣ своемъ: *vanitas vanitatum et omnia vanitas*. Я вспоминаю Чехова, послѣ первыхъ петербургскихъ лавровъ и пушкинской преміи, въ дружескомъ домѣ одного московскаго поэта, угрюмымъ, какъ ночь.

Спрашиваютъ его:

— Что же вы подѣлывали въ Петербургѣ?

— Учился говорить генеральскимъ басомъ.

Хозяйка его попрекнула:

— Вы насъ совсѣмъ забыли, Антонъ Павловичъ. Отчего перестали у насъ бывать?

Онъ усмѣхнулся и отвѣтилъ:

— Да, вотъ, говорить, мы, великіе люди, должны знаться тоже только съ великими.

Фраза эта совсѣмъ ошеломила-было бѣдную даму, но когда она, вскипѣвъ, пристально взглянула на Чехова, то встрѣтила такой печальный взглядъ, такую страдальческую улыбку, что сразу поняла тяжелую иронию отвѣта. Величіе упало на плечи Чехова, какъ неожиданный, сверхсильный грузъ, и онъ потомъ, до конца дней, все щупалъ свои мускулы: въ подъемъ ли? выдержи ли? оправдаю ли? Его долго мучила мысль, что онъ не написалъ романа (чѣмъ, кстати сказать, часто и безъ толка попрекала его критика), и, сколько разъ ни видалъ я его до 1898 года, въ каждое свиданіе онъ намекалъ на начатый или задуманный планъ романа. Взыскательность его къ себѣ въ литературной работѣ и требовательность въ томъ отношеніи, что надо писать только дѣло, дошла въ послѣдній, болѣзненный годъ жизни, до безпощаднаго чирканья страницы за страницей, слова за словомъ.

— Помилуйте!—возмущались друзья:—у него надо отнимать рукописи. Иначе онъ оставитъ въ своемъ разсказѣ только, что—они были молоды, влюбились, а потомъ женились и были несчастны.

Упрекъ этотъ былъ поставленъ прямо самому Чехову. Онъ отвѣчалъ:

— Послушайте же, но, вѣдь, такъ же оно въ существѣ и есть.

Почетомъ Чеховъ дорожилъ совсѣмъ мало. Человѣкъ отнюдь не боевой, онъ не стремился въ вожди, не хотѣлъ и не умѣлъ быть воителемъ, но въ доблести стоять на своемъ убѣжденіи противъ какихъ бы то ни было сильныхъ теченій врядъ ли много ровесниковъ у Чехова среди интеллигентной Россіи *). Какіе бы вѣтры ни дули, онъ, русскій Экклезіастъ, стоялъ подъ ними недвижимый и печальный, и говорилъ правду, одну голую, горькую правду.

*) Достаточно вспомнить его благородный отказъ отъ званія академика, когда полицейскимъ вмѣшательствомъ лишенъ былъ этого званія Максимъ Горькій.

Лесть—тѣнямъ ли прошлаго, силамъ ли настоящаго, восходамъ ли будущаго—ни разу не осквернила его вѣщихъ устъ... Это былъ органически безобманный человѣкъ, не нуждавшійся ни въ мишурѣ, ни въ дешевыхъ рукоплесканіяхъ. И вотъ ужъ—правда-то: «Воленъ умеръ ты, какъ жилъ!».

Антонъ Павловичъ былъ очень обрадованъ успѣхомъ «Вишневаго сада», но его скептицизмъ къ самоощущенію не покинулъ его и здѣсь. Когда, на шумномъ московскомъ чествованіи, взволнованный Владиміръ Ив. Немировичъ-Данченко приступилъ къ чтенію адреса, начинавшагося обращеніемъ:

— Дорогой, многоуважаемый Антонъ Павловичъ!

Многіе замѣтили, что Чеховъ улыбнулся... Потомъ, на вопросы, онъ объяснилъ свою улыбку:

— Послушайте же, я же вспомнилъ. Меня чествовали послѣ второго акта, а въ первомъ Гаевъ говорить именно такую рѣчь къ столѣтнему книжному шкафу... «Дорогой, многоуважаемый шкафъ!»... Я вспомнилъ...

Огромно, но и страшно имѣть мозги, которыхъ нельзя утѣшить, которыхъ не въ состояніи опьянить никакое сообщество толпы, никакой восторгъ самолюбія! Недавно кто-то изъ критиковъ сказалъ, что Чеховъ, постигнувъ пошлость человѣческую глубже и подробнѣе, чѣмъ кто-либо до него, сталъ писателемъ роковымъ и страшнымъ. Да, онъ страшенъ. Неотразимъ и страшенъ. И самъ онъ понималъ устрашающее начало въ талантѣ своемъ, и—къ концу жизни—пытался остановить потопъ обличенной и отчаявшейся въ себя пошлости радугами новыхъ свѣтлыхъ надеждъ... Написалъ «Невѣсту» и «Вишневый садъ», но даже и въ этихъ гимнахъ молодости «струны печально звенѣли!». Скорбь, отравившая чеховскую мысль, умѣла и любила улыбаться сквозь слезы... Онъ и самый грустный, и самый смѣшливый нашъ писатель.

— Написалъ я комедію, но, кажется, вышелъ фарсъ!—

писаль А. П. около года тому назадъ московскому Художественному театру.

Фарсъ этотъ оказался глубочайшею драмою «Вишневаго сада»! Такъ взыскательно относился къ себѣ этотъ удивительный человѣкъ, никогда не разлучавшійся съ мыслью, что родина ждетъ отъ него большого-большого слова, и потому каждое слово свое вѣсившій строго и придирчиво: оправдаетъ ли оно довѣріе общественное?

Чеховымъ была поставлена заключительная точка гоголевскаго теченія въ русской литературѣ, въ Чеховѣ умеръ законченный періодъ литературный, начало котораго въ Гоголѣ. Умеръ, конечно, чтобы вѣчно жить. Ахъ, господа! Передъ тѣмъ, какъ сѣсть за эту статью, шелъ я на почту скучными, малолюдными улицами и смотрѣлъ на ихъ жизнь, на дома и лица встрѣчныхъ людей... И шли они, шли безконечною чередою, красивые и безобразные, умные и глупые, богатые и бѣдные, печальные и веселые, счастливые и несчастные, — знакомые знакомцы, — герои чеховскихъ рассказовъ... И изъ чеховскаго рассказа былъ полиціймейстеръ, пролетѣвшій мимо меня въ экипажѣ на шинахъ... И изъ чеховскаго рассказа былъ на почтѣ телеграфистъ, который, зѣвая, писалъ мнѣ квитанцію и сыпалъ на нее песокъ, словно хотѣлъ ее похоронить... Всюду онъ! Всюду Антонъ Павловичъ! Всюду его зеркало... Да развѣ не найду себя у Чехова и я, дописывая эту статью съ мучительнымъ и страстнымъ угрызеніемъ совѣсти, что не сумѣлъ сказать и сотой доли того, что хотѣлъ и былъ долженъ? Развѣ не найдете себя въ портретахъ Чехова вы, которые будете набирать эту статью, корректировать, ставить въ газету? Вы — мужчины и женщины обывательщины — которые будете ее читать?.. Всѣ — въ немъ, и нѣтъ ему чужого. Скончался великій Панъ! Умеръ поэтъ всѣхъ насъ, — и всѣ мы о немъ, какъ лѣтняя туча, заплачемъ...

Вологда
3 іюля.

III.

И текутъ часы, текутъ, и нѣтъ другихъ мыслей, какъ о немъ, объ Антонѣ Павловичѣ, а цинковый гробъ съ его прахомъ быстро движется къ родной землѣ... Земля ты и въ землю отыдешь!.. Это о Чеховѣ, о Чеховѣ скажутъ! О, какъ дико прозвучать эти вѣчныя слова, какую насмѣшливою несправедливостью, какую невѣроятною жестокостью намъ покажутся...

Бываютъ глубокомысленные и важные писатели, которыхъ общество прозываетъ сердцевѣдами. Я не люблю этого титула: ужъ очень онъ затасканъ и опошленъ. Когда я слышу его, мнѣ всегда представляется огромное красное сердце, въ видѣ червоннаго туза, а писатель-сердцевѣдъ—вродѣ мага и волшебника, обязаннаго представлять публикѣ, съ удивительнымъ симъ препаратомъ, разныя удивительныя штуки. Комочекъ человѣческаго сердца совсѣмъ не вырѣзанъ въ формѣ червоннаго туза, но вѣдь обыкновенными, нашего брата, обывателя, сердцами возвышенные сердцевѣды такъ мало занимаются! Ихъ спеціальность—сердца героевъ, а у героевъ, Богъ ихъ знаетъ, они, можетъ быть, и червоннымъ тузомъ. «Героя» неоплатоники опредѣляли, какъ существо полутѣлесное, не совершенно божественное, но сверхчеловѣческое, не вовсе духовное, но уже вѣѣ нашей грубой матеріи. Опредѣленія «герой романа», «герой разсказа» всегда напоминаютъ мнѣ античныхъ героевъ неоплатонизма. Они отъ земли, но какъ будто уже и сверхъ земли. Нашъ герой—именно всегда слишкомъ «герой»: человѣкъ-то онъ человѣкъ, а какъ будто немножко и выше человѣка, какъ будто и живая статуя, глядящая на міръ съ услужливо подставленнаго пьедестала. За исключеніемъ Гоголя, отъ этого недостатка не умѣлъ отдѣлаться ни одинъ даже изъ великихъ нашихъ

сердцевѣдовъ реалистовъ, а Гоголь недостатокъ наивно почиталъ достоинствомъ и терзался огорченіемъ, что въ типахъ его рѣшительно нѣтъ героическаго элемента, съ «подъемомъ», и усиливался навязать имъ героизмъ, во что бы то ни стало, и тогда создавалъ, вмѣсто Чичиковыхъ, Собакевичей и Маниловыхъ, манекены благодѣтельныхъ откупщиковъ и генералъ губернаторовъ, либо вычурные изломы художниковъ Черткова и Пискарева. Даже у Льва Толстого, какъ у беллетриста, при всей могущественной правдѣ его, было прежде влеченіе выискивать и писать людей необыкновенныхъ, выше уровня жизни, стоящихъ сравнительно съ массою—на пьедесталѣ. О Тургеневѣ нечего и говорить: его романы—роскошный музей героическихъ статуй. Не безъ пристрастія къ героизму и глубокое сердцеvědніе Достоевскаго. Раскольниковы, Карамазовы, Рогожины, всѣ они—въ высшей степени люди, но какъ будто выше ростомъ среднихъ людей, и именно «въ высшей степени люди», и сердца ихъ—великанскія сердца, съ великанскими страданіями и пороками. Изумительно сильная психологическая проникаемость Достоевскаго показывала читателю человѣческое сердце, какъ показываютъ его теперь въ народныхъ аудиторіяхъ: вы ярко видите на экранѣ каждый сосудъ, и весь процессъ кровообращенія и, увлеченный сложнымъ и сильнымъ видѣніемъ, забываете и думать о томъ, что сердце, которое предъ вами, величиною съ васъ самихъ, и не могло бы помѣститься ни въ вашей груди, ни въ груди вашего сосѣда Ивана Ивановича. Писатели, которые, послѣ Гоголя, шли строго по его тропѣ, безъ увеличительныхъ стеколъ героизма, чрезвычайно рѣдки, и не везло имъ. Самая крупная между ними фигура—Писемскій—гигантскій талантъ наблюденія, при полной неспособности одухотворять и обобщать наблюденное, къ тому же на полдорогѣ загубленный службою дикой тенденціи. Помяловскій, Глѣбъ Успенскій... Послѣдній, въ противополож-

ность Писемскому, былъ необычайно глубока духовно и силенъ чувствомъ, но косноязыченъ въ словахъ, какъ Моисей, и обдѣленъ даромъ художественной выразительности.

Творческимъ гениемъ этого подготавливавшегося направления пришелъ въ русскій міръ Антонъ Павловичъ Чеховъ и утвердилъ его такъ прочно и ясно, что сейчасъ уже странно читать беллетристику, иначе къ жизни относящуюся. Онъ былъ врачъ, и профессія, къ которой онъ былъ очень привязанъ,— такъ что близкіе къ Чехову люди часто трунили надъ великимъ писателемъ, что втайнѣ онъ возжелѣетъ къ медицинѣ гораздо больше, чѣмъ къ литературѣ,—и профессія врача, хотя и не лѣчащаго; наложилъ яркій и глубокий отпечатокъ на всѣ его произведенія, придавъ имъ совершенно особый характеръ: большаго вниманія къ организму, чѣмъ къ личности,—этой аналитической, до мелочнаго подробной, вдумчивости въ механизмъ общихъ причинъ и въ случайности аномалій, какою создается талантливый медицинскій діагнозъ. Почти всѣ рассказы Чехова—иллюстраціи къ психическимъ дефектамъ психически здоровыхъ, остающихся въ быту нормальной жизни, но съ нѣкоторою душевною трещиною—людей. И такъ какъ жилка трибуна, общественнаго проповѣдника, билась въ Антонѣ Павловичѣ не сильно, то, не отвлекаемый ни потребностью жгучаго сатирическаго протеста, какъ Гоголь, ни дидактическими тенденціями, какъ тоже позднѣйшіе Гоголь, Достоевскій и Левъ Толстой, Чеховъ пошелъ въ своемъ специальномъ діагнозѣ гораздо дальше всѣхъ своихъ предшественниковъ, дальше даже Мопассана, кого онъ самъ почиталъ своимъ литературнымъ отцомъ и съ кѣмъ у него такъ много общаго и такъ много разнаго. Если возвратиться къ метафорѣ *сердцевѣдѣнія*, то Чеховъ былъ первымъ нашимъ писателемъ-сердцевѣдомъ въ самомъ наглядномъ и матеріальномъ смыслѣ этого слова, то есть научно и детально понимав-

шимъ роль комочка, именуемаго сердцемъ, въ человѣческомъ организмѣ и, обратно, зависимость сердца отъ аномалій организма. Въ его произведеніяхъ наберется, вѣроятно, не одна тысяча дѣйствующихъ лицъ: громадная литературная амбулаторія, гдѣ онъ слушаетъ, вглядывается, ошупываетъ, обдумываетъ мыслью, чувствуетъ инстинктомъ тѣло за тѣломъ, твердо зная и памятуя, что въ каждомъ изъ тѣлъ бьется не красиво вырѣзанный червонный тузъ, а маленькій темнокрасный комочекъ — и жизнь каждого изъ комочковъ была ему близка, мила и дорога, какъ хорошему врачу — жизнь каждого изъ его пациентовъ, безразлично, умнаго или глупаго, богатаго или бѣднаго, счастливаго или несчастнаго, талантливаго или бездарнаго. Медицина глубоко демократична. Для медика нѣтъ необыкновенныхъ людей, — могутъ быть только организмы съ отклоненіями въ сторону той или другой аномаліи. Медикъ можетъ съ энтузіазмомъ преклоняться предъ гениемъ ближняго своего, но если онъ долженъ будетъ этого гениальнаго ближняго своего лѣчить, то діагнозъ ставить придется ему тѣми же средствами, съ тѣхъ же отправныхъ точекъ и догадокъ, какъ если бы лѣчилъ онъ не генія, но дурака. И вотъ, это-то медицинское единство діагноза создало великую новую силу Чехова, и если гоголевскій періодъ русской литературы поставилъ въ немъ заключительную точку своего развитія, то самъ онъ, въ то же время, является отправною точкою для новаго литературнаго періода, въ которомъ аналитическая сила реального знанія приходитъ на смѣну реалистическому воображенію, большей или меньшей удачѣ психологическихъ догадокъ. Величайшій угадчикъ-психологъ Толстой сильно сближается съ Чеховымъ въ «Смерти Ивана Ильича» и въ не-дидактической части «Крейцеровой Сопаты», придавая гениальнымъ чутьемъ къ тѣмъ же формамъ и приѣмамъ, какіе дала Чехову научная закваска матеріалистической науки и школы. Въ противность Толстому, Чеховъ очень

рѣдко выбиралъ темою для своихъ художественныхъ работъ жизнь людей выше средняго интеллигентнаго уровня: у него нѣтъ ни князя Андрея, ни Анны Карениной, ни князя Нехлюдова, ни Пьера Безухова, прекрасныхъ натуръ, выдѣлившихся изъ массы своею необыкновенною красотою. Когда же Антону Павловичу приходилось имѣть дѣло съ «необыкновеннымъ человѣкомъ», онъ поступалъ съ нимъ именно—какъ медикъ съ знаменитымъ больнымъ: снималъ съ него все великолѣпіе личности и оставлялъ его обнаженнымъ, возвращеннымъ въ массу себя подобныхъ, организмъ. Это—«Ивановъ», это—профессоръ «Скучной исторіи», это—Зинаида Николаевна въ «Запискахъ неизвѣстнаго человѣка». Обнаженные, изслѣдованные, продуманные, прочувствованные—и... земля! земля! земля!.. несчастные и скорбящіе, какъ вся земля...

* *

Сейчасъ я пересмотрѣлъ нѣсколько писемъ Антона Павловича, сохранившихся у меня отъ разныхъ годовъ. Когда онъ подписывалъ свою фамилію, то росчеркъ опускалъ длинную прямую чертою внизъ. Кто-то, уже давно, объяснилъ мнѣ, что такой росчеркъ считается графологами фатальнымъ, выдаетъ натуру глубокую, печальную, безъ надеждъ медленно и замкнуто уничтожающую себя. Сейчасъ, когда Чеховъ въ гробу, росчеркъ этотъ оправдалъ себя... И тѣмъ большее производитъ онъ впечатлѣніе, что инныя изъ писемъ веселы и бодры, улыбаются, острятъ. А внизу, все-таки, виситъ грозный могильный червякъ, произвольно выдающій основу натуры этого развеселившагося больного человѣка,—вѣчно соприсущее ему пониманіе смерти въ себѣ и во всей природѣ, тихое *emento mori*. Я заклятый врагъ «личныхъ воспоминаній съ чертами изъ жизни» и печатанія писемъ знаменитыхъ покойниковъ и оглашать этого матеріала никогда не стану. Но сейчасъ, по смерти Антона Павловича, конечно, пойдутъ поиски

преемниковъ и учениковъ его, кого онъ любилъ въ молодой литературѣ, кого цѣнилъ, отъ кого ждалъ. Поэтому считаю полезнымъ отмѣтить, что въ послѣднемъ своемъ письмѣ ко мнѣ онъ восторженно отзывался о маленькомъ очеркѣ г. Бунина «Черноземъ» (въ первомъ сборникѣ «Знанія»). Г. Бунину это сообщеніе—большая «реклама», но такъ какъ я и представленія не имѣю, гдѣ, какъ и какой онъ, г. Бунинъ, на свѣтѣ живетъ, то дѣлаю ее съ доброю совѣстью, а скрыть отъ публики рекомендацію молодого писателя-ученика такимъ великимъ учителемъ почитаю за грѣхъ...

4-го іюля.
Вологда.

IV.

Много пишутъ въ газетахъ объ отношеніяхъ денежныхъ между покойнымъ Антономъ Павловичемъ Чеховымъ и А. Ф. Марксомъ, издателемъ его сочиненій. Г. Марксу достается съ разныхъ сторонъ, и крѣпко. Полагаю, что судъ этотъ—сильно сторяча: скорый, но не слишкомъ справедливый и совѣтъ уже не милостивый. 75.000 рублей, заплаченныхъ г. Марксомъ за право авторской собственности на чеховскія произведенія—да, это, за Чехова, дешево. Но дешево сейчасъ, когда писательскій заработокъ въ Россіи хорошо сталъ на ноги, когда выросли гонорары, и полное собраніе сочиненій, хотя бы и популярнаго автора, не представляетъ издателю риска завалить имъ, вмѣсто книжнаго рынка, свои книжные амбары. Этому счастливому періоду писательства едва исполнилось пять лѣтъ. Говорять, и даже печаталось, что, полтора года тому назадъ, г. Марксъ предложилъ Максиму Горькому за право собственности на его сочиненія 150.000 рублей, но получилъ, чрезъ своего повѣреннаго, отвѣтъ:

— Передайте Марксу, что я не дуракъ.

Если это и легенда, то выразительная. Сейчас всякій понимаетъ, что, дѣйствительно, надо быть дуракомъ, чтобы продать за 150.000 рублей золотой рудникъ, способный принести миллионъ. Но въ девяностыхъ годахъ о подобныхъ перспективахъ книжнаго рынка никто не мечталъ, и на отвѣтъ Горькаго, вполнѣ естественный и резонный теперь, въ тѣ времена г. Марксъ, пожалуй, былъ бы въ правѣ возразить:

— Сомнѣваюсь.

Антонъ Павловичъ, какъ писатель старшаго восьмидесятнаго поколѣнія, не имѣлъ ни привычки, ни импульса «набивать себѣ цѣну» и рѣшительно не умѣлъ воображать огромныхъ суммъ, какими легко «щелкають» многіе изъ современныхъ ходовыхъ журналистовъ и литераторовъ. Пишущій эти строки, предвидя скорое повышеніе цѣнъ на книжномъ рынкѣ, при встрѣчѣ съ Чеховымъ именно въ періодъ продажи имъ «правъ», очень уговаривалъ Антона Павловича не торопиться; но онъ твердо указывалъ на необходимость обезпечить свои послѣдніе, болные годы какимъ-либо твердымъ фондомъ и, со свойственнымъ ему скептицизмомъ въ самооцѣнкѣ, увѣрялъ, что я преувеличиваю его значеніе и хочу внушить ему манію величія:

— Послушайте же, кто же изъ русскихъ писателей продавалъ свои сочиненія за 75.000 рублей?!

И, дѣйствительно, только что—тѣмъ же г. Марксомъ—были пріобрѣтены права на сочиненія Д. В. Григоровича, помнится, за 20.000 рублей, Лѣскова — за 30.000, и вровень съ Чеховымъ оказался одинъ Достоевскій—тоже за 75.000 рублей. Что, пріобрѣтая чеховскія сочиненія, г. Марксъ преслѣдовалъ исключительно свои коммерческія цѣли, а вовсе не собирался «облагодѣтельствовать» Антона Павловича,—это безспорно, на то г. Марксъ и коммерсантъ, да Антонъ Павловичъ и не принималъ бы благодѣянія. Но, что г. Марксъ далъ Антону Павловичу высшую оцѣнку, какую допускалъ въ то время

книжный рынокъ,—это тоже вѣрно и подтверждается все-го нагляднѣе уже тѣмъ обстоятельствомъ, что произведенія его очутились въ рукахъ у совершенно чужого ему издателя, г. Маркса, а не у дружески связаннаго съ нимъ А. С. Суворина въ Петербургѣ и не у Сытина въ Москвѣ. Желая обезпечить себя, Чеховъ взялъ наибольшую сумму предложенія,—счастливымъ покупщикомъ, Лопатинымъ этого дивнаго «Вишневаго сада», оказался г. Марксъ. У другихъ капиталистовъ-издателей не хватило ни вѣры въ Чехова, ни смѣлости пойти до 75.000 рублей, а Марксъ пошелъ. Только и всего. И—за что тутъ Маркса теперь ругаютъ, не понимаю. «Хозяйскихъ» отношеній между Марксомъ и «работникомъ» Чеховымъ никакъ не могло быть по той простой причинѣ, что Чеховъ не былъ обязанъ къ какой-либо новой работѣ на Маркса, а просто всякую вещь, напечатанную Чеховымъ гдѣ-либо, Марксъ имѣлъ исключительное право выпустить отдѣльнымъ изданіемъ, приплативъ Чехову по 250 рублей съ листа. Въ числѣ негодующихъ на г. Маркса голосовъ есть и издательскіе. Протестъ одной изъ фирмъ заставилъ меня улыбнуться, потому что сама эта фирма платитъ за отдѣльное изданіе, напечатанной въ журналѣ или газетѣ, беллетристики отъ 25 до 50 р. за листъ, смотря по популярности автора. Вообще надо прямо и откровенно сказать: книжный авторскій гонораръ создало «Знаніе»; до его широкаго вліянія на рынокѣ авторъ въ Россіи всегда оказывался почти просителемъ, навязывающимъ сомнительный товаръ, а издатель чувствовалъ себя чуть не благодѣтелемъ, рискующимъ своею казною на дѣло темное и невѣрное.—«Ну, да ужъ люблю образованныхъ людей! Держи четвертной билетъ съ листа, гдѣ наше не пропадало!» «Знаніе» сдѣлало на книжномъ рынокѣ такой же подъемъ заработной платы, какъ на газетномъ, въ восьмидесятыхъ годахъ, «Новое Время», а въ 1899 году—снова—«Россія», цѣны которой на литературный трудъ упрочились, потянувъ за со-

бою необходимостью конкуренціи всѣ ежедневныя изданія (не потянувшіяся—умерли отъ недостатка читателей), и держатся, какъ отправная точка, по сіе время, хотя газета давно погибла. Разумѣется, сдѣлали эти подъемы не «Знаніе», не «Новое Время» и не «Россія», а потребность и духъ времени, спросъ на рынкѣ, но я отмѣчаю только инициативы, быстро, смѣло и успѣшно пошедшія навстрѣчу потребности. «Знаніе» не побоялось заплатить Чехову за «Вишневый садъ» 5.000 рублей—по 1.250 рублей за листъ. При наличности такого результата на рынкѣ, русскому литератору очень можно поторговаться за себя съ издателемъ. Въ девяностыхъ годахъ, даже въ концѣ ихъ, ничего подобнаго мы не имѣли. И, когда г. Марксъ заплатилъ Чехову тѣ 75.000, за которыя его теперь угрызають, сколько коллегъ открывали широко глаза, всплескивали руками и восклицали:

— Да—ну?

Такъ что, я полагаю—въ негодованіи на г. Маркса повиненъ не столько самъ г. Марксъ, сколько быстрый ростъ цѣнъ литературы на издательскомъ рынкѣ и еще быстрѣйшее забвеніе недавнихъ условій послѣдняго. Сейчасъ, сколько я знаю по петербургскимъ литературнымъ знакомствамъ, тотъ же г. Марксъ платитъ ту же чеховскую цѣну, за «права» беллетристовъ, хотя талантливыхъ и почтенныхъ, но не имѣющихъ и трети ни чеховскаго авторитета, ни чеховской популярности. Что же г. Марксъ щедрѣе, что ли, сталъ? Но онъ всегда имѣлъ и оправдывалъ репутацію наиболѣе широкаго плательщика въ русскомъ издательствѣ. Нѣтъ, не щедрѣе, но цѣны выросли,—вотъ въ чемъ секретъ. И гнѣваться на Маркса, что онъ купилъ дешево Чехова, не болѣе основательно, чѣмъ обижаться на отцовъ нашихъ, зачѣмъ они покупали фунтъ мяса по 4 копейки, а мы платимъ 16 копеекъ.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что газетный рынокъ стоитъ сейчасъ въ особенно высокомъ подъемѣ заработной платы.

Любопытны были попытки нѣкоторыхъ изданій сбить эти цѣны въ началѣ войны, вліяніемъ ошибочнаго расчета, будто интересъ публики къ войнѣ замѣнить сотрудниковъ. Но экономическіе законы непреложны, и, однажды давъ на рынокъ лучшее, нельзя, безъ ущерба для себя, возвратиться на худшее. Война шла войною, равно иллюстрируемая всѣми газетами, какъ фонъ издательства, а безъ сотрудниковъ газеты не обошлись. — И уровень литературныхъ гонораровъ не уступилъ искусственной агитации, и корыстные издатели принуждены были вскорѣ убѣдиться, что затѣяли не благо, ибо начали терпѣть быстрое пониженіе въ подпискѣ и розницѣ. Но, при бесспорной высотѣ цѣнъ, мнѣ, все-таки, показались преувеличенными примѣрныя цифры, выставленныя Дорошевичемъ въ статьѣ, «Русскаго Слова». Ну, гдѣ же они, эти «мало-мальски выдающіеся» журналисты съ доходами въ 25 — 30.000 рублей въ годъ?! Одного я такого знаю, но онъ не «мало-мальски», а чрезвычайно выдающійся, и зовутъ его Власть Михайловичъ Дорошевичъ. А еще-то кто же? Нѣтъ, о журналистахъ столь высокой доходности Власть Михайловичъ могъ написать только, сидя въ очень многозеркальномъ кабинетѣ, каковой и былъ у него въ Петербургѣ: для дѣйствительности, это, къ сожалѣнію, лишь lapsus calami.

Возвращаясь къ денежнымъ обстоятельствамъ покойнаго Антона Павловича, думаю, что считать содержимое чужого кармана—дѣло трудное и мало благодарное. Самымъ плачевнымъ для обстоятельствъ этихъ факторомъ, конечно, приходится указать жестокую хроническую болѣзнь писателя, сократившую его работоспособность какъ разъ въ то время, когда интересъ къ нему выросъ до апогея, и стоимость его труда превысила всѣ, бывшіе доселѣ въ Россіи, примѣры литературнаго заработка. Съ одного уже художественнаго театра Чеховъ получилъ за послѣдніе годы не одинъ десятокъ тысячъ, и въ гонорарномъ спискѣ общества драматическихъ писателей имя его стало едва

ли не на первомъ мѣстѣ. Трудъ огромной доходности оборвался какъ разъ въ то время, когда бы ему развиваться: вѣдь Чеховъ умеръ 44 лѣтъ!.. А затѣмъ—«ну ужъ, что ужъ?»—какъ говорить старуха въ «Волкахъ и овцахъ»: ну, какіе мы всѣ, російскіе литераторы, практики? Строить начнемъ — простроимся, издавать — произдаемся, покупаемъ—втридорога, продаемъ—втридешева. Когда русскій литераторъ затѣваетъ что-нибудь денежное, помимо прямого источника своихъ заработковъ — писательства, я всегда ощущаю печаль и ужасъ, въ ожиданіи, скоро ли и на сколько онъ прогоритъ? Зарабатывать мы можемъ очень много, а распоряжаться заработкомъ—кто изъ насъ практиченъ-то? кто умѣлъ? Не умѣютъ широко живущіе, кутящіе, бросающіе деньги направо и налево, игроки, женолюбцы. Не умѣютъ и скромные, цѣломудренныя, непьющіе, домосѣды-семьяне, съ очень ограниченными житейскими потребностями, какъ покойный Антонъ Павловичъ Чеховъ. Это что-то роковое: словно писательское дѣло—только сѣять, а въ житницу за него соберутъ другіе. И, что сквернѣе всего, и публика-то у насъ какъ-то привыкла ко взгляду, что — зарабатывай писатель хоть миллионъ въ годъ, но собирать въ житницу—ему чуть не зазорно. Сколько слуховъ и сплетенъ противъ Максима Горькаго возбуждали въ обществѣ его большіе доходы! И имѣнія то онъ въ 400.000 р. покупалъ, и шестиэтажный домъ строилъ, и какія-то акціи скупалъ... цѣлый рай въ буржуазной фантазіи! И ко всякой сплетнѣ со злорадствомъ прибавлялось:

— Вотъ-съ вамъ и босякъ!

А о широкой благотворительности того же Максима Горькаго «народъ безмолвствовалъ» — все равно, какъ—кто же это помнилъ, что Чеховъ строилъ школы, образовалъ на свой счетъ нѣсколькихъ совершенно чужихъ ему молодыхъ людей, и не было бѣды человѣческой, которая, постучавшись въ его окно, осталась бы безъ помощи?

Да и не стучавшись! Не одинъ изъ собратьевъ-литераторовъ могъ бы разказать, что—когда «въ глуши, во мракѣ заточенья тянулись тихо дни его»—прилетали отъ Чехова неожиданное письмо или телеграмма, съ робкимъ, деликатнымъ запросомъ:

— Не нуждается ли въ чемъ либо? *)

Не могутъ быть богатыми Чеховы, ибо—«легче верблюду пройти въ ушко игольное, нежели богатому въ царствіе небесное», а идеаль царства небснаго на землѣ—царства свѣта, благородства и человѣколюбія — всегда присущъ ихъ сіяющимъ душамъ и сильнѣе въ нихъ всего, всего... Чеховъ, какъ Леонидъ Гаевъ, могъ въ задумчивости произнести прекрасную, возвышенную рѣчь о столѣтнихъ заслугахъ книжнаго шкафа, либо радоваться своему умѣнью говорить съ мужикомъ, но, конечно, гдѣ же ему было умудриться продать этотъ шкафъ съ барышемъ, либо обставить мужика въ свою пользу? И на дачные участки разбить «Вишневый садъ»—тоже врядъ ли бы онъ сумѣлъ и согласился...

Грубое и жестокое дѣло богатство. Не вмѣщаютъ его души мягкія, скорбно созерцательныя, непрерывно занятая памятью о ближнемъ,—натуры, созданныя, чтобы расточаться въ міръ добромъ и мыслию...

* [*:
*] ■

! Къ числу «чеховскихъ вопросовъ»—въ «Tscheschoviana»: помнить ли кто курьезную трагедію-пародію, изданную въ Петербургѣ, подъ заглавіемъ:

«Жестокій баронъ».

Трагедія въ пяти дѣйствіяхъ и, *при томъ*, въ стихахъ.
Произведеніе это очень нравилось Антону Чехову и,

*) Когда г. Сипягинъ сослалъ меня въ Минусинскъ, то *первое* дружеское письмо, мною тамъ полученное, и именно съ этимъ вопросомъ, было отъ Антона Чехова... А мы передъ тѣмъ не видались и не переписывались уже нѣсколько лѣтъ! (1905).

такъ какъ онъ усердно рекомендовалъ «трагедію» своимъ литературнымъ друзьямъ, то сложилось было сказаніе, что «Жестокій Баронъ»—тайный плодъ пера его. Гг. Гнѣдичъ и Тихоновъ выяснили, что это не такъ. Авторъ «Жестокаго Барона» — нѣкто Гіацинтовъ. Пресмѣшная была штука, во вкусѣ прутковскихъ пародій. Помню изъ нея лишь заключительный хоръ—послѣ того, какъ жестокій баронъ покаялся во всѣхъ своихъ жестокостяхъ, монахи радостно пляшутъ и поютъ:

Отреклись вы отъ всего
И теперь ужъ никого

Не обидите!
Да-съ, не обидите!

И за это вамъ теперь
Въ рай открыта будетъ дверь,—
Вотъ увидите!
Вотъ увидите!

Въ молодости Чеховъ былъ пародистъ блестящій, а подражалъ съ такимъ совершенствомъ, что копія легко могла сойти за оригиналъ. Однажды, въ моемъ присутствіи, онъ держалъ пари съ редакторомъ «Будильника», А. Д. Курепинымъ, что напишетъ повѣсть, которую всѣ читатели примутъ за повѣсть Мавра Юкаля,—и выигралъ пари, хотя о Венгріи не имѣлъ ни малѣйшаго представленія, никогда въ ней не бывалъ. Его молодой талантъ игралъ, какъ шампанское тысячами искръ. Вотъ — по бульварному онъ писать не умѣлъ: начать, бывало, «романъ» съ приключеніями для того же «Будильника», а силища таланта сразу скажется, и вкрадывается въ вещь серьеъ не по читателю, и Антонъ Павловичъ бросаетъ начатыя главы: скучно, ибо слишкомъ художественно и умно... Но зато какой онъ однажды «страшный» рассказъ написалъ—«Сладострастный мертвецъ»! И хохотали мы, и жутко было.

6-го іюля
1904.

V.

Завтра факеловъ урѣли мрачный дымъ,
И трауромъ одѣлся Капитолій...

Батюшковъ.

Нѣтъ худа безъ добра. Пословицу эту оправдываютъ даже такія, со всѣхъ бы сторонъ, казалось, безрадостныя, роковыя событія, какъ смерть А. П. Чехова—всероссійское наше горе! Посмотрите, какъ ураганъ скорби, промчавшійся надъ родиною, облагородилъ общественную мысль: вѣдь неузнаваемы были наши газеты въ эти десять-двѣнадцать печальныхъ дней! Самые беззаботные и веселые затуманились, самыя бойкія и безразличныя перья приостиновили свою безшабашную болтовню и призадумались. Отошли назадъ всѣ искусственныя пустыни, все переливание изъ пустого въ порожнее, которыя «условная ложь» полузадушенной періодической печати выдаетъ за «наши общественныя интересы» и «злобы дня». Смерть нанесла новый тяжкій ударъ русской культурной силѣ, и энергія, съ какою задрожалъ въ отвѣтъ удару весь организмъ русскаго интеллигентнаго міра, какъ застоналъ онъ, будто пораженный въ самое сердце, дѣлаетъ честь росту и искренности нашей цивилизаціи. Югъ, какъ водится, опередилъ сѣверъ, гдѣ культурный центръ нашего отечества, славный городъ Петербургъ, такъ оскандалился, при слѣдованіи великаго мертвеца, предоставивъ встрѣчать его двумъ съ половиною репортерамъ и случайной публикѣ вокзала. Говорятъ: вдова сама виновата, мало телеграфировала. Однако, газеты сообщаютъ, что Ольга Леонардовна послала съ пути три телеграммы о срокѣ прибытія тѣла,—въ томъ числѣ извѣстному литератору и правленію желѣзной дороги. Да—еслибы и мало телеграфировала, разбитая, уничтоженная скорбью, она? Неужели на разстояніи 836 верстъ

отъ Вержболова до Петербурга поѣздъ съ прахомъ Чехова не взволновалъ ни одну душу до потребности послать телеграмму петербургскимъ друзьямъ и знакомымъ: «Чехова провезли, раньше, чѣмъ ждали,—встрѣчайте Чехова»! Неужели на вокзалѣ желѣзной дороги не нашлось ни одной головы, достаточно догадливой, чтобы сообщить телеграмму Ольги Леонардовны по телефону въ редакціи мѣстныхъ газетъ? А еще покойникъ считалъ желѣзнодорожниковъ людьми, въ нѣкоторомъ родѣ, литературными и даже въ «Вишневомъ саду», заставилъ начальника станціи декламировать «Грѣшницу» А. Толстого!.. Всѣ эти предположенія настолько дики и невѣроятны, что—хоть и руки врозь, а, между тѣмъ, надо быть, именно такъ: двигалась по Варшавской желѣзной дорогѣ кладъ, съ обозначеніемъ накладной «мертвое тѣло», предъявительницѣ дубликата на станціи назначенія грузъ сланъ въ порядкѣ... «Mein Leibchen was willst du noch mehr!!»... А мы-то, мы-то ждали, какъ покроется трауромъ петербургскій Капитолій, и печаль столицы подтвердить вновь русскому интеллигентному обществу, что она—культурный центръ его, и плачъ на Невѣ разольется по всѣмъ русскимъ рѣкамъ, давая имъ свой тонъ и силу... Вмѣсто того—вышло что-то вродѣ шекспировской сцены между вѣстникомъ Дерцетомъ и Октавіаномъ:

— Что хочешь ты сказать?

— Я говорю, о Цезарь:

Антоній умеръ!

— Вѣсть о столь великомъ

Событіи не такъ бы прозвучала

Земля, дрожа кругомъ, загнала бъ львовъ

На улицы, а горожанъ—въ пустыни.

Со смертію Антонія скончался

Не онъ одинъ...

Даже и совпаденіе имени-то какое роковое!..

Итакъ, въ Петербургѣ вѣсть о смерти Чехова львовъ

на улицы не загнала, хотя горожане, дѣйствительно, пре-
бывали гдѣ-то въ пустыняхъ, и—вмѣсто трауромъ покры-
таго Капитолія, сто человѣкъ, въ томъ числѣ пятокъ ли-
тераторовъ, представили неутѣшную скорбь «Сѣверной
Пальмиры». Слѣдовало бы напечатать, если не портреты,
то имена всѣхъ этихъ ста человѣкъ: по крайней мѣрѣ,
хоть бы узнала Россія, кто въ Петербургѣ искреннимъ
сердцемъ любить литературу.

Я очень люблю Петербургъ, и вопли чеховскихъ
«Трехъ Сестеръ»: «въ Москву! въ Москву!» всегда слу-
шалъ не безъ протеста:

— Нашли, гдѣ кончается свѣтъ! Нечего сказать!

И тѣмъ обиднѣе было читать о петербургской мизе-
ріи... Горе тебѣ, Іерусалиме, избивающій своихъ проро-
ковъ и—что, кажется, еще хуже—забывающій ихъ! Вотъ—
пророчествую тебѣ вновь, какъ пророчествовалъ неодно-
кратно: за равнодушіе и легкомысліе твое отнимется у
тебя культурный авторитетъ твой, и города, нынѣ вни-
мающіе тебѣ, будутъ лишь пугливо зѣвать на судъ твой
и покивать на тебя головами своими! Быстро и заслуженно
совершается эмансипація культурной провинціи отъ ум-
ственной гегемоніи сѣверныхъ центровъ: посмотрите на
южныя книгоиздательства, на южныя литературныя, арти-
стическія, художественныя общества... сколько тамъ жи-
вой жизни, общественнаго огня, корпоративной осмыслен-
ности! Живутъ все больше и больше сами собою и обще-
ніемъ съ Европою, а петербургскіе и московскіе свѣточи
нужны все меньше и меньше!

А ужъ какъ ликуеть Москва, что Петербургъ осра-
мился! Даже, вчужѣ читать,—крякнешь: таково злорадно
ругаются. Удивительная вещь! Никакія судьбы и пре-
вратности исторіи не могутъ залить тайной взаимонена-
висти двухъ городовъ, и дочь боярина Кучки, сколько
бы ни любезничала съ Петра твореніемъ, всегда искренно
счастлива, если творенье не въ авантажѣ обрѣтается. Къ

чести Петербурга надо сказать, что онъ болѣе добродушенъ, и инициатива перебранки, при каждомъ удобномъ случаѣ, неизмѣнно принадлежитъ Москвѣ,—такъ ведется оно со временъ аксаковскихъ и, какъ видите, оправдывается и въ наши дни.

Какъ-то давно-давно я, на московскомъ Кузнецкомъ мосту, остунился и презестoko шлепнулся на тротуаръ.

— А еще въ очкахъ и баринъ! — сказалъ проѣзжій лихачъ.

Читая вполнѣ справедливыя, но слишкомъ ужъ злорадныя нападки московской печати на Петербургъ, я всегда вспоминаю именно это:

— А еще въ очкахъ и баринъ!

Но только не сейчасъ, не за Чехова. Сейчасъ я огорченъ и обиженъ на Петербургъ паче любого москвича и не устаю твердить, какъ Іеремія, упреки городу, небрегущему своихъ пророковъ. Горе, горе тебѣ, интеллигентный Іерусалиме!

* * *

Изъ всѣхъ посмертныхъ сообщеній о Чеховѣ на меня наибольшее впечатлѣніе произвело упоминаніе А. С. Суворина, что Антонъ Павловичъ собирался нѣкогда написать драму о царѣ Соломонѣ. Я зналъ это, но, признаюсь, совершенно забылъ. Какое огромное горе для русской литературы, что покойный не исполнилъ своего грандіознаго предпріятія! Кто въ европейской литературѣ могъ бы лучше Чехова истолковать сложную и глубокую душу великаго іудейскаго царя-пессимиста? Были ли двѣ души болѣе родственныя, болѣе обреченныя взаимопониманію, чѣмъ Чеховъ и Экклезіастъ?

VI.

Прочиталь сейчасъ перепалку между А. С. Суворинымъ и А. Ф. Марксомъ. Хоть убейте, а не понимаю, изъ-за чего горить этотъ сыръ-боръ, и что за охота вести такой споръ у незакрывшейся могилы! Какая-то «конкуренція жрецовъ» изъ «Прекрасной Елены», только на трагическій ладъ! Впрочемъ, разъясненія имѣли хорошую сторону, открывъ публикѣ матеріальную подкладку русскаго книжнаго рынка, до сихъ поръ для нея темную, либо обличавшуюся «просто» литераторами, то-есть—заинтересованною противъ издателей, стороною. А. С. Суворинъ—и литераторъ, и издатель, и его обличенія, въ этомъ случаѣ, конечно, приобрѣтають особенную остроту и силу. Что касается денежныхъ средствъ, выражаемыхъ закабаленнымъ литературнымъ наслѣдствомъ Чехова, то теперь ихъ легко подсчитать:

За сочиненія Чехова до 1899 года г. Марксъ уплатилъ 75,000 рублей.

За предварительно напечатанныя сочиненія Чехова послѣ 1899 года г. Марксъ обязался уплачивать по 250 р. съ листа для перваго отдѣльнаго изданія, и по 200 руб. надбавки за листъ каждыя пять лѣтъ. Такимъ образомъ, въ теченіе 50-лѣтняго авторскаго права, за листъ Чехова г. Марксъ или его фирма заплатитъ 2,050 руб. Остается сосчитать листы, напечатанные Антономъ Павловичемъ послѣ 1899 года, и на сумму ихъ помножить 2,050 руб. Вѣроятно, ихъ наберется 30—40? Я не имѣю подъ руками сочиненій Чехова. А затѣмъ остается лишь пожелать, чтобы въ бумагахъ Чехова нашлось какъ можно больше матеріаловъ, годныхъ къ изданію, такъ тѣмъ болѣе будетъ расти цифра вновь оплачиваемыхъ листовъ, а, слѣдовательно, и цифра чеховскаго литературнаго наслѣдства. Сей-

часть оно, для г. Маркса приблизительно выражается тысячахъ въ 150—200. Отъ души желаю, чтобы ящики въ письменныхъ столахъ покойнаго Чехова заставили издателя «Нивы» заплатить еще столько же. Думаю также, что значительную долю нареканій г. Марксъ снялъ бы съ себя, распространивъ договоръ о доплатѣ и на тѣ сочиненія Антона Павловича, которыя хотя и были напечатаны при его жизни, но не вошли въ полное собраніе сочиненій, бывъ имъ забракованы,—въ огромномъ большинствѣ случаевъ, по чрезмѣрной мнительности и придирчивости къ себѣ. Теперь эти произведенія принадлежатъ исторіи и, конечно, рано или поздно войдутъ въ полное собраніе, какъ вошли въ собраніе сочиненій Бѣлинскаго, изданное Венгеровымъ, почти безчисленныя статьи, замолчанныя Кетчеромъ и Щепкинымъ. Если бы г. Марксъ согласился распространить условіе о периодической доплатѣ на эти чеховскіе, какъ въ золотопромышленномъ дѣлѣ говорится, «отвалы», то, конечно, вопли въ выгодахъ и наслѣдниковъ, и публики станеть, чтобы они были собраны и увидѣли свѣтъ какъ можно раньше. Я не могу согласиться съ А. С. Суворинымъ въ его презрѣніи къ «Антошѣ Чехонте». Тутъ гораздо правѣе В. М. Дорошевичъ, находящій, что, напуганный черезчуръ подозрительною критикою, Антонъ Павловичъ оказался слишкомъ безжалостенъ къ своей юмористикѣ. Да, онъ, впрочемъ, всегда такой былъ. Вотъ примѣръ: въ «Пестрые Разказы» не былъ включенъ рассказъ изъ «Осколковъ», какъ мальчикъ учить «Зима... Крестьянинъ, торжествуя», а отецъ его становой, проигравшись, слушаетъ, злобствуетъ и критикуетъ Пушкина. Наконецъ, не выдержалъ,—надо сердце сорвать, кричить сыну:

— Иди сюда. Ты на прошлой недѣлѣ стекло въ рамѣ разбилъ. Я тебя выскѣку.

И... «ему стало легче!»

Теперь этотъ рассказъ — любимый номеръ чтенія на

концертахъ, вечерахъ и т. д., а Чеховъ его бросилъ было въ Лету: карриатура! Чеховскіе «отвалы» таятъ литературнаго золота не менѣе, чѣмъ хранятъ настоящаго золота старыя отвалы сибирскіе, за вторичную разработку которыхъ находятъ теперь выгоднымъ браться промышленники, потому что, покуда земля была богата рудою, предки гребли ее лопатами, а, что съ лопать падало, не хотѣли и подбирать... Томиковъ шестъ себя Чеховъ, навѣрное, зачеркнулъ. И они должны воскреснуть, если, конечно, то не противно послѣдней волѣ усопшаго. И—если воскреснуть, то, конечно же, справедливость требуетъ, чтобы воскресли на правахъ рукописи, и были приобретены издателемъ на условіяхъ доплатнаго дохода *).

1904. Июль.

*) А. Ф. Марксъ умеръ осенью 1904 года, но фирма его издательства сохранила характеръ и размѣры прежней дѣятельности, такъ что все сказанное въ этой замѣткѣ остается въ силѣ по адресу „Маркса“, какъ лица юридическаго... (1905).

VI.

«Вишневый садъ».

1.

Нѣкогда Бѣлинскій приглашалъ современную ему интеллигенцію жить и умереть въ театрѣ. Въ настоящее время Л. Н. Толстой объявляетъ театръ «учрежденіемъ для женщинъ, слабыхъ и больныхъ». Много времени нужно и многой водѣ надо утечь, чтобы переоцѣнка общественнаго института совершила столь рѣзкую эволюцію отъ крайности въ крайность. Я долженъ сознаться: личный взглядъ мой на театръ гораздо ближе къ взгляду Толстого, чѣмъ къ взгляду Бѣлинскаго, понятному и извинительному для печальной эпохи общественнаго безсилія, когда писалъ великій критикъ, но потерявшему смыслъ для быстро умножившейся и развившейся всеобщей интеллигенціи послѣ-реформенной Россіи. А ужъ, въ особенности, въ нашъ вѣкъ, бродяцій, какъ молодое вино, нахмуренный, какъ грозовая туча,—въ вѣкъ, талантливѣйшій выразитель котораго воспѣлъ «безумство храбрыхъ», какъ «мудрость жизни». Въ такое время «умирать въ театрѣ», пытаюсь грезами вмѣсто дѣйствительности, нащупывая идеи въ иллюзіяхъ, вмѣсто того, чтобы черпать ихъ и бороться за нихъ въ жизни, — дѣло мало почтенное, и даже — было бы смѣшно, если бы не было грустно. Въ глухое двадцатилѣтіе восьмидесятыхъ и девяностыхъ годовъ бездѣятельное и разочарованное русское общество развило было въ себѣ театроманію до острой, повальной эпидеміи: общая участь всѣхъ понятныхъ эпохъ. Въ особенности, обезсиленная классическою школою, молодежь валила «жить и уми-

рать въ театрѣ». Оглядывая, напримѣръ, ряды современной дѣйствующей литературной арміи, я насчитываю десятки собратьевъ, отдавшихъ кто нѣсколько лѣтъ, кто хоть нѣсколько мѣсяцевъ своего молодого прошлаго театру, какъ искупительную жертву Молоху, и списокъ мнѣ пришлось бы начать съ самого себя. Странно сказать, но красивую одурь этого двадцатилѣтняго очарованія театромъ, какъ дѣятельностью, страхнулъ съ русской молодежи челоуѣкъ, написавшій самую сильную, громкую и наиболѣе успѣшную театральную пьесу эпохи: Максимъ Горькій. Выслушавъ вопль вдохновеннаго литературнаго «буревѣстника», вѣкъ встрепенулся и оглянулся на себя пристально-пристально...

Громъ ударилъ; буря стонетъ
И снасти рветъ, и мачту клонитъ,—
Не время въ шахматы играть,
Не время пѣсни распѣвать!
Вотъ песнь—и тогъ опасность знаетъ
И бѣшено на вѣтеръ лаетъ!..

... Ужель въ каютѣ отдаленной
Ты сталъ бы лирой вдохновенной
Лѣнивцевъ уши улаждать
И бури грохотъ заглушать?

Въ шестидесятыхъ и семидесятыхъ годахъ интеллигентной молодежи было не до актерства. Теперь—въ первомъ десятилѣтіи XX вѣка—какъ будто воскресло и опять сурово гремитъ благородное требованіе:

Актеромъ можешь ты не быть,
Но гражданиномъ быть обязанъ!

Я смѣло ставлю въ этомъ Некрасовскомъ двустипіи «актера» вмѣсто «поэта», потому что въ наши 1880—1900 годы актерство было совершенно такимъ же невинно-культурнымъ прибѣжищемъ для оставленныхъ за чертою общественной самодѣятельности молодыхъ дарованій, какъ романтическая поэзія—послѣ смерти Лермонтова и до 1856 года, когда Некрасовъ написалъ «Поэта и Гражданина». Молодые люди сороковыхъ годовъ, отъ безволія и

безсилія жизни, «шли въ поэты», восьмидесятники и девятидесятники, по тѣмъ же причинамъ, «шли въ актеры».

Въ эпоху, которая твердитъ, что

Актеромъ можешь ты не быть,
Но гражданиномъ быть обязанъ,—

театръ долженъ стоять очень высоко, чтобы сохранить за дѣятельностью своею престижъ: смыслъ и цѣлесообразность общественной работы,—а не съѣхать въ безразличный разрядъ забавъ, внѣшне занимательныхъ болѣе или менѣе, смотря по талантамъ и умѣлости участниковъ, но по существу праздныхъ и отражающихся на жизни не болѣе, чѣмъ фейерверкъ какаго-либо высокаторжественнаго дня. Актеры и актрисы въ наше время весьма искусны вообще, такъ что вздыхать объ упадкѣ театра, какъ «искусства для искусства», мы не имѣемъ основанія. Но въ эпоху «Поэта и Гражданина» были поэтами Майковъ, Фетъ, Тютчевъ, Мей и имъ подобные блестящіе, но внѣ-жизненные таланты,—и, тѣмъ не менѣе, поэзія перестала быть серьезнымъ и вліятельнымъ общественнымъ двигателемъ, а мало-по-малу даже перешла въ категорію силъ реакціонныхъ. Нынѣшнія сцены русскія полны своими Майковыми, Фетами, Тютчевыми, Меями въ брюкахъ и юбкахъ,—однако, сценическое явленіе, заслуживающее признанія о щественною и полезною, цѣлесообразною работою, есть величайшая рѣдкость въ русской театральной жизни. Nomina sunt odiosa, но, провѣряя воспоминаніемъ двадцатипятилѣтіе своихъ сценическихъ впечатлѣній, я—кромѣ нѣкоторыхъ счастливыхъ метеоровъ, случайностей сцены, кромѣ нѣкоторыхъ исключительныхъ талантовъ, феноменальныхъ своею силою и гибкостью, и потому имѣющихъ общественное значеніе стихійно, an und für sich, — я могъ бы назвать, для обихъ русскихъ столицъ, лишь два знаменитыя имени и одинъ театръ, дѣятельность которыхъ вполне отвѣчала понятіямъ сознательно общественной дѣятельности и имѣла непосредственное вліяніе на общество, было въ числѣ его

*

этических будильниковъ, облагораживало и толкало впередъ его мысль. Одно изъ этихъ именъ уже принадлежить прошлому, другое загорѣлось звѣздою недавно и еще все въ будущемъ. А театръ—Художественный театръ московскій, созданный руководствомъ В. И. Немировича-Данченко и К. С. Станиславскаго.

Театръ этотъ зовутъ театромъ Чехова, и на московскомъ занавѣсѣ его рѣшетъ чеховская «Чайка». Если бы этому театру нуженъ былъ девизъ на порталъ, какъ была мода въ доброе старое время, я рекомендовалъ бы имъ надпись средневѣкового колокола: «vivos voco, mortuos plango». Такъ двоятся жизнь всякаго общественнаго дѣятеля—грустное сознаніе обветшалой, отходящей дѣйствительности, плачь сверстника по отжитому уже, мертвому вѣку, и твердый, рѣшительный призывъ «бодрыхъ, съ юными лицами, съ полными жита кошницами»—строить зданіе вѣка, новаго. Таково двойственна и дѣятельность художественнаго театра. Mortuos plango: Антонъ Чеховъ. Vivos voco: Максимъ Горькій. Вчера панихидный колоколъ театра звонилъ торжественно и скорбно: отпѣвали въ «Вишневомъ саду» російскаго интеллигентнаго, но оскудѣлаго дворянина, хоронили эстетическую, но праздную и неприкладную, «жизнь внѣ жизни», поставили памятникъ надъ могилою симпатичныхъ бѣлоручекъ, орхидей, отцвѣтшихъ за чужимъ горбомъ.

Да, онѣ симпатичны, эти гибнущія безсильныя бѣлоручки-орхидеи! Симпатичны и жалки. Понятна и не внушаетъ ни малѣйшаго негодованія желѣзная необходимость, непреложною тяжестью которой давятъ ихъ колеса жизни,—но трагическая безпомощность, съ какою лежатъ они подъ этими колесами, вялое покорство и кротость ихъ, наполняютъ сердце ужасомъ и жалостью... конечно, сентиментальною и напрасною, но невольною — жалостью инстинкта. Разсудокъ говоритъ: должна проѣхать по этимъ тѣламъ колесница, —ничего съ этимъ не подѣлаешь, и ни-

кто въ томъ не виновать, кромѣ нихъ самихъ! поѣзжай, колесница! А сердце сжимается мучительною болью страданія, и хочется крикнуть кучеру на колесницѣ: не такъ скоро, не такъ грубо! легче! осторожнѣе!.. И не соображаетъ сердце, въ порывѣ чувствительности, того простого, что «легче»-то значить тутъ тяжеле, а «не такъ скоро» значить—дай раздавленному еще помучиться подъ медленнымъ оборотомъ колеса. Зрѣлище безпомощной гибели этихъ конченныхъ людей такъ тяжело, инстинктъ состраданія пробуждается съ такою острою силою, что поддается ему даже та стихія, которая и есть кучеръ на колесницѣ. Въ «Вишневомъ садѣ» ее символизируетъ интеллигентный купецъ изъ мужиковъ, Лопахинъ, — человекъ, должный, почти поневолѣ, выгнать столбовыхъ дворянъ, Раневскую и Гаева съ потомствомъ, изъ родного пепелища и вырубить ихъ «Вишневый садъ», хотя описаніе послѣдняго есть въ энциклопедическомъ лексиконѣ и въ «достопримѣчательностяхъ Россіи». Этотъ кучеръ такъ и сякъ направляетъ свою колесницу, чтобы объѣхать и не повредить разлегшихся на пути ея людей. Во все горло кричитъ онъ имъ: берегись! — просить сойти съ дороги, молить, ругается, грозитъ: ничего! Не слышать, какъ глухіе, не видать, какъ слѣпые, а разбѣжавшейся на ходу колесницы остановить нельзя, какъ нельзя затормозить локомотива на уклонѣ или крутомъ закругленіи, — и хрустятъ переломанные колесами члены, и гибнутъ усѣвшіеся играть на рельсахъ, не слушая сигнальныхъ свистковъ, люди-дѣти. Съ геніальною проницательностью сдѣлалъ Антонъ Чеховъ побѣду Лопахина роковою побѣдою: онъ вовсе не хотѣлъ покупать «Вишневаго сада» и купилъ нечаянно, полусознательно, зарвавшись въ азартъ на торгахъ до пятидесяти пяти тысячъ сверхъ оцѣнки. Напрасно онъ напрягалъ свои возжи, напрасно тормозилъ локомотивъ: энергія и логика движенія сильнѣе его личныхъ побужденій,—и вотъ вчерашній спасатель сегодня сдѣлался губителемъ и во-

пить, въ тоскѣ, блуждая между своими раздавленными жертвами:

— Вѣдь я же васъ просилъ! Вѣдь я же васъ предупреждалъ!

Это совсѣмъ не тотъ воинствующій, систематическій, убѣжденный и озлобленный недавнимъ крѣпостнымъ игомъ, кулакъ-побѣдитель, какого было въ модѣ выводить па сцену и въ романахъ, въ эпоху семидесятыхъ годовъ, когда обозначился *exitus mortalis* дворянскихъ благополучій, и Потѣхинъ написалъ «Злобу дня», а Терпигоревъ началъ убійственную сатиру своего «Оскуднѣнія». Между Лопахинымъ и 19 февраля — огромный, примиряющій промежутокъ: Лопахинъ побѣдилъ уже во второмъ поколѣнн, и свирѣпая жажда «реванша» за прошлое крѣпостное мужичество въ душѣ его отнюдь не кипитъ. Да, и вообще-то — кипѣла ли когда-либо и въ комъ-либо эта воображаемая жажда? Сословная свирѣпость — совсѣмъ не въ русскомъ характерѣ и плохо прививается даже и въ томъ сословіи, гдѣ ее напрасно пробовали и еще пробуютъ дрессировать на злобность и рѣзвость искусственными подзуживаніями когда-то разныя «Вѣсти», нынѣ кн. Мещерскіе и К°, — въ дворянствѣ. Гаевы и Раневскія — не купецъды, не мужикоды, Лопахинъ — не дворянодъ. Напротивъ: въ домѣ Гаева и Раневской мы сразу чувствуемъ себя въ средѣ искренно либеральной и крайне ласковой къ людямъ низшаго происхожденія и положенія. Прислуга въ домѣ — запросто, фамиллярна, держитъ себя вровень съ господами до такой степени, что иногда даже кажется, что Чеховъ немножко пересолилъ: это скорѣе отношенія между господами и слугами въ диккенсовой *Old merry England*, это скорѣе — Сэмъ Уэллеръ и мистеръ Пикквикъ, чѣмъ русскіе нравы. Какъ ни либерально будь Россійское барское семейство, но, все же, невѣроятно, чтобы въ немъ офранцузенный лакей Яшка смѣлъ фыркать въ лицо главѣ дома и заявлялъ потомъ въ видѣ извиненія: «Я вашего голоса, Леонидъ Андрее-

вичь, безъ смѣха слышать не могу!» Яшка этотъ — типъ замѣчательно цѣльнаго полуинтеллигентнаго, я бы даже сказалъ: хулиганскаго, сутенерскаго «хамства» — вообще, фигура, странно и не скажу, чтобы художественно, помѣщенная въ пьесѣ. Объ этомъ лакеѣ, состоявшемъ при барынѣ въ Парижѣ, дѣйствующія лица (Варя, пріемная дочь Раневской) говорятъ съ такою злобною, но безсильной ненавистью, а самъ онъ держится съ такимъ апломбомъ и безстрашіемъ несмѣняемости, что — до второго дѣйствія — я, грѣшный человѣкъ, очень дурно думалъ о г-жѣ Раневской и предполагалъ, что этотъ нахаль состоитъ при ней на томъ же подозрительномъ амплуа, какъ въ «Воспитанницѣ» Островскаго Гриша при Уланбековой. Но затѣмъ оказалось, что у Раневской остался въ Парижѣ «онъ», съ которымъ ей вмѣстѣ тошно, а врозь скучно, и который, хотя бьетъ и обираетъ ее, но жить безъ нея не въ состояніи, и, чуть она уѣхала, сейчасъ же раскаялся, заболѣлъ и шлетъ телеграмму за телеграммою... Семья Гаевыхъ совершенно безъ сословныхъ предразсудковъ, мягкая, жалостливая. Чтобы самую рѣзкую и нетерпимую между ними, Варю, вывести изъ себя «свинствомъ», нужно, чтобы свинья уже, дѣйствительно, положила ноги на столъ, какъ отличился конторщикъ-неудачникъ Епиходовъ, трагикомическій герцога Лоранъ пьесы, по прозванію «двадцать два несчастья». Да и не только положила бы, а еще и копытами бы прищелкнула!.. На «мужика» Лопахина Раневская смотритъ, какъ на родного, прочить за него Варю, Варя въ Лопахина влюблена. Балъ у Раневской — самый демократическій, такъ что даже ворчить на мизерность его старый крѣпостной Маѳусаиль, Фирсъ, лакей-дядька Леонида Андреевича Гаева: при старыхъ господахъ генералы танцевали, губернаторы, а теперь — начальникъ станціи, почтовый чиновникъ, да и тѣхъ попроси... Самый породистый изъ Гаевыхъ, Леонидъ Андреевичъ (съ изумительнымъ проникновеніемъ въ характеръ роли, изображаемый г. Стани-

славскимъ),—самый выродившійся и потому наиболѣе фатально побѣжденный, безпомощный и несчастный, — онъ немножко фыркаетъ еще на «хама», но и то—больше по физической, расовой, что ли, какой-то идиосинкразіи, чѣмъ по убѣжденію и склонности. Верхъ его дворянской надменности—если онъ растерянно-свысока спросить: «кого?!»—когда сгрубить забывшійся лакей, или скажетъ на навязчивыя услуги того же лакея: «отойди, отъ тебя курицею пахнетъ!»... Нѣтъ, это дворянство—не воинствующее, не крѣпостническое, но кроткое и просвѣщенное гуманизмомъ, съ принятіемъ «правъ человѣка» и земской реформы, съ восторгомъ къ просвѣщенію, потомки не Куролесовыхъ и Скотининыхъ, но Лаврецкихъ, Кирсановыхъ, шестидесятныхъ мировыхъ посредниковъ. Единственный человѣкъ въ пьесѣ, который громко оплакиваетъ свершившуюся «волю» и называетъ ее «несчастьемъ», — старикъ Фирсъ, тысяча первый экземпляръ русскаго Калеба или Некрасовскаго «холопа примѣрнаго, Якова вѣрнаго». И гибнуть Гаевы не за бунтъ противъ новыхъ временъ, не за правіе противъ рожна, а просто —потому, что исполнилась судьба: вымираетъ раса...

Лопахинъ, интеллигентный купецъ изъ мужиковъ, отлично понимаетъ и чувствуетъ, что въ расѣ этой, наряду съ недостатками, была своеобразная прелесть, своя поэзія, которая внятно говорить и его сердцу. Онъ искренно, и за пустяки, привязанъ къ Раневской, гораздо лучше говорить о ней и семьѣ ея, чѣмъ о своемъ дѣдѣ и отцѣ, крѣпостныхъ мужикахъ, воспитывавшихъ его палочнымъ бойломъ. Онъ искренно желаетъ спасти красивые, но безсильные и безвольные «антики». Но—рокъ, тяготящій надъ Гаевыми, тяготеетъ и надъ Лопахинымъ: два поколѣнія —расы не понимаютъ другъ друга въ самыхъ простыхъ и обыденныхъ вещахъ—словно говорить на разныхъ языкахъ. Больше того: между двумя сторонами живутъ именно расовыя взаимнобоязни. Почему, въ са-

момъ дѣлѣ, Лопахинъ не женился на Варѣ, влюбленной въ него и имъ любимой, а удралъ отъ нея безъ всякой причины, какъ Подколесинъ? Это инстинктивное бѣгство сильнаго жизнеспособнаго организма отъ организма изъ увядающей породы, — боязнъ заразы, умирающаго! Никакого взаимопониманія! Разные языки! Практическій Лопахинъ ясно и просто указываетъ Раневской средство спасти свою фамилію, пожертвовавъ «Вишневымъ садомъ» подъ дачный участокъ, — Гаевъ брезгливо возражаетъ: «это какая-то чепуха!», а Раневская смѣется: какъ? вырубить вишневый садъ, о которомъ есть что-то въ энциклопедическомъ лексиконѣ? Разстаться съ домомъ, гдѣ стоитъ книжный шкафъ, сдѣланный сто лѣтъ тому назадъ?! И этотъ шкафъ, въ теченіе вѣка служившій хранилищемъ сокровищъ ума, вдохновляетъ восторженнаго, интеллигентнаго, поэтическаго, но ужъ съ очень ослабленною работою задерживающихъ центровъ, Леонида Гаева на цѣлый спичъ, на краснорѣчивѣйшія «мысли вслухъ», обращенныя къ дверцамъ благороднѣльнаго шкафа... Надо видѣть глубокомысленный видъ и слышать прочувствованный тонъ г. Станиславскаго во время сна этого! Впрочемъ, онъ то и дѣло, чуть тронетъ его мысль, впадаетъ въ спичеизліянія: ораторствуетъ къ шкафу, къ природѣ, къ старому дому... И опять надо видѣть, какъ разнообразно слушаютъ его, стараго чудака, не то, чтобы тронувшагося, но уже порядкомъ развинченнаго въ умѣ и не замѣчающаго, какъ полеты его воображенія переходятъ въ слово, — дѣйствующія лица пьесы: старикъ Фирсъ, для котораго Леонидъ Гаевъ—ребенокъ; Раневская и прогорѣлый помѣщикъ Симеоновъ-Пищикъ, для которыхъ онъ—сверстникъ, чудаковатый, но вполне понятный; Лопахинъ, для котораго онъ—куръезъ, вродѣ того, какъ Павелъ Кирсановъ былъ античнымъ куръезомъ для Базарова; Варя и Аня, которые дядю любятъ, но страдаютъ, что онъ болтаетъ — какъ подсказываетъ ихъ молодымъ сердцамъ инстинктъ времени — нѣчто лишнее и потому юродивое,

смѣшное; лакей-хулиганъ Яшка, который таращитъ на полоумнаго барина наглые глаза съ тѣмъ же выраженіемъ, какъ таращилъ ихъ въ Парижѣ на восковую фигуру въ музеѣ Grevin. Умираетъ дворянская обезпеченная эстетика, міросозерцавшая природу, какъ храмъ! Умираетъ, и добродушно трунать надъ нею умные Лопахины, и зло издѣваются глупые Яшки, и стыдятся ея, старомодной, даже тѣ, кто сами—плоть отъ плоти ея: Вари, Ани, Пети... Да и сама она, чуть повыситъ устарѣлый и робкій свой голосъ, сейчасъ же спохватится, что—«не то», «не ко времени!», «молчи, недотепа!» Спыхватится и скроетъ пафосъ подъ привычнымъ, напускнымъ буффонствомъ:

— Рѣжу средняго въ лузу... па!

Ибо—увы!—этотъ эстетикъ, благоговѣющій предъ столѣтними заслугами книжнаго шкафа, этотъ жрецъ въ храмѣ природы, всю жизнь свою убилъ на биллиардную игру, а состояніе проѣлъ на леденцахъ... Бываетъ! Я зналъ одного, съ котораго Гаевъ—точно живая копія: тотъ пропилъ миллионы на зельтерской водѣ... То есть—что, вѣроятно, и съ Гаевымъ было: онъ-то пилъ зельтерскую воду, а миллионы за него прожили другіе.

«Природа—не храмъ, природа—мастерская, и чело-вѣкъ въ ней работникъ!» говорилъ Базаровъ, смѣнникъ поколѣнія Кирсановыхъ. Того же убѣжденія—Лопахинъ, смѣнникъ Гаевыхъ. Повторяю: не надо считать его грубымъ хищникомъ, рвачемъ и работникомъ на собственную свою утробу. И онъ, по-своему, мечтатель, и у него предъ глазами вертится свой заманчивый—не эгоистическій, но общественный идеалъ. Хозяйственная идея разбить огромный «Вишневый садъ» на дачные участки превращается у него, изъ первоначальнаго практическаго искательства возможно большой ренты, въ мечту о своего рода мелкой земской единицѣ, о будущемъ дачникѣ-фермерѣ, о новомъ земледѣльческомъ сословіи, которое будетъ, со временемъ, большая сила. Лопахинъ не грабитель земляной, не хищ-

никъ-эксплуататоръ дворянской нищеты вродѣ щедринскихъ Колупаева съ Разуваевымъ. Онъ—работникъ съ идеей и самъ мечтатель, въ своемъ родѣ,—даже мечтатель, котораго одергиваютъ (въ послѣднемъ дѣйствіи «вѣчный студентъ», идеалистъ Петя), одергиваютъ не хуже, чѣмъ увлекающагося своими фантастическими спичами Леонида Гаева. Лопахинъ—выразитель новаго буржуазнаго строя и не съ дурной, не съ «злодѣйской», но съ лучшей его стороны. Изъ умирающей, дворянской породы онъ выбралъ любить и уважать тоже лучшую сторону ея и поддерживалъ друзей, пока могъ, а «побѣдилъ» съ тоскою, съ надрывомъ побѣдилъ; ни малѣйшаго восторга не звучитъ въ его уныломъ побѣдномъ воплѣ:

— Музыка, играй!.. Новый помѣщикъ идетъ... Я здѣсь хозяинъ!..

Въ Италіи я зналъ инженера-стихотворца, который дѣлалъ изысканія для желѣзной дороги отъ Салерно на Амальфи. Онъ чуть не со слезами на глазахъ говорилъ о томъ, какъ полотно дороги испортитъ романтическую красоту мѣстности, но... изысканія производилъ усердно и добросовѣстно, и съ удовольствіемъ смаковалъ выгоды, за то предвкушаемыя. Я вспомнилъ этого инженера, когда Лопахинъ чуть не плакалъ, разрушивъ «Вишневый садъ» и счастье Гаева. Не онъ рушитъ—время рушитъ. Время, въ которое воплощается слѣпой, неумолимый рокъ. «Вишневый садъ» Чехова—античная трагедія рока, вставленная въ рамки современной комедіи. И—кончается ли въ пьесѣ работа рока съ побѣдою Лопахина и уничтоженіемъ старыхъ Гаевыхъ? Конечно, нѣтъ. По тому что не кончается и время. Только пересыпались камешки въ калейдоскопѣ. Сидѣли на семъ счастливомъ мѣстѣ энтузіасты красоть «Вишневаго сада», теперь пришелъ энтузіастъ пользы дачныхъ участковъ, а впереди уже стоитъ смѣнникъ и ему—«вѣчный студентъ» Петя, не то толстовецъ, не то кандидатъ въ «Проблемы идеализма»: энтузіастъ

еще бродящей, невыношенной мысли, идеала грядущих поколѣній, для чьего отвлеченнаго порыва ничтожны и дворянская эстетика «Вишневаго сада», и буржуазная лабораторія дачныхъ участковъ. О, побѣдитель Лопухинъ! Ты раздавилъ обреченную гибели расу, но изъ праха ея уже народилось поколѣніе, которое, такимъ же роковымъ закономъ, зачеркнетъ тебя, какъ ты зачеркнулъ ихъ. Гибель «Вишневаго сада» — пораженіе и смерть Раневской, Леонида Гаева, стараго Фирса, но для молодежи — для «вѣчнаго студента» Пети, для Ани Раевской — она лишь конечная раздѣлка съ одряхлѣвшимъ и ненужнымъ прошлымъ и вступленіе въ новую жизнь. Какъ бодро прыгаютъ они на порогъ этой новой жизни, какъ смѣло и рѣшительно, съ какою радостью отреченія кидаются въ ея таинственную глубину! Бросили на узловой станціи скучный багажъ и помчались впередъ налегкѣ: только мозги въ головѣ работаютъ во-всю, да сердце отважно бьется!

«Вишневый садъ» не былъ еще написанъ, когда Рѣпинъ выставилъ свой «Какой просторъ!» Картина эта многомъ показала мистификаціей, такъ темень для массы показался ея символъ.. Подите смотрѣть «Вишневый садъ» — въ Петѣ и Анѣ вы увидите знакомую пару: это — тѣ самые студентъ съ курсисткою, что на рѣпинской картинѣ — противъ вѣтра — бѣгутъ по камушкамъ обнаженнаго дна навстрѣчу наплывающей волнѣ... Бѣгутъ и поютъ, сквозь шумъ прибоя, вѣщій гимнъ о соколѣ:

Безумству храбрыхъ поемъ мы пѣсню!
Безумству храбрыхъ поемъ мы славу!
Безумство храбрыхъ есть мудрость жизни!

Аня и Петя — пара картины «Какой просторъ!» — Чеховская «Чайка» и «Буревѣстникъ, черной молніи подобный»... Нарождается «новая жизнь», сіяетъ и зоветъ новымъ свѣтомъ... Какая она, эта жизнь? Чеховъ не отвѣтилъ: какъ почти всегда, онъ лишь *mortuos plangit*. Но вступаетъ молодежь въ «новую жизнь» гордо и безъ огля-

докъ: Анѣ—не надо «Вишневаго сада»,—отплакала она уже по немъ свои дѣвичьи слезы! Петѣ не надо услугъ буржуа Лопатина и толстаго его бумажника: онѣ смѣется надъ деньгами... Чайка и Буревѣстникъ—нищіе и свободные—встрепенулись и съ крикомъ взвились въ воздухъ... Счастливый путь! Летите—и да хранить васъ Богъ, племя младое, незнакомое! храни Богъ цвѣты, которые распускаются на старыхъ могилахъ!

1904.
Апрѣль.

2.

Разобравшись въ лейтмотивахъ пьесы Чехова, я считаю излишнимъ подробно излагать ея содержаніе. Какъ всѣ пьесы, съ преобладаніемъ символической, образной мысли, надъ внѣшнимъ, механическимъ дѣйствіемъ, «Вишневый садъ» долженъ быть прочитанъ отъ слова до слова, а не рассказанъ вкратцѣ. Разказу легко поддаются только пьесы схематическія, съ «интригою»,—онѣ въ пересказѣ иногда даже выигрываютъ и кажутся умнѣе и глубже, чѣмъ на сценѣ (напр., пьесы А. Дюма-сына). Въ чеховскихъ пьесахъ нѣтъ матеріала для занимательнаго пересказа, нѣтъ «сюжета», нѣтъ «интриги»... есть рядъ портретовъ, картинъ,—группы, краски, пейзажъ, рисунокъ и звуки живущаго дня. Какъ пересказать словесною схемою ихъ слитную, сложную гармонію? Все равно, что «описывать» какую-нибудь симфонію Чайковского: первая часть—меланхолическій пастораль—двадцать восемь тактовъ *andante* A-moll, въ $\frac{6}{8}$, тридцать шесть тактовъ *allegretto* Cis-moll въ $\frac{3}{4}$... Какой прокъ въ этой статистикѣ? Надо слышать все и—настроеніямъ отвѣчать настроеніемъ, мыслямъ—мыслями.

Дѣйствующія лица «Вишневаго сада», по возрастамъ, принадлежать къ четыремъ поколѣніямъ, неумолимою,

роковою смѣною которыхъ создается трагическій смыслъ пьесы.

1) Человѣкъ сороковыхъ годовъ—обломокъ крѣпостной эпохи—старый лакей Фирсъ (г. Артѣмъ): гордится тѣмъ, что къ «Волѣ» онъ былъ уже старшимъ камердинеромъ.

2) Помѣщикъ Симеоновъ-Пищикъ (г. Грибунинъ) и Леонидъ Андреевичъ Гаевъ (г. Станиславскій), люди «выкупныхъ свидѣтельствъ» и первичнаго дворянскаго «оскуднѣнія»: семидесятники. Гаевъ, правда, самъ называетъ себя «восьмидесятникомъ», но, по моему, это — авторская ошибка: Леонидъ старше восьмидесятнаго поколѣнія, въ которомъ эстетики и романтизма не было ни на грошъ, тѣмъ болѣе облеченныхъ въ такую идиллическую мечтательность, какъ у самозабвеннаго Гаева. Переходная къ слѣдующей категоріи, восьмидесятница постарше—Любовь Андреевна Раневская (г-жа Книпперъ).

3) Восьмидесятникъ помоложе—почти уже девятидесятникъ—купецъ Лопахинъ (г. Леонидовъ). Девятидесятница—Варя, немолодая дѣвушка, пріемная дочь Раневской (г-жа Андреева).

4) Надежды будущаго, молодая поросль: Петръ Сергѣевичъ Трофимовъ, «вѣчный студентъ» (г. Качаловъ), Аня Раневская (г-жа Косминская); здѣсь же—отрицательные типы молодой полуинтеллигенціи: конторщикъ Епиходовъ (г. Москвинъ), лакей Яша (г. Александровъ).

Сверхъ этихъ лицъ центральнаго дѣйствія, въ пьесѣ имѣются еще: горничная Дуняша (г-жа Адурская)—деревенская субретка довольно шаблоннаго, общетеатральнаго типа и мало нужная въ пьесѣ; и,—наоборотъ, чрезвычайно важная для нея,—два эпизодическихъ лица: гувернантка Шарлотта Ивановна (г-жа Муратова) и Прохожій (г. Громовъ).

Изъ четырехъ поколѣній, одно—замогильное, другое поражено на смерть и ползетъ къ могилѣ, третье живетъ и

побѣждаетъ, какъ Лопахинъ, или замкнуто борется съ жизнью, какъ Варя, четвертое входитъ въ жизнь, отрицая всѣ три первыхъ, посылая улыбки новымъ солнцамъ новыхъ идеаловъ.

Когда обездоленные Гаевы разлетѣлись изъ родного пепелища, — Раневская — къ любовнику за границу транжирить свой «капиталь на дожитіе», Леонидъ Андреевичъ — на какую-то синекуру въ банкъ, Варя, — въ экомки «версть за семьдесятъ», Аня и «вѣчный студентъ» — въ «новую жизнь», — побѣдитель Лопахинъ заперъ домъ и тоже уѣхалъ въ Харьковъ. Ставни закрыты, сквозь ихъ вырѣзы сердечками льется въ опустошенныя комнаты грустный, лучевой столбами, свѣтъ октябрьскаго дня, — разоренное гнѣздо!.. умертвіе!.. И вотъ — въ гробовомъ тлѣніи этомъ — появляется живое привидѣніе: забытый въ суматохѣ отъѣзда, покинутый, больной старикъ Фирсъ.

— А меня то и позабыли!.. Ну, ничего, я и здѣсь полежу... А вотъ Леонидъ Андреевичъ безпремѣнно шубу не надѣлъ... Не догляделъ я... Э-эхъ! Недотепал..

Стонетъ и кашляетъ умирающій старикъ... Погребальными свѣчами смотря въ щели заколоченнаго дома-гроба солнечные лучи... Словно гвозди въ гробъ заколачиваютъ — бухаютъ за стѣнами тяжелые удары топора: рубять-губять лопахинскіе работники бесплодную красоту «Вишневаго Сада»... Оброшенность... Умертвіе... Изъ угловъ — «какъ звѣрь стоокій» — глядитъ на Фирса, холопа примѣрнаго, на «околѣвающего двороваго пса», готовая поглотить его, вѣчная ночь... И вдругъ — странный, мистическій звукъ: точно въ комнатѣ буфера товарнаго поѣзда столкнулись, перекликнувшись по всѣмъ вагонамъ... Незримая колесница вѣка наѣхала на дряхлаго крѣпостнаго «недотепа»... За-навѣсъ.

Этотъ таинственный звукъ однажды былъ уже слышенъ раньше — во второмъ дѣйствіи, когда всѣмъ «недотепамъ» гаевской семьи такъ хорошо и весело дышалось на лонѣ

между отдѣльными единицами—добрыми господами и терпѣливыми дворовыми. Но гнила — и догнила... Дззинь—бомь!.. Нѣтъ Фирса у Гаевыхъ... Въмѣсто Фирса—не угодно ли считаться съ «Яшкою-подлецомъ», котораго корчить смѣхомъ при спичахъ Леонида Андреевича? не угодно ли считаться съ конторщикомъ Епиходовымъ, у котораго умъ за разумъ зашелъ отъ непосильнаго чтенія, до «Боклія» включительно? Одинъ оретъ:

— Любовь Андреевна, рантре муа а Паришъ! Ле пѣплъ иси тутъ а фе совашъ...

И ужасно гордь своимъ буржуазнымъ шикомъ и моральнымъ кодексомъ, почерпнутымъ изъ мудрости парижскихъ лакеевъ:

— Я того мнѣнія, что—которая дѣвушка, позволяеть себя любить, она—безнравственная!

Эту милую фразу преподносить Яшка Дуняшъ, имъ обольщенной. Вчера я говорилъ, что Яшка—типъ сутенерскій. Казалось бы,—противорѣчіе? Ничуть: теоретическая мораль французскаго или итальянскаго сутенера—квинтъ-эссенція мѣщанства, котораго отбросомъ является безобразный классъ этотъ,—и никто такъ не презираетъ публичныхъ женщинъ за ихъ промыселъ, какъ сутенеры ихъ, хотя ими живутъ, кормятся, жуируютъ, франтятъ. Безчувственный, безжалостный, себялюбивый, хищный, пустой, до ужаса одичалый нравственно, типъ: ни совѣсти, ни сердца,—одна внѣшность, самообожаніе и самолюбование. Только и уязвляетъ халуя-буржуа—Гаевское брезгливое чутье:—Отойди! отъ тебя курицей пахнетъ?.. Кто здѣсь скверную сигару курить?... Потому что—щелчокъ по идеалу комъ-иль-фотности, единственному, доступному этой выѣденной душѣ. Яшка захочетъ, если вы оскорбите, хуже чего нельзя, его родную мать, но не простить вамъ, если вы замѣтите, что онъ рѣдко мѣняетъ фоколи... Изображалъ эту фигуру г. Александровъ и сдѣлалъ для нея больше, чѣмъ авторъ, который типъ Яшки лишь намѣтилъ.

За то детально разработалъ А. П. Чеховъ фигуру Епиходова: частый типъ чеховскихъ юмористическихъ разсказовъ и будищевскихъ серьезныхъ романовъ: внукъ Чичиковскаго Петрушки, полуграмотный конторщикъ, мозги котораго спасовали передъ безразборнымъ чтеніемъ, а языкъ, всетаки, не гнется въ образованный разговоръ, и потому—при цивилизованныхъ мысляхъ и чувствахъ—страданія самолюбивой застѣнчивости жестоки! Помилуйте! Человѣкъ Бокля читалъ и горничныхъ имъ озадачиваетъ, а—начнетъ говорить объ «умномъ» или выражать трагическія чувства неудачной любви своей, и—ничего съ языка, кромѣ тягучихъ вводныхъ словъ и придаточныхъ предложений! Епиходовы смѣшны, жалки—и опасны въ обществѣ. Это—«господа палилки», обычные убійцы-психопаты по ревности, а лучше сказать—по оскорбленному самолюбію и по желанію блеснуть собою: вотъ молъ я, Епиходовъ, какъ умѣю любить—совсѣмъ какъ господа въ романахъ и даже какъ бы на манеръ Отелло, венеціанскаго мавра! *) Не даромъ же Епиходовъ въ карманѣ револьверъ таскаетъ... С. А. Андреевскій когда-то защищалъ одного такого Епиходова, убійцу своей невѣсты, и произнесъ рѣчь, до сихъ поръ памятную, какъ блестящій анализъ типа. Г. Москвинъ передаетъ Епиходова со всѣмъ блескомъ своего разнообразнаго таланта: точно онъ родился Епиходовымъ—въ этихъ сапогахъ бураками и съ этимъ кипящимъ самоваромъ уязвленнаго самолюбія въ груди! Куцые жесты, робкая, щепотная походка, упрямый взглядъ, желѣзная, въ своемъ родѣ, воля дѣлать все, несвойственное его бездарной натурѣ: сочинять стихи, читать Бокля, играть на бильярдѣ, даже—благородно застрѣлиться, если «романтика» потребуетъ, изъ револьвера... Епиходовъ—смирный парень, но и въ его смиренствѣ ки-

*) См. въ моей „Столичной Весѣдѣ“—очеркъ „Уголовная Чернь“ и въ „Женскомъ Нестроеніи“ (2-го изданія)—главы „О ревности“.

пить тайный бунтъ, и не справиться даже съ Епиходовымъ «недотепамъ». Когда онъ сломалъ кій и взбѣшенная Варя сдѣлала ему выговоръ,—смотрите, съ какимъ остервенѣлымъ высокомѣріемъ отчитываетъ онъ ее въ свою очередь:

— Хожу ли я, сижу ли я, кушаю ли я, играю ли я на бильярдѣ, этого вы не можете понимать. Это можетъ понять, у кого тутъ много...

И величественно стучить пальцемъ по лбу.

Вышла изъ себя Варя и отдула его палкою. Епиходовъ струсилъ и убѣжалъ. Но вѣдь это—на первый разъ: въ слѣдующій онъ самъ Варю палкою съѣздитъ... Нѣтъ, Епиходовы Гаевымъ не слуги! Вотъ—Лопатинымъ они слуги и вытягиваются передъ ними по швамъ, потому что крута дисциплина купеческаго рубля: Ермолай Алексѣвичъ, чуть что не такъ, соки выжметъ... Упрекають г. Москвина, будто онъ каррикурировать. Нѣтъ. Никто не наблюдаетъ больше Епиходовыхъ, чѣмъ мы, газетные люди: они—усердные графоманы и заваливають редакціи своими безграмотными присылами, по преимуществу, стихотворными. Это—Епиходовы «случайные». Но въ каждой редакціи, типографіи, книжномъ складѣ, газетной экспедиціи можно найти своего «постояннаго» Епиходова—и съ тѣмъ же неудачничествомъ на всѣхъ путяхъ жизни, съ тѣми же «двадцатью двумя несчастіями» каждый день; съ тою же симпатичною жаждою просвѣщенія и уваженія къ своей личности, съ тѣмъ же, до болѣзненности доходившимъ, противнымъ самомнѣніемъ, съ тою же опасною маніей преслѣдованія, съ враждою къ каждому, кто съ нимъ не согласенъ и не находитъ его гениемъ... Я самъ вожусь съ однимъ такимъ нещечкомъ вотъ уже нѣсколько лѣтъ. А зналъ я редактора, великаго покровителя литературныхъ самородковъ, которому и впрямь удалось открыть нѣсколько хорошихъ талантовъ изъ народа,—такъ его, по этой репутаціи, Епиходовы доводили до того, что

онъ, буквально и безъ всякихъ преувеличеній, бѣгалъ по кабинету, мыча, какъ разъяренный быкъ и деря съ макушки свои, весьма не густые, волосы... Скажешь ему, бывало:

— Да что вы мучаетесь и время теряете? Просите его придти, когда онъ хоть грамотѣ выучится, а покуда—отправьте его, со всею свойственною вамъ выразительностью, во свояси...

— Да! хорошо разсуждать... А вдругъ застрѣлится?!

Угроза самоубійствомъ — своего рода нравственный шантажъ—всегда на концѣ языка у Епиходовыхъ... Пускаетъ ее въ ходъ и чеховскій Епиходовъ...

Раневскія и Гаевы, чтобы процвѣтать, должны опираться на благоговѣйную, кроткую массу, въ которой, какъ въ Фирсѣ, еще не просыпалось чувство своего «я». Человѣкъ, заявляющій свое «я», уже сильнѣе ихъ,—будь то Яшка или Епиходовъ, не говоря о Лопатинѣ,—потому что у нихъ-то самихъ даже и такого поверхностнаго «я» нѣту: ихъ организмъ лишень элементовъ противодѣйствія и самозащиты.

Самая сильная и энергичная между ними—Варя—и та пасуетъ, нарываясь на епиходовскія дерзости, и, чтобы оборвать ихъ, у нея не достаетъ нравственнаго авторитета, приходится ей драться въ слѣпой ярости, какъ дикаркѣ, и, слѣдовательно, опускаться на уровень того же Епиходова. Эта Варя — состарившаяся и немножко прокисшая Соня изъ «Дяди Вани»: съ тою же практичностью на скромное маленькое дѣло и съ тѣмъ же личнымъ неудачничествомъ. Соня осталась безъ Астрова, Варя—безъ Лопатина. Вѣчныя экономки по убѣжденію, иногда жены, никогда любовницы! Типъ этотъ всегда находилъ превосходныхъ изобразительницъ въ художественномъ театрѣ. Соню въ совершенствѣ создала когда-то г-жа Лилина, Варю—такъ же художественно воплощаетъ г-жа Андреева.

У Вари все же есть хотя какой нибудь щитокъ на тѣлѣ

и зубы, чтобы огрызаться. Но Раневская и Гаевъ—совсѣмъ мягкотѣлыя. Мягкотѣлыя, беззащитныя... Чеховъ ввелъ все въ тотъ же актъ «Вишневаго сада», гдѣ впервые звучить символически порванная цѣпь, очень сильный эпизодъ, когда въ веселую компанію Гаевыхъ вваливается изъ рощи полупьяный босякъ. Онъ—изъ «бывшихъ людей», спившійся интеллигентъ, надо полагать: бормочетъ по-французски, поетъ Торреадора... Фигура дикая, страшная, жалкая, смѣшная, грязная и грозная. Попадись ему наединѣ Леонидъ Гаевъ, онъ раздѣлъ бы горемычнаго «недотепу» до нитки; встрѣтись ему съ глазу на глазъ Аня Раневская, онъ изнасиловалъ бы ее безъ смысла и жалости, — повторилась бы исторія андреевской «Бездны». Но—сидитъ большое общество, и дикій человѣкъ проситъ лишь «келькъ пошъ пуръ буаръ»... И такъ тяжело его присутствіе мягкотѣлымъ и беззащитнымъ, такъ онъ страшенъ и зловѣщъ для нихъ, что Раневская—хотя дома люди на одномъ горохѣ сидятъ—суетъ ему золотой: только уйди! Чудовище исчезаетъ,—кажется, не столь благодаря золотому, сколь по окрику дюжаго Лопатина: проходи, пьяница, своею дорогою!.. Всѣ вздохнули легко, но всѣ перепуганы. И опять—какой-то мистическій перепугъ, какъ при томъ грозномъ звукѣ... Словно—порванная цѣпь простонала имъ объ ихъ конченномъ прошломъ, а въ лицѣ босяка-интеллигента глянула имъ въ глаза насмѣшливая угроза возможнаго будущаго.

Что же? Развѣ Баронъ Горькаго и Леонидъ Гаевъ—не родня между собою? Развѣ такъ трудно вообразить одного на мѣстѣ другого? Вотъ—поступилъ Леонидъ Гаевъ въ банкъ. Финансистъ!—самъ хохочетъ онъ надъ собою и, вмѣстѣ, заливаются веселымъ смѣхомъ самобичеванія всѣ родные... Въ банкѣ какой-нибудь Лопатинъ 2-й, привычный распорядиться общественными суммами, какъ собственными, подsunулъ Божьему младенцу двѣ-три поддѣльныя бумажки, а тотъ ихъ, въ невинности душевной и по благо-

родному довѣрію къ человѣчеству, подмахнулъ, конечно, не читая: гдѣ же читать? да вѣдь, пожалуй, еще и не поймешь ничего, если и прочтешь! Засимъ—ревизія, обнаружена растрата, и поѣхалъ Леонидъ Андреевичъ Гаевъ, самъ не зная за что, населять мѣста не столь отдаленныя. А засимъ—дорога извѣстная, по рецепту Барона: переодѣвался Баронъ изъ мундира во фракъ, изъ фрага въ арестантскій халатъ, изъ халата въ рубище и Настины башмаки,—переодѣнется и Леонидъ Гаевъ... Развѣ вотъ—что постарше онъ Барона, не успѣетъ примѣниться къ ночлежкѣ и помреть.

Я еще въ самомъ началѣ обзора говорилъ, что Гаевы—народъ съ ослабленною дѣятельностью задерживающихъ центровъ. Каждый изъ нихъ, какъ поляки говорятъ, та зајаса w głowie, у каждого заяцъ въ головѣ, и шнырить этотъ заяцъ, шнырить, шнырить въ мозгахъ, и чортъ знаетъ, какіе устраиваетъ въ оныхъ кавардаки. И не Гаевы коварнымъ предателемъ-зайцемъ своимъ владѣютъ, а заяцъ ими. Одинъ самъ не замѣчаетъ, какъ лѣтъ изъ себя водопадами юродивые спичи; другая сейчасъ плачетъ, черезъ минуту беззаботно хохочетъ; всѣ, хоть убей, не могутъ сосредоточиться на самой практически важной для нихъ идеѣ—памяти о близкомъ крушеніи, о торгахъ 22 августа; нѣжность легко переходитъ въ ссору, отчаяніе въ фантастическія надежды... Чувствуешь себя въ дѣтской, наполненной младенцами-гигантами, и коробить отъ ихъ зрѣлица, и жаль ихъ бесконечно!.. Самый жалкій, повторяю, Леонидъ Гаевъ—въ вдохновенномъ исполненіи К. С. Станиславскаго. Онъ создалъ фигуру, юморъ которой заставляетъ сердце сжиматься, какъ юморъ «Шинели» Гоголевой. Бываютъ сценическія явленія незабвенныя, сколько бы лѣтъ давности имъ ни исполнилось. Я увѣренъ, что никогда не забуду Станиславскаго-Гаева, какъ онъ—когда «Вишневый садъ» проданъ съ торговъ—входитъ съ двумя пакетиками.

— Ну что? что?—съ тоскою бросается къ нему Раневская.

А онъ—почти безсмысленно Фирсу:

— Тамъ анчоусы и керченскія сельди.

Проданъ «Вишневый садъ»!.. Ужась надъ домомъ... Безсильно опустился на стулъ изстрадавшійся Леонидъ... Въ это время—чокъ! въ биллиардной стукнулъ шаръ,—и Леонидъ инстинктивно обернулся посмотрѣть, и рука потянулась за кіемъ...

— Я пойду переодѣться...

Переодѣнется и пойдетъ играть. Не утерпитъ—пойдетъ!

А явленіе послѣдняго дѣйствія, когда у Леонида путаются мысли: и покойный отецъ, и Троицынъ день, и прощальная рѣчь къ дому, и—

— Рѣжу желтаго въ среднюю... па!

Механизмъ мысли работаетъ безъ регулятора, заяцъ скачетъ, какъ хочѣтъ, въ неуправляемыхъ волею мозгахъ.

Я слишкомъ мало видалъ г. Станиславскаго на сценѣ, чтобы судить, на какой степени его совершенства стоитъ роль Гаева, но уже одной ея достаточно, чтобы привѣтствовать въ немъ необычайно сильнаго и глубокаго художника. По моему, его Гаевъ стоитъ его Астрова... а Астровъ былъ большая, базаровская фигура!

Сестра Гаева, Раневская, — дама, что называется, балзаковского возраста,—типъ, который самъ Гаевъ, въ одну изъ своихъ невольныхъ откровенностей, называетъ «порочнымъ»: она вся во власти своего страстнаго темперамента. Остальное въ жизни скользитъ по ней, главное для нея—какъ говорить гадалки—«марьяжный интересъ». Думала Раневская забастовать—бѣжала изъ Парижа: нѣтъ, тянетъ библейскаго пса на блевотины его... Съ перваго же момента, когда она разрываетъ въ клочки телеграммы изъ Парижа, видно: не храбрись, матушка! Много на себя берешь: не выдержишь, вернешься!

— Смотрите за мамою въ оба, а то она все продастъ!

Деньги у нея текутъ сквозь пальцы. Попросить сосѣдъ займы—бери, попросить нищій милостыни—на золотой...

А дома люди сидятъ, не жавши! Свое отдасть — чужое займетъ. И, если подвернется новый проситель, отдастъ занятое чужое, чтобы занять опять и опять!

Женщина, увлекательная неудовлетворенною чувственностью, скрытою порочностью, зрѣлою готовностью къ плотской любви, — этотъ чеховскій типъ, проходящій всѣ четыре главныхъ его пьесы, особенно удается талантливой г-жѣ Книпперъ; это — ея конекъ, специальность. Раневская ея, на мой взглядъ, даже болѣе законченная и интересная фигура, чѣмъ прежнія родственницы этой парижской дамы съ темпераментомъ: Елена въ «Дядѣ Ванѣ», Маша въ «Трехъ Сестрахъ». Великолѣпно передаетъ г-жа Книпперъ ту, если можно такъ выразиться, опытную мудрость чувственности, что ли, то сознательное, женское свое право на нее, какимъ дышать всѣ немолодые женщины, много любившія и много любимыя, принужденныя возрастомъ или обстоятельствами отречься отъ долгаго самоцѣлаго успѣха, но полныя тайной гордости за него. Ух! какъ она вспыхнула, эта тайная гордость побѣдительной самки, когда Петя Трофимовъ посмѣлъ обругать парижскаго любовника Раневской негодеемъ и ничтожествомъ! Такъ и соскочила вся добродѣтель, сверху наштукатуренная, такъ и выскочила наружу, въ полномъ блескѣ своемъ, сладострастная куртизанка, для которой мужчина прежде всего — самецъ... И, чтобы оскорбить въ отвѣтъ Петю Трофимова, женщина-самка не находитъ ничего злѣе, какъ укорить его, что ужъ онъ-то — почти тридцатилѣтній дѣвственникъ, платоникъ, мечтатель о трудовомъ посестріи съ любимой дѣвушкой — совсѣмъ не самецъ.

— Въ 26 лѣтъ у васъ нѣтъ любовницы!.. Эхъ вы! Недотепа!

— Что она говорить?! Что она говорить?! визжитъ, почти обезумѣвъ, бѣдный дѣвственникъ — «вѣчный студентъ» по долгому сидѣнію въ университетѣ, «облѣзлый

баринъ»—по плѣши, выработанной постоянными думами и плохими кормами.

— Между нами все кончено!!!

Трагикомическая сцена этой идейной ссоры между идеалистомъ-полутолстовцемъ и жрицею «матери наслажденій» немножко напоминаетъ ссору между сыномъ-поэтомъ и матерью-актрисой въ «Чайкѣ». Но—какъ ведутъ ее г-жа Книпперъ и г. Качаловъ! Сама—жизнь! Мнѣ живо вспомнилось студенческое время и меблированные комнаты въ Москвѣ на Кисловкѣ, и подобная Раневской же, великолѣпно помятая, красивая особа, которую мы звали «Меблированную Карменъ», *), а предъ нею—безбородый юнецъ—нынѣ крупный вершитель юридическихъ судебъ—чуть не плачетъ и бьетъ себя кулакомъ въ грудь:

— Да не издѣвайтесь же вы! Не скверните языка цинизмомъ, котораго нѣтъ въ васъ! Отрѣшнитесь хоть на минутку отъ мысли, что вы—баба! Вспомните, что вы—человѣкъ!

А та хохочетъ... и — не то ей впрямь ужъ очень смѣшно и весело, не то—вотъ сейчасъ она завопитъ, какъ кликуша, въ истерикѣ... И было это похоже на водевиль, и было похоже на трагедію. И—чѣмъ больше походило на водевиль, тѣмъ больше чувствовалась трагедія.

Чеховъ остался вѣренъ тому безпросвѣтному пессимизму, какимъ до сихъ поръ дышало все, что онъ писалъ для сцены: подтачивающія довѣріе, болѣзненные черты онъ придавалъ даже тѣмъ героямъ своимъ, которые какъ будто призваны имѣть въ «Вишневомъ садѣ» значеніе положительнаго базиса: Петъ Трофимову, Варъ, Анъ. Въ особенности замѣтно это на Петѣ Трофимовѣ. Парень всѣхъ зоветъ въ жизнь—работать, а самъ десять лѣтъ сидитъ въ университетѣ, кочуя съ факультета на факуль-

*) См. въ моей „Столичной Безднѣ“ очеркъ „Меблированная Карменъ“.

теть. Попрекають его за то сильно, и въ особенности зло трунить Лопатинъ... Но я думаю, что именно въ усиленномъ антагонизмѣ послѣдняго Чеховъ, со свойственнымъ ему тонкимъ проникновеніемъ, даетъ и оправданіе «не работающему» проповѣднику работы, — «вѣчному студенту». Что такое «работа» для того, кто мыслить и чувствуетъ въ нашъ вѣкъ, — тѣмъ болѣе для человѣка молодого, еще не жившаго? Какъ ее формулировать и устанавливать ея границы? Гдѣ онъ, идеалъ «работы»? Для иныхъ вѣдь и Левъ Толстой только что не баклуши бьетъ, сидя на всемъ готовомъ, и Максимъ Горькій создалъ апопееозъ праздности, хотя, конечно, ни одному изъ этихъ иныхъ никогда въ жизни не случилось работать на себя такъ, какъ должны работать на себя, чтобы жить, Коноваловъ, «двадцать шесть», Мальва... Работа работѣ рознь и то, что понимаетъ подъ работою толстосумъ, фанатикъ дачныхъ участковъ, — не работа для юноши, который, улыбаясь, глядитъ прельстителю толстосуму въ глаза и говоритъ:

— Давай ты двѣсти тысячъ, я отъ тебя двухсотъ тысячъ не возьму.

Иные чистые
Пути тернистые
Обрѣтены...

Идя по чистымъ и тернистымъ путямъ, Петя и Аня творятъ свою особую, упорную, на вѣкъ нужную, работу, которая естественно развивается уже изъ одной душевной чистоты ихъ благоухающаго цѣломудрія, изъ сердець, широко раскрытыхъ для любви къ міру. Путемъ долгаго самовоспитанія, какое прошелъ «вѣчный студентъ», долженъ придти человѣкъ на тяжкій искусь этой работы. Да и тогда не всякій пойметъ ее, рассмотреть и признать. Не работа она для Лопатина, созидателя изъ «третьяго сословія». Не работа для Раневской, которая сама никогда, что называется, пальцемъ о палецъ не ударила (о

трудѣ она говорить совсѣмъ тѣмъ же тономъ, какъ эгоистъ-бѣлоручка, профессоръ въ «Дядѣ Ванѣ»), а твердить Трофимову: надо учиться и служить! Не работа, быть можетъ, для практической Вари: безумно любя сестру, она желала бы Анѣ мужа съ «работою», дающею сытый буржуазный комфортъ... А вотъ для самой-то Ани — гляди, и работа, да еще какая зажигающая, какая восторгающая, какая святая...

— Прощай, старая жизнь!

— Здравствуй, новая жизнь!

Лопатинъ истощить участки, Раневская просвищетъ послѣднiя деньги на своего альфонса, Гаевъ пропадетъ въ своемъ банкѣ, Варя истомится гдѣ-нибудь «въ ключахъ»... и всѣ они будутъ думать, что «жили и работали», идя по своимъ путямъ, а вотъ Буревѣстникъ и Чайка — тѣ-моль празднoлюбцы: ишь, полетѣли купаться въ грозовыхъ тучахъ надъ моремъ и въ пѣнѣ буруна на морѣ...

Ну, и Богъ съ ними, съ судьями! Пусть думаютъ, что хотятъ... А дѣлать надо, все-таки, не по-ихнему, но — во что вѣришь и куда зоветъ Духъ... Работа работѣ рознь, и самъ Христосъ указалъ людямъ работу Духа, ради которой человѣкъ-работникъ долженъ оставить богатство, мать, братьевъ и стать въ мірѣ, какъ — внѣ міра...

Иди къ униженнымъ,

Иди къ обиженнымъ,

По ихъ слѣдамъ:

Гдѣ тяжело дышится,

Гдѣ горе слышится —

Будь первый тамъ!

Туда-то и полетѣли Буревѣстникъ и Чайка, тамъ-то и мѣсто ихъ работы... На тернистыхъ путяхъ — съ чистыми руками!

1904.

Апрѣль.

3.

Прочиталъ пылкую статью Антона Крайняго въ «Новомъ Пути» о Чеховѣ и о томъ, что Софокль и Еврипидъ лучше. Думаю, что сіи почтенные старцы сами по себѣ, а Антонъ Павловичъ — самъ по себѣ, и ничуть они другъ другу на сценѣ не мѣшаютъ. Я принадлежу къ числу весьма немногихъ, горячо привѣтствующихъ воскресеніе греческой трагедіи на русскомъ театрѣ и желающихъ молодымъ силамъ александринской сцены, которыя усердствуютъ на этомъ новомъ поприщѣ, и крѣпкой энергіи, и полнаго успѣха. Но заполнить сцену преимущественно «оглядкою на вѣчное въ прошломъ», какъ выражается г. Антонъ Крайній, было бы большою несправедливостью и къ настоящему, и къ будущему: искать элементъ вѣчнаго и въ нихъ намъ нужно — и гораздо больше, чѣмъ въ испытанномъ, проверенномъ, оцѣненномъ прошломъ. Я не только не поклонникъ, но прямо не люблю схематическихъ пьесъ г. Боборыкина; но первый протестовалъ бы, если бы его, какой ни какой, но публицистическій голосъ о современности, долженъ былъ умолкнуть со сцены, исключительно занятой «оглядками на вѣчное въ прошломъ», до Софокла и Еврипида включительно. Ни жизнь, ни сцена, отголосокъ жизни, — не музеи. Несчастенъ человѣкъ, никогда не удостоившійся видѣть Венеру Милосскую и Бельведерскаго Аполлона, но жалокъ человѣкъ, который всю жизнь свою провелъ бы въ глазѣннѣ на эти мраморы «вѣчнаго въ прошломъ». Нужны Софокль и Еврипидъ, нуженъ и Боборыкинъ, законна «Пляска жизни», на которую особенно свирѣпо обрушивается Антонъ Крайній, — и уже нечего говорить, какъ нуженъ, нуженъ, нуженъ Антонъ Чеховъ, величайшій поэтъ нашей печальной дѣйствительности, и нуженъ реалистическій театръ, умѣющий воплощать унылые образы Чехова, какъ художественный

театръ гг. Станиславскаго и Немировича-Данченко, противъ коихъ Антонъ Крайній тоже воюеть съ большимъ шумомъ. Не бойтесь смотрѣть въ глаза скорби вѣка. Не пройдя сквозь нее, вы не узнаете радостей будущаго. Не бойтесь тлѣнія: на могилахъ растутъ сочные цвѣты.

Антонъ Крайній говорить, что, еслибы Чеховъ—«этотъ пассивный эстетическій страдалецъ, послѣдній пѣвецъ разлагающихся мелочей»—былъ послѣднимъ словомъ искусства, то, въ пессимизмъ своемъ, онъ былъ бы великъ и страшенъ: побѣда Чехова—«побѣда чорта-косности надъ міромъ и надъ Богомъ (??!)». Ловить чертей за хвостъ я не мастеръ и не охотникъ, послѣднею точкою въ искусствѣ—Чехова не считаю; но почему же Антонъ Крайній думаетъ, что Чеховъ *не* страшенъ?! Разумѣется, страшный писатель, потому что въ неслыханную, доселѣ, изобразительность его (Антонъ Крайній вполне правъ, ставя его «атомистическія» открытія впереди гончаровскихъ, тургеневскихъ, толстовскихъ) перелилась русская современность съ такою обличающею полнотою и подробностью, что смотрѣть—именно страшно, какъ на слишкомъ живой портретъ, какъ на глаза Гоголева ростовщика, замучившіе несчастнаго Черткова... Жизнь страшна,—а вы думали: нѣтъ? Большое усиліе, почти «безумство храбрыхъ» нужно, чтобы безтрепетно смотрѣть ей въ нечистыя, таинственныя очи: художнику — чтобы безъ компромиссовъ заносить на полотно ея коварное разложеніе, а намъ,—чтобы внимательно и чутко слѣдить за его безрадостною работою. «Хотя у Чехова и нѣтъ самаго дѣйствительнаго противъ чорта оружія—Логоса» (ох!), это не препятствуетъ ему быть самымъ мужественнымъ и правдивымъ человѣкомъ въ нашей литературѣ. Онъ—«безысходный»... «Неужли никто и никогда не укажетъ намъ иного выхода, кромѣ Москвы и старыхъ калошъ?»—воскликаетъ Антонъ Крайній. Будто бы такъ ужъ никто и никогда не указывалъ и не указываетъ? Выходовъ то много, да суровые они, грубые, не

легкіе, требуютъ мучительныхъ трудовыхъ жертвъ и страствія босикомъ по терніямъ, а руки у нашихъ esprits forts, тоскующихъ по выходамъ, бѣлыя, а ноги нѣжныя: стало быть, и ходи по мягкимъ коврамъ кабинета, поправляя разныя мистическія лампадки,—а ужъ что о выходахъ! Надъ «грязными калошами» чеховскаго «вѣчнаго студента» тоже напрасно издѣваться: въ «звѣзду жизни» Чеховъ ихъ не ставилъ, — а, что, опять-таки, ноги въ старыхъ, рваныхъ калошахъ безстрашно и самоотверженно шагаютъ по такимъ зыбучимъ болотамъ жизни русской, на которыя ступить ногамъ «званныхъ», въ калошахъ щегольскихъ, новыхъ обидно, жаль, жутко, себѣ дороже,—это вѣрно, и Антонъ Крайній того отрицать не будетъ... Оттого-то и «много званныхъ, но мало избранныхъ!»

* *
*

Въ чемъ нельзя не согласиться съ Антономъ Крайнимъ, это—въ его антипатіи къ современной театральной критикѣ, въ послѣднемъ ея наслоеніи. Ужъ очень невѣжественна она стала и распустилась въ циническихъ откровенностяхъ, которыя Антонъ Крайній совершенно справедливо приравниваетъ къ хвостовству, «что не носятъ бѣлья»... Буржуазная сытость и боязнь шевелить мыслью, бюрократическій консерватизмъ, какая то традиціонная лѣнь мысли въ русской театральной критикѣ, паче всего боящейся новыхъ вѣяній, въ которыхъ надо на-ново и разбираться, ибо невозможно счесться съ ними по шаблонамъ старыхъ образцовъ, совершенно уронили авторитетъ этой публицистической отрасли, когда-то очень важной въ нашей литературѣ. Самая должность редакціонная постояннаго театральнаго критика — по-моему, большая принципиальная нелѣпость: на что, кому нужны взгляды челоуѣка, обязаннаго писать только о театрѣ и, такимъ образомъ, какъ бы предполагаемаго умѣющимъ только о театрѣ умно и думать?

Случайную критику, написанную, напримѣръ, Андреев-

скимъ, я читаю всегда съ большимъ интересомъ и извлекаю изъ нея гораздо больше мыслей, чѣмъ изъ привычныхъ отзывовъ нашихъ присяжныхъ Сарсэ. И это не потому только, что Андреевскій талантливѣе нашихъ Сарсэ, но и потому, главнымъ образомъ, что его слово—свѣжее, не отравленное профессиональною привычкою къ театральному залу. Алкоголики—плохіе знатоки въ винахъ. Театральные завсегдатаи—тѣмъ паче подневольные—теряютъ аппетитъ и вкусъ къ зрѣлищамъ, предъ ними развивающимся. Даже корифеямъ этого труда приходится, какъ сами они сознаются, насиловать себя, чтобы писать о театрѣ: такъ онъ имъ надоѣлъ, такъ его разнообразіе для нихъ однообразно. Петербургскій театральный критикъ ex officio—типическій чиновникъ, вращающійся въ кругу входящихъ и исходящихъ пьесъ, артистовъ, «разрѣшаемыхъ» въ канцелярскомъ порядкѣ къ успѣху и провалу,—и все это выработано такими давними традиціями въ шаблоны и формы, что мѣняются лишь, да и то съ грѣхомъ пополамъ, слова, а новой мысли ждать въ бюрократической трясинѣ этой — тщетно: новшество здѣсь даже производить скандалъ, является только что не неприличіемъ. За довольно долгій срокъ я не припомню случая, чтобы петербургская театральная критика привѣтно встрѣтила какое-либо свѣжее теченіе русской сцены: особенно же рѣзко сказался ея консерватизмъ въ суровой оппозиціи «Станиславцамъ» и античной трагедіи, за незаслуженныя нападки на которую и отчитываетъ теперь петербургскихъ зоиловъ Антонъ Крайній. Всякая бюрократическая система, въ сущности говоря, очень проста, и, чтобы внѣшними формами ея владѣть, достаточно даже самой первобытной сметки. Поэтому, какъ скоро театральная критика выродилась въ бюрократическую систему, она не замедлила очутиться въ рукахъ людей мало интеллигентныхъ и скорбныхъ образованіемъ. Значительною потерей для театральной критики былъ фактическій уходъ изъ рядовъ ея А. С. Суворина. Онъ

въ прежнее время, все-таки, освѣжалъ атмосферу оригинальностью иныхъ своихъ сужденій, смѣлыми капризами самыхъ пристрастій и ошибокъ своихъ, наконецъ, изяществомъ литературной формы. Но, съ учрежденіемъ Литературно-Артистическаго театра, Суворинъ-критикъ умеръ въ Суворинъ-директоръ, а вліятельной замѣны ему не нашлось, да для его газеты, очутившейся на привязи у собственнаго театра, уже и не потребовалось. Крупные работники печати отстали, либо отстаютъ отъ театра, а освобождающіяся «вакансіи» замѣщаются безпечальными и безразлично бойкими перьями, которымъ «въ высокой степени наплевать», въ какую сторону лить свои строки. И распоясываются иные въ этомъ отношеніи, дѣйствительно, до дивнаго неглиже съ отвагою. И все, что не позволяетъ на себя «наплевать», имъ уже противно принципиально, ибо—ежели не наплевать, то надобно разсуждать, а разсуждать не хватаетъ пороха, да и лѣнь, лѣнь, лѣнь, которая раньше человѣка выросла...

Обиднѣе всего, что безшабашный бюрократизмъ этой изъ рукъ вонъ легкой и хорошо оплачиваемой, по злободневной срочности, работы затягиваетъ и развращаетъ иныхъ молодыхъ журналистовъ, далеко не безъ дарованія,—и, поставленные въ рамки повелительныхъ пристрастій «своего дѣла», часто сами они не замѣчаютъ, какъ изъ (возможно бы!) молодыхъ литераторовъ размѣниваются просто въ молодыхъ лакеевъ. Желаніе угодить и потрафить на «свое дѣло», сноровка бойкаго шаблона, одобреннаго оригинальничающею развязностью и отсебятинами «стиля модернъ», смѣло обнаженное певѣжество,—и ни малѣйшей любви къ искусству и желанія знать его... Изъ театральныхъ критиковъ постарше я часто не соглашаюсь съ талантливымъ и пылкимъ А. Р. Кугелемъ, иногда готовъ спорить съ нимъ хоть до слезъ, но понимаю кипящій въ немъ фанатизмъ взглядовъ, цѣною страстности и силу увлеченія, если оно даже представляется мнѣ

ошибочнымъ. Я понимаю, когда онъ любить, когда ненавидить, почему любить, почему ненавидить. А съ послѣднимъ наслоеніемъ буржуазной критики, о которомъ пишетъ Антонъ Крайній, и спорить не о чемъ... Ну, какъ вы будете спорить съ людьми, когда вы, прежде всего, не убѣждены, что они хоть сколько-нибудь вѣрятъ въ то, что сами написали, и завтра, по востребованію, не напишутъ «нѣтъ», гдѣ сегодня ставятъ «да»? Примѣровъ — сколько угодно!

И какіе-то они, — словно у нихъ всегда животъ болитъ: киснуть, киснуть, брюзжать-брюзжать... Всѣмъ объѣлись по горло и отъ пресыщенія болыны! Катарръ желудка, гипертрофія печени... И вотъ — катарральныя спазмы и гипертрофированная печень становятся судьями искусства и жизни въ искусствѣ... Лестно! И умно!

* * *

Въ войнѣ съ Станиславскимъ Антонъ Крайній встаетъ противъ принципа, что «не надо игры» и ссылается на авторитетъ... Николиньки Иртеньева въ толстовскомъ «Дѣтствѣ»:

— Но если игры не будетъ, что же тогда будетъ?

Какъ — что? Жизнь будетъ. Игра — дѣтямъ, взрослымъ — жизнь. Левушка Толстой, alias Николинька Иртеньевъ, игралъ въ жизнь воображаемую, Левъ Николаевичъ Толстой жилъ и живетъ жизнью реальною и другихъ ей учить.

Въ театрѣ Станиславскаго много недостатковъ, но этого достоинства умалить нельзя: онъ — театръ для взрослыхъ. И даже, пожалуй, для взрослыхъ, съ сильно утомленною и неохочою двигаться фантазіей. Вся работа воображенія, которая выпадаетъ на долю зрителя въ другихъ театрахъ, у Станиславскаго сдѣлана режиссерами. Вамъ, зрителю, остаются лишь непосредственныя впечатлѣнія зрѣнія и слуха, да логическая работа надъ ними разума.

1904. Іюнь.

Цвѣты «Вишневаго сада».

Нравственнымъ и художественнымъ центромъ второго сборника «Знанія», конечно, является «Вишневый садъ» А. П. Чехова. О пьесѣ этой я говорилъ подробно послѣ постановки ея въ Петербургѣ московскимъ Художественнымъ театромъ, и къ сказанному тогда приходится прибавить теперь немного, но прибавить, все-таки, необходимо, потому что, за послѣдніе мѣсяцы передъ кончиною великаго писателя, противъ «Вишневаго сада» ведена была нѣкоторыми изданіями своеобразная и очень лютая атака.

Не аристократическая, но аристократничающая, праздная, сыто-мечтательная критика иллюзорныхъ переливаній изъ пустого въ порожнее, калейдоскопической игры старыми цвѣтными словами, въ которыхъ красивый и громкій звукъ давно уже и затѣняетъ, и замѣняетъ смыслъ, критика отцвѣтающаго безъ расцвѣта, мимолетнаго и подражательнаго псевдо-идеализма въ послѣднее время сильно ополчилась на Чехова и, преимущественно, на «Вишневый садъ», какъ на пьесу отчаянія, какъ на картину конечнаго крушенія жизни безъ спасенія и исхода. Съ какимъ-то особенно сердитымъ недоброжелательствомъ возстала эта критика на молодую поросль «Вишневаго сада», съ злорадствомъ высказывая недовѣріе къ яркимъ, задушевымъ рѣчамъ «вѣчнаго студента» Пети Трофимова, къ пылкому отвѣтному энтузіазму Ани Раневской... Почти съ ненавистью подчеркиваются въ Петѣ Трофимовѣ «облѣзлый баринъ», «старыя калоши», «недотепа»,—всѣ комическія и случайныя стороны типа. Дошли, наконецъ, до утвержденія, что Чеховъ написалъ сатиру на нравственное безсиліе молодежи: такъ-то де вотъ и она топчется въ старыхъ

калошахъ, не умѣя выйти въ нихъ изъ отжитой жизни въ новую, даромъ, что гораздо вопить радостные привѣты:

Аня. Прощай, домъ! Прощай, старая жизнь!

Трофимовъ. Здравствуй, новая жизнь!

Усиленное критическое вниманіе къ калошамъ Петя Трофимова и негодованіе, зачѣмъ онѣ—старыя и грязныя, приняли столь значительные размѣры, что я почти готовъ сомнѣваться, ужъ не взялись ли нынѣ за критику агенты резиновыхъ мануфактуръ, для коихъ калошный вопросъ, разумѣется, вещь въ жизни первая... Однажды на итальянской Ривьерѣ, близъ Нерви, я видѣлъ гигантскій плакатъ-рекламу... изъясняются два джентльмена:

— Надѣюсь, что я—вполнѣ свѣтскій человѣкъ,—говорить одинъ.

Другой возражаетъ:

— Нѣтъ, не вполнѣ: истинно свѣтскимъ человѣкомъ не можетъ быть упрямецъ, который не употребляетъ душистаго мыла фирмы «Пирсъ и К^о».

Логика этой рекламы совершенно тождественна съ тою, по которой судить Петю Трофимова калошная критика.

— Дай мнѣ хоть двѣсти тысячъ, не возьму,—говоритъ Лопатину Трофимовъ.

— Я—свободный человѣкъ. И все, что такъ высоко и дорого цѣните вы всѣ, богатые и нищіе, не имѣетъ надо мной ни малѣйшей власти, вотъ какъ пухъ, который носится по воздуху. Я могу обходиться безъ васъ, я могу проходить мимо васъ: я—силенъ и гордъ. Человѣчество идетъ къ высшей правдѣ, къ высшему счастью, которое только возможно на землѣ, и я—въ первыхъ рядахъ.

— Дойдешь?

— Дойду! или укажу путь другимъ, какъ дойти.

Прекрасно и мощно звучать вдохновенныя, свѣтлыя слова, и самъ торжествующій Лопатинъ смущенъ и при-

нижень ими. Но въ отвѣтъ яркому, призывному звону ихъ, вольно несущемуся въ небеса, съ земли вдругъ раздается кислое, ноющее брюзжанье:

— Ахъ, не вѣрьте! Какъ онъ можетъ дойти къ высшей правдѣ на землѣ? На немъ—старыя, грязныя калоши!

Можно подумать, что высшая правда и высшее счастье, какія только возможны на землѣ, квартируютъ въ голландскомъ городѣ Кикамбонѣ (изъ разсказа Жюль Верна), гдѣ за плевокъ на изразцовую мостовую прохожій карался тюремнымъ заключеніемъ, а за грязныя, старыя калоши, вѣроятно, подлежалъ уже повѣшенію. Что же? Въ пьесѣ Чехова есть представительница и такого «идеализма», поклонница и такого тюльпанно-изразцового, архибуржуазнаго голландскаго рая. Ее зовутъ Варей. Она,—старѣющая дѣва, «узкая голова»,—такъ же, какъ и калошная критика: не умѣетъ взглянуть на Петю Трофимова иначе, какъ съ точки зрѣнія резиновой мануфактуры, и воюетъ съ его калошами ожесточенно и паче всего на свѣтѣ боится, чтобы человѣкомъ въ такихъ ужасныхъ калошахъ не увлеклась ея «душечка и красавица Аня». И эта манера разсматривать человѣка, начиная съ калошъ, наполнила Варѣ цѣлое лѣто пошлѣйшимъ страхомъ, «какъ бы у нихъ романа не вышло», и невдомекъ ей, бѣднягѣ, узкой головѣ, что «вѣчный студентъ» въ своихъ старыхъ, грязныхъ калошахъ дошагалъ уже до точки, которая—«выше любви»...

— Мы выше любви! Обойти то мелкое и призрачное, что мѣшаетъ быть свободнымъ и счастливымъ,—вотъ цѣль и смыслъ нашей жизни. Впередъ! Мы идемъ неудержимо къ яркой звѣздѣ, которая горитъ тамъ, вдали! Впередъ! Не отставай, друзья!

— Какъ хорошо вы говорите!—воскликаетъ Аня, но Варя-критика уже брюзжить, ноетъ и ворчитъ:

— Неправда! Клеймо съ красною звѣздой бываетъ видно только на новыхъ калошахъ американской мануфактуры! Этотъ господинъ не въ состояніи показать никакой

звѣзды, потому что калоши на немъ старыя и грязныя! Облѣзлый баринъ! Вѣчный студентъ! Два раза изъ университета увольняли!

За «вѣчное студенчество» бѣдному Петѣ Трофимову достаётся жестоко отъ разныхъ дѣловыхъ людей, отъ Вари, Лопатина... впрочемъ, даже и отъ Раневской, хотя эта послѣдняя сама—идеаль сытаго, празднаго бездѣльничества. Однако, и она умѣетъ лепетать уроки стараго «Вишневаго сада»:

— Надо же учиться, надо курсъ кончить... Вы ничего не дѣлаете...

А ничего ли? А надо ли? Какъ понимать и процессъ, и смыслъ ученя? Быть можетъ, что касается «надо», то оно тутъ, въ устахъ Любови Андреевны, такое же, какъ, по мнѣнiю той же Раневской, «надо что-нибудь съ бородой сдѣлать, чтобы она росла какъ-нибудь». Надо учиться, то-есть надо курсъ кончить: понятiе ученiя, какъ формальнаго свершенiя программаго курса, съ благополучнымъ достиженiемъ того или иного, «правъ» дающаго, диплома,—вотъ она, въ приговорѣ легкомысленной, не думающей о своихъ словахъ, Раневской, тайная гангрена русскаго высшаго образованiя, вотъ онъ—вѣчныя оковы на ногахъ русской мысли, вотъ онъ—ядъ, обезсиливающiй и обезличивающiй нашу, штампованную въ «табелъ о рангахъ», интеллигенцію! Нигдѣ на свѣтѣ понятiе «учиться» не переходитъ въ понятiе «получить дипломъ» съ болѣе обидною откровенностью, чѣмъ въ Россiи, и въ то же время нигдѣ на свѣтѣ дипломъ не представляетъ собою меньшаго доказательства, что человѣкъ, въ самомъ дѣлѣ, учился...

Точно ли, оставаясь «вѣчнымъ студентомъ» до двадцати семи лѣтъ, Петя Трофимовъ «ничего не дѣлалъ»?

Петя Трофимовъ, въ вѣчномъ студенствѣ своемъ, *дѣлалъ и успѣлъ сдѣлать самого себя*, и это, конечно, важнѣе всѣхъ дипломовъ въ мiрѣ. Онъ массу перечиталъ и передумалъ. Смотрите: онъ одинъ въ пьесѣ говоритъ

опредѣленными, твердыми словами, не расплывающимися ни въ «что-то», ни въ «какъ-нибудь», выражающими надежды ясныя, яркія, широкія. Онъ истратился волосами отъ тяжелодумья и сталъ близорукъ отъ слѣпыхъ шрифтовъ, но нашелъ и цѣль, и смыслъ своей жизни, какъ жизни, а не какъ «существованія». Онъ «выше любви», не нуждается въ красотѣ, не нуждается въ деньгахъ: онъ—«свободный человѣкъ», идущій неустанною мыслью впередъ и все выше, выше, какъ недавно выразился Максимъ Горькій... Онъ, дѣвственный въ 27 лѣтъ,—что тоже ставится ему въ упрекъ!—отрекся отъ плотскихъ страстишекъ и матеріальныхъ связей міра сего, приковы-вающихъ насъ властными цѣпями къ «Вишневымъ садамъ» прошлаго,—это ли значить ничего не дѣлать? Онъ научилъ живую юную душу ступить на тѣ же новые, свободные пути, по которымъ шагаетъ увѣренными, твердыми стопами самъ: мало ли это имъ сдѣлано?

— Вишневый садъ проданъ, его уже нѣтъ, это правда, но не плачь, мама... Пойдемъ со мной, пойдемъ, милая, отсюда, пойдемъ!... Мы насадимъ новый садъ, роскошнѣе этого, ты увидишь его, поймешь, и радость, тихая, глубокая радость опустится на твою душу, какъ солнце въ вечерній часъ, и ты улыбнешься, мама!

Этотъ монологъ Ани, бодрой, полной надеждъ на будущее, въ моментъ, когда разорены Гаевъ и Раневская и Варя бросила Лопатину ключи, не Пети Трофимова ли школа? Не онъ ли выучилъ Аню понимать:

— Вся Россія—нашъ садъ!

Не онъ ли растолковалъ Анѣ, что красивою внѣшнею романтикою старыхъ «Вишневыхъ садовъ» не искупаются историческія скорби и несправедливости ихъ насажденія?

— Подумайте, Аня, вашъ дѣдъ, прадѣдъ и всѣ ваши предки были крѣпостники, владѣвшіе живыми душами. Неужели съ каждой вишни въ саду, съ cadaго листка, съ cadaго ствола не глядятъ на васъ человѣческія суще-

ства, неужели вы не слышите голосовъ?.. О, это ужасно! Садъ вашъ страшенъ, и когда вечеромъ или ночью проходишь по саду, то старая кора на деревьяхъ отсвѣчиваетъ тускло, и, кажется, вишневые деревья видать во снѣ то, что было сто-двѣсти лѣтъ назадъ, и тяжелыя видѣнія томить ихъ...

Это—языкъ, которымъ четверть вѣка назадъ училъ состраданію и любви къ трудящейся черной силѣ Некрасовъ маленькаго Ваню, восторгавшагося «Желѣзною дорогою»:

Прямо—дороженька. Насыпи узкія...

Столбики, рельсы, мосты.

А по бокамъ то—все косточки русскія...

Сколько ихъ, Ванечка, знаешь ли ты?

И, какъ теперь Варя трепещетъ, не отнялъ бы отрицатель «Вишневаго сада» младшую и прекраснѣйшую его вишеньку Аню, такъ и тогда спутникъ Некрасова, генераль, убѣждалъ поэта:

Знаете-ль, зрѣлищемъ смерти, печали

Душу ребенка грѣшно возмущать...

И высмѣивалъ горькую пѣсню, стараясь заглушить ее славословіемъ собору Стефана въ Вѣнѣ и Колизею въ Римѣ...

Убить въ себѣ прошлое, чтобы жить для будущаго, воскреснуть самому и создать рядомъ женскую «душу живу», выучиться «глядѣть правдѣ прямо въ глаза», киня «новою жизнью» и заражая ею все жизнеспособное вокругъ себя: какого «дѣла» хотите вы еще отъ «вѣчнаго студента» въ тотъ моментъ, когда онъ, сознавъ свою нравственную зрѣлость, готовится подъ руку съ Аней переступить порогъ къ общественной дѣятельности, счастье юной мечты и школы смѣнить счастьемъ зрѣлой работы на выношенный идеалъ?

— Выдали мы такія пары! Ничего изъ нихъ не будетъ, сами не знаютъ, куда идти, чего хотять...—раздавались скептическіе голоса сорокалѣтнихъ и пятидеся-

тилѣтнихъ людей «восьмидесятниковъ» уже послѣ перваго представленія «Вишневаго сада».

— И слабосильные... нервные...

— И въ старыхъ калошахъ...

— Все такъ неопредѣленно...

Полно, неопредѣленно ли?

— Вѣдь такъ ясно: чтобы начать жить въ настоящемъ, надо сначала искупить наше прошлое, покончить съ нимъ, а искупить его можно только страданіемъ, только необычайнымъ, непрерывнымъ трудомъ.

Смотрите же теперь, въ какую простую и твердую формулу слагается эта мнимая неопредѣленность, столь ясная для Трофимова и Ани: счастье настоящаго — въ искупленіи прошлаго, искупленіе — въ страданіи и трудѣ, счастье выростетъ изъ страданія и труда...

Это звучитъ, какъ формула Достоевскаго, и было бы ей тождественно, если бы не разница въ исходныхъ точкахъ: счастье Раскольниковыхъ и Карамазовыхъ должно было воскреснуть изъ мрака смертнаго, искупленное пассивнымъ страданіемъ самоприниженія, смиренія, отдачѣ своей воли подѣ чужую: «смирись, гордый человѣкъ!» — а Петя Трофимовъ говорить объ активномъ страданіи трудовой борьбы, самопознанія и самопомощи.

«Ничего не дѣлающій» «вѣчный студентъ» Петя Трофимовъ сдѣлалъ самого себя, приготовилъ изъ себя самоотверженную рабочую силу, полную сознанныхъ и хорошо продуманныхъ цѣлей. Много ли ихъ такихъ въ томъ старшемъ поколѣніи «Вишневаго сада», которое скептически покиваетъ на Петю Трофимова главами своими? На язвительные буржуазные попреки «ничегонедѣланіемъ», «вѣчнымъ, студенчествомъ» есть вѣдь хорошая отвѣдь въ одной изъ пылкихъ рѣчей самого Пети Трофимова. Интеллигентные буржуа, какъ Лопатинъ и Варя, находятъ, что ничего не дѣлаетъ онъ, вѣчный студентъ, а вѣчный

студентъ находить, что ничего не дѣлають они, интеллигентные буржуа:

— У насъ, въ Россіи, работаютъ пока очень немногіе. Громадное большинство той интеллигенціи, какую я знаю, ничего не ищетъ, ничего не дѣлаетъ и къ труду пока не способно. Называютъ себя интеллигенціей, а прислугѣ говорятъ: ты, съ мужиками обращаешься, какъ съ животными, учатся плохо, серьезно ничего не читають, ровно ничего не дѣлають, о наукахъ только говорятъ, въ искусствѣ понимаютъ мало. Всѣ серьезны, у всѣхъ—строгія лица, всѣ говорятъ только о важномъ, философствуютъ, а между тѣмъ громадное большинство изъ насъ, девяносто девять изъ ста, живутъ какъ дикари...

И, вдобавокъ, дикари, настолько притупленные самодовольствомъ внѣшней quasi-культуры, что, когда приходится къ нимъ человѣкъ живой мысли, живого слова, живого дѣла, они не въ состояніи уже ни внимать ему, ни воспользоваться имъ, потому что и мысль, и слово, и дѣло—все заслоняетъ имъ первое впечатлѣніе какого-либо внѣшняго признака; люди съ густыми волосами и въ новыхъ резиновыхъ калошахъ смотрятъ на облѣзлаго барина въ очкахъ и старыхъ калошахъ и попрекають:

— Калошъ новыхъ купить себѣ не можешь, а воображаешь, что—человѣкъ будущаго, гражданинъ грядущихъ поколѣній!

Не привыкли мы къ слову «идеаль» изъ устъ не ряженыхъ, а заурядныхъ людей. Прислушаться къ идейной проповѣди привидѣнія въ шляпѣ съ перьями, пестромъ колетѣ и трико маркиза Позы, гораздо легче со сцены, чѣмъ принять тѣ же самыя рѣчи изъ устъ облѣзлаго барина, съ очками на носу и со старыми калошами на ногахъ... Ихъ огонь не зажигаетъ сорокалѣтнія помятыя души, облѣпившія себя всякимъ огнеупорнымъ добромъ буржуазнаго опыта, балованнаго аппетита къ лѣнивымъ мечтаніямъ сытой, quasi-культурной жизни. Тутъ хоть сами

Илья и Моисей приди, какъ въ притчѣ евангельской, и тѣ не удостоятся вѣры, если предстануть не въ ошеломляющихъ воображеніе хламидахъ и не въ экзотической обстановкѣ. Да,—правду говоря,—и Петѣ Трофимову не очень-то нужны эти огнеупорныя души, дымящія, шипящія, фыркающія, какъ сырыя дрова. Въ томъ-то и трагедія современныхъ «отцовъ и дѣтей», что ужасно они стали другъ другу не нужны. Отцамъ кажется, что дѣти уготовляютъ себѣ какую-то ненужную, бессмысленную жизнь:

— Зачѣмъ?!

Дѣти, озираясь на отцовъ, твердятъ тоже:

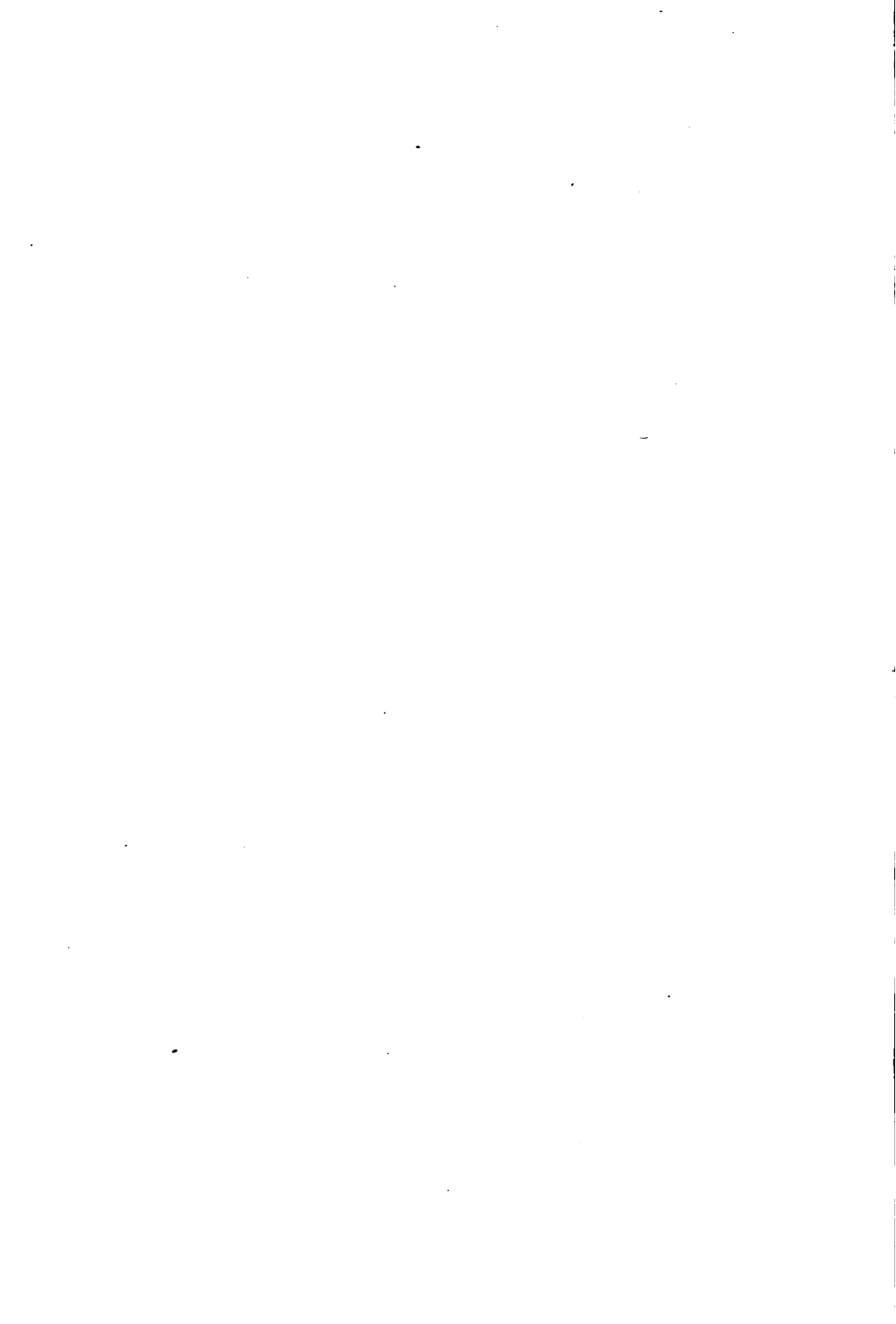
— Какъ ненужно и бессмысленно истратили вы свою жизнь! Зачѣмъ?!

Какъ смолкаетъ теперь всякій молодой кружокъ, когда вдругъ войдетъ въ его черту человѣкъ лѣтъ, не говорю уже за 50—60, но и за сорокъ! Какіе недовѣрчивые и часто насмѣшливые глаза его встрѣчаютъ! Какимъ удивленіемъ наполняются эти глаза, если въ устахъ пожилого гостя звучать тѣ же рѣчи, цвѣтутъ тѣ же грезы, что живять и радуютъ юную среду!.. Такъ и съ хорошими-то стариками, а ужъ съ ворчливыми да злыми... Богъ съ ними! На что они такому, «внутри себя» счастливому, какъ Петя Трофимовъ? Его пламя, его правда, его чувство наступающаго счастья инстинктомъ молодости передались свѣтлой и прекрасной Анѣ, и она горитъ и свѣтитъ, радостная, какъ утренняя зоря... И если алѣетъ на востокѣ заря,—ждите: скоро выйдетъ на небо животворящее солнце!..

1904.
15 іюля.



Николай Семеновичъ Лѣсковъ.



Въ послѣднее время въ критикѣ русской,—по крайней мѣрѣ, въ той части ея, которую можно считать публицистически центральною, безъ уклона ни въ право, ни въ лѣво,—чувствуется тенденція къ реставраціи нѣкоторыхъ литературныхъ репутаций, въ предшествовавшихъ поколѣніяхъ и десятилѣтіяхъ не весьма въ авантажѣ обрѣтавшихся. На очереди—Н. С. Лѣсковъ. О немъ только что писали гг. Фаресовъ, В. А—ко, Боцяновскій съ почтеніемъ и благосклонностью, немислимыми даже лѣтъ десять назадъ, не говоря уже о восьмидесятихъ годахъ, когда именемъ Лѣскова только что не ругались. Въ 1890 году мнѣ, пишущему эту статью, лишь съ большимъ трудомъ удалось провести сдержанно похвальный разборъ «Скомороха Памфалона» черезъ редакцію одной бойкой провинціальной газеты съ передовымъ направленіемъ: разсказъ признавали талантливымъ всѣ, — о Лѣсковѣ говорить не хотѣлъ никто. Когда вышло первымъ изданіемъ собраніе сочиненій Лѣскова, та же исторія повторилась въ Москвѣ: на обзоръ, мною составленный, редакція въ высшей степени почтеннаго органа, въ которой я, притомъ, чувствовалъ себя не безъ вліянія, взглянула такимъ косымъ окомъ, что для помѣщенія потребовались десятки компромиссовъ, да и то чуть ли не съ постановомъ «министерскаго вопроса». Авторъ «Некуда», «На ножахъ», «Соборянъ», «Загадочнаго человѣка», «Смѣха и горя» совершенно погашалъ автора «Запечатлѣннаго ангела», «Тупейнаго художника», «Человѣка на часахъ»: неудачно

дерзкій, съ реакціонною тенденціей, памфлетистъ убиваль большого художника, затмеваль сильный литературный талантъ, который годы мучительныхъ размышленій о себѣ самомъ привели, послѣ долгаго и напраснаго бунта противъ прогрессивныхъ началъ, на путь общественнаго покаянія и ревностной службы «правамъ человѣка». «Прощать» Лѣскова общество начало послѣ «Человѣка на часахъ» и «Скомороха Памфалона»; сильно помогъ ему Толстой; затѣмъ послѣдовала яркая общественная заслуга «Полунощниковъ», ударившихъ смѣло и ловко по одному изъ самыхъ реакціонныхъ и юридичекихъ суевѣрій нашего времени. Умеръ Лѣсковъ, все-таки, мало признанный и немного болѣе, чѣмъ терпимый... За оправданіе и возвеличеніе Лѣскова взялись только теперь.

Не знаю, удастся ли этотъ опытъ, но думаю, что за него, во всякомъ случаѣ, не съ той стороны, пока, берутся, какъ слѣдуетъ, чтобы ожидать успѣха. Громадное природное дарованіе Лѣскова, задержанное въ развитіи тенденціозною борьбою, заключало въ себѣ искру Божіей правды, какъ и всякій настоящій талантъ. Искра эта сидѣла внутри очень дюжаго и грубаго кремня, а Лѣсковъ, обозленный и истерзанный въ самолюбіи своемъ, какъ непризнанный талантъ и отвергнутый общественный дѣятель, еще и самъ утолщаль долгое время кремень этотъ, съ мстительнымъ усердіемъ облѣпляя его далеко не цѣлебными грязями. Но Божія искра сильнѣе грязей и камня: въ концѣ концовъ, она выбилась на волю и засіяла, а грязь и камень мало-по-малу отвалились, какъ противный мусоръ. Лѣсковъ въ послѣднемъ десятилѣтіи своего творчества и Лѣсковъ шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ — антиподы. вмѣсто «Полнаго собранія Лѣскова» можно смѣло издавать два «Полныхъ собранія сочиненій» двухъ Лѣсковыхъ, столь различныхъ между собою, что въ страдальческихъ чертахъ смущеннаго и раскаяннаго старика вы едва-едва находите сходство съ былымъ уха-

ремь-наѣздникомъ полемической беллетристики, наглымъ и себѣ на умѣ ёроу-забіякою, однимъ изъ создателей и главнымъ корифеемъ «Ванькиной литературы», какъ обозвалъ писанія Стебницкаго, Ключникова и иныхъ Д. И. Писаревъ. И я думаю, что реабилитація Лѣскова должна быть сосредоточена на выясненіи природныхъ достоинствъ его таланта, расцвѣтшихъ красотою позднихъ, осеннихъ астръ во второй періодъ его дѣятельности, когда—едва ли не подъ вліяніемъ Льва Толстого—вырвалась, наконецъ, изъ-подъ грязи и камня прекрасная Божія искра и подчинила себѣ стихійную силу писателя великимъ и симпатичнымъ обществу переворотомъ. Облѣять же Лѣскова въ періодѣ «Ванькиной литературы»—предпріятіе тщетное и врядь ли благодарное. Какъ ни повертывай «Некуда», всетаки, со всѣхъ сторонъ оно—доносная гнусность, злобная, хитрымъ умомъ предумышленная и, что хуже всего, страшно неискренняя: гнусность человѣка, который очень хорошо понималъ, что дѣлаетъ гнусность, и, всетаки, въ неукротимой злобѣ, сильнѣйшей его самого, ее сдѣлалъ. Да, если справедливо судить, то и съ художественной точки зрѣнія «Некуда»—самое слабое произведеніе Лѣскова. Забота о публицистическомъ уязвленіи враждебной партіи отняла у молодого писателя вниманіе и чутье къ описательнымъ и повѣствовательнымъ краскамъ, обычно у него столь живымъ. Вѣдь надо же откровенно признать, что, на примѣръ, картины грозы въ «Соборяхахъ» и въ «Очарованномъ Странникѣ»—степеней и цыганской пляски достойно соперничаютъ съ тургеневскою живописью, превосходя ее въ силѣ темперамента... Въ «Некуда» же, кромѣ раскольниковъ вечеринки, на всемъ огромномъ протяженіи романа нѣтъ ни одной яркой бытовой картины, ни одного живого пейзажа. Романъ очень нескладно построенъ; это—какой-то дидактическій Ноевъ ковчегъ «наоборотъ», хранящій въ нѣдрахъ по семи паръ существъ нечистыхъ, антипатичныхъ автору, и по три пары чи-

стыхъ, симпатичныхъ. Существа чистыя невыразимо скучно говорятъ, думаютъ и дѣйствуютъ, убивая тошнотворною тоской своего благоповеденія весь эффектъ злобно смѣшныхъ шаржей, навязанныхъ Лѣсковымъ парамъ нечистымъ. Другой полемическій романъ-памфлетъ Лѣскова «На ножахъ» — произведеніе типически бульварное. Оно много стройнѣе, чѣмъ «Некуда», красивѣе написано, есть въ немъ страницы, положительно увлекательныя (эпизодъ объ испанскомъ дворянинѣ, живомъ огнѣ и пр.), но въ общемъ «На ножахъ» — эффектная рокамболевщина съ политикой, — притомъ весьма сплетническою (прозрачная фигура литератора-ростовщика Кишенскаго), — не больше.

Въ талантѣ Лѣскова отмѣчали, какъ мало симпатичныя стороны, всегдашнюю склонность его къ шаржу, грубой каррикатурѣ, вычурному фокусничеству и словомъ, и замысломъ. Портретистъ онъ былъ всегда превосходный, но талантъ свой къ портретной живописи слишкомъ часто употреблялъ во зло — иногда безсознательно, но дурному инстинкту, чаще съ полнымъ сознаніемъ и намѣреніемъ, помѣщая свои фигуры въ столь злобно каррикатурныя обстановки, что портретъ переставалъ быть портретомъ, терялъ значеніе даже каррикатуры, а превращался въ «пасквильное изображеніе». Г. Спасовичъ говорилъ въ одной своей рѣчи:

«Только глупые люди сердятся на карриатуры, и нѣтъ повода къ судебному преслѣдованію въ каррикатурѣ, высмѣивающей вашу общественную дѣятельность, хотя бы она изображала васъ въ видѣ дьявола. Но, если художникъ, вмѣсто карриатуры, напишетъ вашъ точнѣйшій портретъ и выставитъ въ публичномъ мѣстѣ, придѣлавъ вамъ рога, хвостъ и копыта, вы съ полнымъ правомъ тащите его въ судъ, такъ какъ это — уже не карриатура, а пасквильное изображеніе».

Вотъ этимъ-то и была искони обезчещена виртуозная живопись Лѣскова, что, рисуя живыхъ людей, ему почему-

либо неприятныхъ, онъ затѣмъ неизмѣнно придѣлывалъ имъ хвостъ, рога и копыта и, съ шумомъ скандала, пускалъ ихъ «пасквильныя изображенія» въ продажу. «Некуда» наиболѣе кишить портретами въ рогахъ, копытахъ и хвостѣ; знаменитѣйшій изъ нихъ—коммунаръ Бѣлоярцевъ, котораго, при помощи рога, копытъ и хвоста, Лѣсковъ сочинилъ изъ примѣтъ писателя-народника В. А. Слѣпцова. Одинъ изъ друзей покойнаго Лѣскова, если только были у него близкіе друзья, говорилъ мнѣ, что эта черта замѣчалась и въ частныхъ его разговорахъ:

— Увлечательнѣйшій собесѣдникъ! Каждую характеристикю онъ точно мраморную статую высѣчетъ... А потомъ на голову статуи положить кусочекъ грязи, и грязь течетъ-течетъ, покуда не покроетъ всю статую, и ужъ къ статуѣ скверно прикоснуться, и отъ мрамора ея ничего не видно: предъ глазами одна зловонная грязь.

Швырнуть грязью въ злую и надменно вредную силу не только не грѣхъ, но часто подвигъ. Парижскій гамень XVIII вѣка, когда свисталъ вслѣдъ коляскѣ всевластной фаворитки и швырялъ грязью въ ея, постельными услугами купленный, гербъ, былъ меньшимъ братомъ Вольтера, маленькимъ героемъ протестующей общественности, и Парижъ рукоплескалъ ему, какъ Давиду съ пращею противъ мѣдноброннаго Голиафа. Но швырять грязью въ угнетенное безсиліе — гнусность, которой немного есть равныхъ. Недавно въ эффектной характеристикѣ Оскара Уайльда, сдѣланной г. Бальмонтомъ, я нашелъ фактъ, что, когда этотъ несчастный писатель отбывалъ свою двухгодичную каторгу, какой-то нахаль-ханжа пришелъ, чтобы плюнуть ему въ лицо,—и плюнулъ. Человѣкъ, пришедшій плевать въ отбывающаго наказаніе, связаннаго, подневольнаго узника, возмущаетъ совѣсть человѣческую: кровь приливаетъ къ вискамъ... за это вчужѣ побить можно: какъ тамъ ни «противься злу!» Въ Россіи—особенно: сострадательное отношеніе нашего простонародья къ арестанту, «не-

счастному», общеизвестно. Не думаю, чтобы однородные съ поруганіемъ Уайльда факты были возможны въ русскомъ народѣ. Наша судебная практика не помнитъ случаевъ, чтобы обвинительный приговоръ встрѣчался апплодисментами. Ни въ одну арестантскую партію, какіе бы изверги естества въ ней ни слѣдовали, никогда не летятъ у насъ ни камни, ни ругательства: лежачаго не бьютъ. Эта народная черта поднимается разными ступенями такта и въ высшіе классы, не исключая, конечно, литературной среды. Бѣдствіе писателя, бѣдствіе литературной партіи, по старому обычаю молчаливаго соглашенія, приглушаетъ временнымъ перемиріемъ вражду съ ними органовъ противнаго направленія. Полемическое злорадство по поводу, напримѣръ, какой-либо административной кары, обрушившейся на литературнаго антагониста, столь рѣдко въ печати нашей, что я не могу вспомнить и десятка подобныхъ нарушеній такта, а тѣ, которыя вспоминаю, имѣли авторами отъявленныхъ «мерзавцевъ пера», и между своими, и между чужими равно признанныхъ за позоръ отечественной публицистики. Въ поэзіи нашей имѣется прекрасное стихотвореніе благороднѣйшаго Я. П. Полонскаго, въ которомъ поэтъ оплакиваетъ судьбу злѣйшаго своего литературнаго врага, приговореннаго за статью къ тюремному заключенію... Беллетристика же наша, къ сожалѣнію, часто измѣняла этому такту, и, еще съ начала шестидесятыхъ годовъ, развилась въ ней воинствующая группа, которая, отнюдь не состоя изъ какихъ-либо аспидовъ, злыхъ по натурѣ (хотя и не безъ исключеній),— кто по невѣжеству, кто по обманутой наивности, кто по литературному безразличію, кто по расчету, не брезговала брать на себя роль башибузуковъ, добывающихъ раненыхъ на поляхъ общественныхъ сраженій, либо ирокезскихъ бабъ, терзающихъ булавочными уколами уготованныхъ къ смерти плѣнниковъ у позорнаго столба. Въ эту группу попалъ—по скептическому безразличію къ общественнымъ

идеаламъ и по страстной, себялюбивой, молодой жаждѣ быстрого громкаго успѣха, — хотя бы Геростратова, цѣною скандала, — умный, талантливый, образованный (хотя и очень однобоко) Лѣсковъ. И, такъ какъ былъ онъ изъ ряда вонъ уменъ и даровитъ, то и оказался не только въ группѣ, но и во главѣ группы: по волчьей выть — перевыть всѣхъ волковъ, по змѣиному пипѣть — вышелъ самый, что ни есть, гремучій. Изъ соперниковъ его на этомъ плачевномъ поприщѣ Маркевичъ былъ ужъ слишкомъ невѣроятный, старомодно-свѣтскій шаркунъ и враль, совершенно не осведомленный о русской жизни, внѣшній causeur и, по выраженію Тургенева, «прирожденный клеветръ»; а даровитому Всеволоду Крестовскому, при всей усердной дрессировкѣ имъ себя на рѣзвость и злобность, мѣшали достичь совершенства природное корнетское добродушіе, прямолинейная грубость поверхностнаго таланта, неспособность къ разсудочной живописи и отсюда отсутствіе іезуитизма, какимъ весь пропитанъ и дышетъ старѣйшій Лѣсковъ. Вѣдь и сейчасъ еще выставляютъ на видъ его защитники, обманутые ловкими приѣмами хитраго писателя, якобы положительные типы либеральной молодежи, написанные имъ въ «Некуда»: Лизу Бахареву, Райнера, Юстина Помаду; ихъ-де публика, озлившись за фигуры отрицательныя — за Бѣлоярцева-Слѣпцова, маркизу Бараль-Евгенію Туръ и др., — не пожелала и замѣтить. Но даже въ отношеніи этихъ quasi-положительныхъ типовъ, должныхъ, по мнѣнію самого Лѣскова, быть какъ бы умиротворяющею взяткою за отрицательныя, — Лѣсковъ распорядился совершенно, какъ герой Островскаго, котораго просили: только, ради Бога, не хвалите, а то вашъ почтенный человѣкъ оказывается, въ похвалахъ вашихъ, совсѣмъ не почтеннымъ. Пресловутая Лиза — типъ неуживчивой, строптивой эгоистки, и Лѣсковъ о ней самымъ симпатичнымъ голосомъ рассказываетъ самыя антипатичныя, отталкивающіе анекдоты. Такая славная, — только умурила

отца и мать. Такая милая, — только помыкаетъ людьми, какъ тряпками, и, права не права, лается съ ними, какъ собака. Такая собака; такая умная, — только ничего умнаго не умѣетъ дѣлать, и изъ всякаго начинанія у ней выходить глупости. Юстинъ Помада — ограниченный энтузіастъ, полуюродивый, безсильная, жалкая игрушка любой чужой воли покрѣпче. Райнеръ списанъ съ извѣстнаго Артура Бенни, чью апологію Лѣсковъ вынужденъ былъ защищать въ памфлетѣ «Загадочный человѣкъ», котораго воскресія инсинуаціи противъ Г. З. Елисеѣва и Н. А. Некрасова опровергалъ въ одной изъ предсмертныхъ своихъ статей Н. К. Михайловскій. Нѣтъ, стараго Лѣскова, какъ неопѣннаго и непонятаго, будто бы, прогрессиста, оклеветаннаго въ страстномъ бореніи партій, защитить мудрено. Надо брать Лѣскова такимъ, каковъ онъ былъ, — двуликимъ Янусомъ, обращеннымъ къ годамъ шестидесятымъ и семидесятымъ лицомъ хитраго и умнаго полуполицейскаго, полуконсистерскаго крюка, къ годамъ восьмидесятымъ и девяностымъ — лицомъ «подъ Льва Толстого». И надо стараться, вглядываясь въ это второе лицо, совершенно забыть о первомъ. Не даромъ же онъ самъ говорилъ, что въ молодости былъ «аггелъ». Аггела въ ангела не перекрестишь, если самъ того не захочетъ, какъ захотѣлъ вполнѣдствіи Лѣсковъ.

И когда захотѣлъ, то захотѣлъ хорошо. Почтенное и поучительное зрѣлище, какъ изъ воинствующаго тенденціознаго беллетриста, онъ превращается — сперва въ художника-объективиста, тонкаго и внимательнаго наблюдателя русскихъ нравовъ и, въ связи съ тѣмъ, замѣчательнаго изслѣдователя русской народной психологіи, этики и религіи. Онъ погружается въ широкое море народныхъ религіозныхъ представленій, внушенныхъ церковью, расколомъ, мистическими отголосками старины, новѣйшимъ рационализмомъ. Это море подарило Лѣскова высокими и многозначительными впечатлѣніями, и лучшее, что онъ

создалъ съ тѣхъ поръ, онъ вынесъ изъ этихъ таинственныхъ пучинъ. Одною изъ симпатичнѣйшихъ чертъ Н. С. Лѣскова въ этотъ періодъ творчества явилось до щегольства точное изученіе бытовыхъ обстановокъ, предлагаемыхъ имъ читателю. Его «Запечатлѣнный ангелъ», помимо художественнаго и психологическаго интереса, представляетъ собою превосходную популяризацію началъ русской иконописи. Еще любопытнѣе, какъ экзаменъ на знатока быта, «Очарованный странникъ» — похождения человека, «обѣщаннаго матерью Богу», т. е. предназначеннаго къ монашеству, но попадающаго въ монастырь только послѣ долгаго ряда самыхъ необычайныхъ скитаній по лицу земли русской. Авторъ переводитъ своего читателя отъ коннозаводства къ степной жизни, изъ степи въ рыбацью артель, изъ рыбацѣй артели къ цыганамъ. отъ цыганъ въ стѣны монастыря. При всѣхъ этихъ переходахъ, онъ роняетъ сотни характерныхъ указаній, описаній, намековъ и замѣчаній, — и всегда вы чувствуете знатока дѣла. Въ этотъ же подготовительный періодъ съ особо подчеркнутымъ усердіемъ росла и развивалась другая мощная сила лѣсковскаго дарованія: превосходное знаніе имъ русскаго языка. Конечно, Лѣсковъ былъ стилистъ природный. Уже въ первыхъ своихъ произведеніяхъ онъ обнаруживаетъ рѣдкостные запасы словеснаго богатства. Но скитанія по Россіи, близкое знакомство съ мѣстными нарѣчіями, изученіе русской старины, старообрядчества, исконныхъ русскихъ промысловъ и т. д. много прибавили, со временемъ, въ эти запасы. Лѣсковъ принялъ въ нѣдра своей рѣчи все, что сохранилось въ народѣ отъ его стародавняго языка, найденные остатки выгладилъ талантливой критикой и пустилъ въ дѣло съ огромнѣйшимъ успѣхомъ. Особеннымъ богатствомъ языка отличаются именно «Запечатлѣнный ангелъ» и «Очарованный странникъ». Но чувство мѣры, вообще мало присущее таланту Лѣскова, измѣняло ему и въ этомъ случаѣ. Иногда обиліе подслушан-

наго, записаннаго, а порою и выдуманнаго, новообразованнаго, словеснаго матеріала служило Лѣскову не къ пользѣ, но ко вреду, увлекая его талантъ на скользкій путь внѣшнихъ комическихъ эффектовъ, смѣшныхъ словечекъ и оборотовъ рѣчи. Этотъ «лейкинский» недостатокъ рѣзко сказался въ знаменитыхъ «Полунощникахъ» и въ еще болѣе популярномъ «Сказѣ о тульскомъ лѣвшѣ и стальной блохѣ».

Все это были какъ бы внѣшніе доспѣхи, приготовляемые и одѣваемые бойцомъ, которому предстояло удивить толпу зрѣлищемъ огромной внутренней борьбы: смерти заживо и возстанія изъ мертвыхъ новымъ человѣкомъ. Лѣсковъ восьмидесятихъ годовъ напоминаетъ некрасовскаго Власа, когда онъ, образумленный грозными видѣніями, которыя навѣяла больному мозгу втайнѣ измученная совесть, всталъ съ смертнаго одра. И съ тѣхъ поръ:

Сила вся души великая
Въ дѣло Божіе ушла!

И на путяхъ литературы русской появился новый, кающійся, удрученный собою странникъ:

Ходить съ образомъ и книгою,
Самъ съ собою говорить
И желѣзною веригою
Тихо на ходу стучить.

Лѣсковъ съ болѣзненною поспѣшностью, страстно, мучительно пишетъ цѣлый рядъ рассказовъ, легендъ, сказокъ, аллегорій, которыя производятъ впечатлѣніе именно разговоровъ съ самимъ собою человѣка, взволнованнаго душою въ неутомимомъ запросѣ самоотчета. Въ немъ всплываютъ идеи Виктора Гюго, Достоевскаго, Льва Толстого и требуютъ проповѣди объ униженныхъ и оскорбленныхъ, о любви къ ближнему, объ уничтоженіи искусственныхъ граней человѣчества, о взаимодовѣріи людей между собою. Подобно Виктору Гюго, Лѣсковъ идетъ на встрѣчу самымъ темнымъ и искаженнымъ типамъ человѣческимъ, чтобы, проникнувъ сквозь грязь внѣшней оболочки, изобли-

читать подъ нею искру святого свѣта, готовности на подвигъ добра: пусть шкура овечья, была бы душа человѣчья. Таковъ «Скоморохъ Памфалонъ», такова блудница «Прекрасная Аза», таковъ эмигрантъ «Шерамуръ». таковъ «Пугало» — Селяванъ дворникъ, таковъ «Аскалонскій злодѣй». Таковъ даже «Бабеларъ» и «Интригантусъ», купецъ Николай Ивановичъ Степеневъ въ «Полунощникахъ»: человѣкъ, одурѣвшій отъ пьянства и разврата, но съ тайнымъ чутьемъ природно хорошей натуры къ правдѣ, къ честному и доброму слову и истинно благородному образу дѣйствій. «Будьте снисходительны!» — убѣждаетъ Лѣсковъ даже въ своихъ легкихъ сатирическихъ разсказахъ, напримѣръ, въ «Грабежѣ», въ «Безстыдникѣ», въ «Чертогонѣ», — будьте снисходительны! Всѣ мы люди, всѣ мы человѣки, никто не святъ и на грѣхъ мастера нѣтъ! Не бойтесь другъ друга, любите другъ друга, вѣрьте и помните, что дѣятельная любовь побѣждаетъ самое стойкое зло! — неустанно поетъ Лѣсковъ, отзываясь, какъ эхо, Ясной Полянѣ. Прощайте, извиняйте, снисходите!.. Нѣтъ сомнѣнія, что въ гимназахъ и вопляхъ этого всепрощенія имѣется въ значительной степени, элементъ самозащиты. Лѣскова такъ многіе и такъ часто изображали литературнымъ чортомъ, что естественна въ немъ, — вступившемъ на стезю покаянія, потребность доказать міру, что черти, вообще, не такъ страшны, какъ ихъ малюютъ. Недавній узкій церковникъ, рьяный апологетъ «Соборянъ», онъ выступаетъ теперь глашатаемъ широчайшей вѣротерпимости, слагаетъ хвалу «Квакереямъ», говоритъ умныя и гуманныя рѣчи по еврейскому вопросу и создаетъ рядъ рѣзкихъ протестовъ противъ явленій и людей, замѣшающихся въ жизни любовь Христову показными условностями формальнаго благочестія. «Любовь покрываетъ множество грѣховъ», — гласитъ текстъ, взятый эпитафюмъ къ «Прекрасной Азѣ». Это — исторія египтянки, пожертвовавшей всѣмъ своимъ состояніемъ, чтобы спасти отъ

позора семью обнищавшаго эллина. «Ты вдвое безумна, если сдѣлала это все для людей чужой вѣры»,—упрекають ее. «Не порода и вѣра, а люди страдали»,—отвѣчаетъ Аза. Въ бѣдности она изнемогла и сама стала блудницей. Ее мучить совѣсть за настоящее, но подвигомъ своимъ въ прошломъ она счастлива. Однажды встрѣчаетъ она христіанина и узнаетъ отъ него о великомъ учителѣ, который «перстомъ на зыбучемъ пескѣ твой грѣхъ написалъ и оставилъ смести его вѣтру». Аза умираетъ, не успѣвъ принять крещенія... Пока христіанская община недоумѣваетъ, по какому обряду хоронить раскаявшуюся блудницу, одинъ изъ пресвитеровъ видитъ Азу—«дочь утѣшенія»—входящую во врата отверстаго неба. Добрыя дѣла даютъ нравственный перевѣсъ самоотверженному и кроткому скомороху Памфалону надъ гордымъ пустынникомъ Ерміемъ, а дикому остяку-язычнику, брату «два раза крещеннаго Куськи Демяка» («На краю свѣта») надъ десятками тысячъ одноплеменниковъ, оффициально записанныхъ, въ списокъ христіанъ, но, кромѣ имени, ничего общаго съ ученіемъ Христа не имѣющихъ, да и надъ миссіонерами, которые ихъ наобумъ для вѣщей отчетности, бюрократически окрестили. Попытки,—къ сожалѣнію, часто слишкомъ успѣшныя,—профанации христіанскаго авторитета грубыми суевѣріями и суровымъ одностороннимъ пристрастіемъ къ внѣшней обрядности, уподобляющей вѣру «гробу повапленному», вызывали Лѣскова на смѣлые и рѣзкіе протесты. Тутъ, на первомъ планѣ, конечно, опять должны быть упомянуты знаменитые «Полунощники» и «Зимній день», къ сожалѣнію, напугавшій публику, а еще болѣе прославленную цѣломудріемъ критику нашу своими натуралистическими подробностями. И эта отрицательная критика показныхъ російскихъ святошествъ и лицемѣрій, нельзя не сознаться, выходила у Лѣскова удачнѣе и принесла больше пользы, чѣмъ его опыты создавать типы новой, положи-

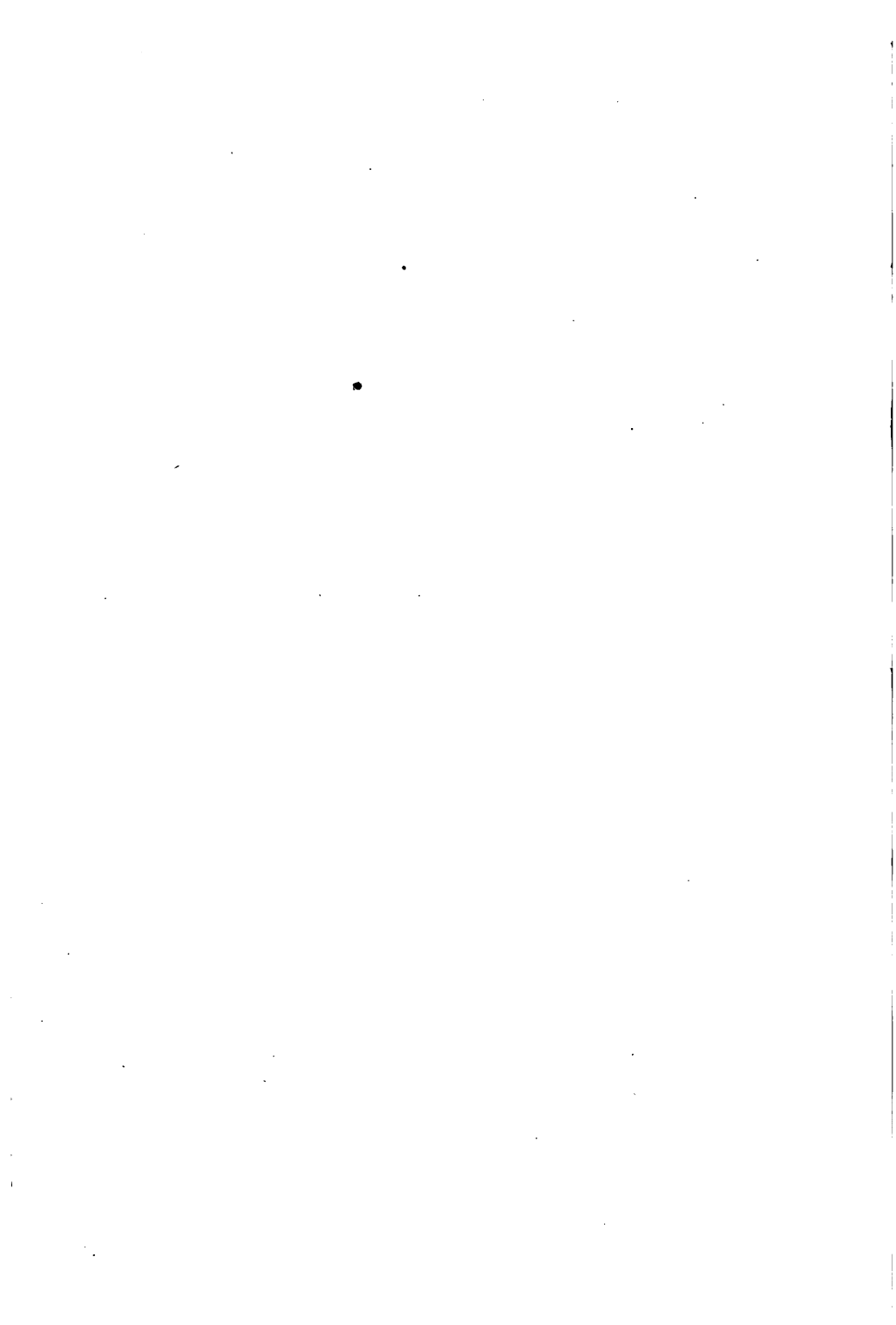
тельной религіозности. Клавдія въ «Полунощникахъ», толстовка въ «Зимнемъ днѣ», добродѣтельный герой «Горы» и т. п.—блѣдныя тѣни идей, а не живые люди. Для того, чтобы сдѣлаться художникомъ положительныхъ идеаловъ, Лѣсковъ былъ человѣкомъ, слишкомъ наново обращеннымъ: онъ переживалъ еще періодъ, когда не-офитъ яростно ломаетъ и сжигаетъ старые кумиры, стыдясь своего былого имъ поклоненія, новыя же свои божества, воспріявъ ихъ еще только чувствомъ и инстинктомъ, воображаетъ нѣсколько наивно, смутно и черезчуръ уже схематически. Въ его дидактическихъ разсказахъ всегда замѣчается та же черта, что въ нравоучительныхъ дѣтскихъ книжкахъ или въ романахъ изъ первыхъ вѣковъ христіанства: дурные мальчики, вопреки желанію автора, написаны куда живѣе и интереснѣе добронравныхъ, а язычники привлекаютъ вниманіе куда болѣе христіанъ. Да и по характеру своему Лѣсковъ былъ гораздо больше сатирикъ-разрушитель, чѣмъ апостоль-созидатель. Если онъ потерпѣлъ неудачу въ амплуа сатирика, то причиною тому была единственно ретроградная тенденція и, еще болѣе, дурная репутація его первоначальности, обезсилившая ядовитыя стрѣлы «Смѣха и горе». Сатира—оружіе передовыхъ теченій; въ рукахъ регресса она притупляется сама собою. Кромѣ Лѣскова, наилучшимъ тому примѣромъ можетъ служить Алексѣй Толстой—поэтъ безспорнаго, хотя, по выраженію А. П. Чехова, слишкомъ «опернаго» таланта, но сатирикъ вычурный и, за малыми исключеніями, даже не смѣшной. А тѣ исключенія, которыя смѣшны, принадлежать скорѣе къ области юмористики, чѣмъ сатиры: нѣкоторыя прутковскія пародіи, «Сонъ статскаго совѣтника Попова». Новый Лѣсковъ,—восьмидесятихъ годовъ и далѣе—развернулъ свой сатирическій талантъ очень широко. Не говоря уже о «Полунощникахъ» и о «Зимнемъ днѣ», надо отмѣтить въ этомъ отношеніи цѣлый рядъ остроумнѣй-

шихъ бытовыхъ анекдотовъ, написанныхъ съ тою лукавою серьезностью, которая была однимъ изъ самыхъ характерныхъ и опасныхъ свойствъ лѣсковскаго таланта, кошачьяго, царапающаго когтями, скрытыми въ бархатной лапкѣ. Памятники тому — «Мелочи архіерейской жизни», «Колыванскій мужъ», «Сказаніе о сѣножатѣхъ», «Безстыдникъ», «Импровизаторы» и т. д. Однимъ изъ самыхъ яркихъ примѣровъ, какъ злобно компрометировать умѣлъ Лѣсковъ, подъ видомъ глубочайшаго уваженія, остаются его выборки изъ «Пролога» — «Легендарные характеры». Этотъ лукаво серьезный тонъ, эта поразительная способность къ злему притворству въ заднихъ цѣляхъ, были и страшнымъ полемическимъ оружіемъ Лѣскова, и слабымъ мѣстомъ его, какъ художника. Такъ приучилъ онъ читателя къ своимъ двусмысліямъ, что ему часто не вѣрили уже и въ искреннемъ лиризмѣ, и, чтобы повѣрили, нужны были такіе мучительно глубокіе вопли авторскаго сердца, какъ «Тупейный художникъ» или «Человѣкъ на часахъ», въ которыхъ, — я не боюсь сказать открыто, — въ Лѣсковѣ чувствуется дарованіе выше «таланта», въ которыхъ онъ владѣетъ сердцами и бьетъ по сердцамъ, какъ геній.

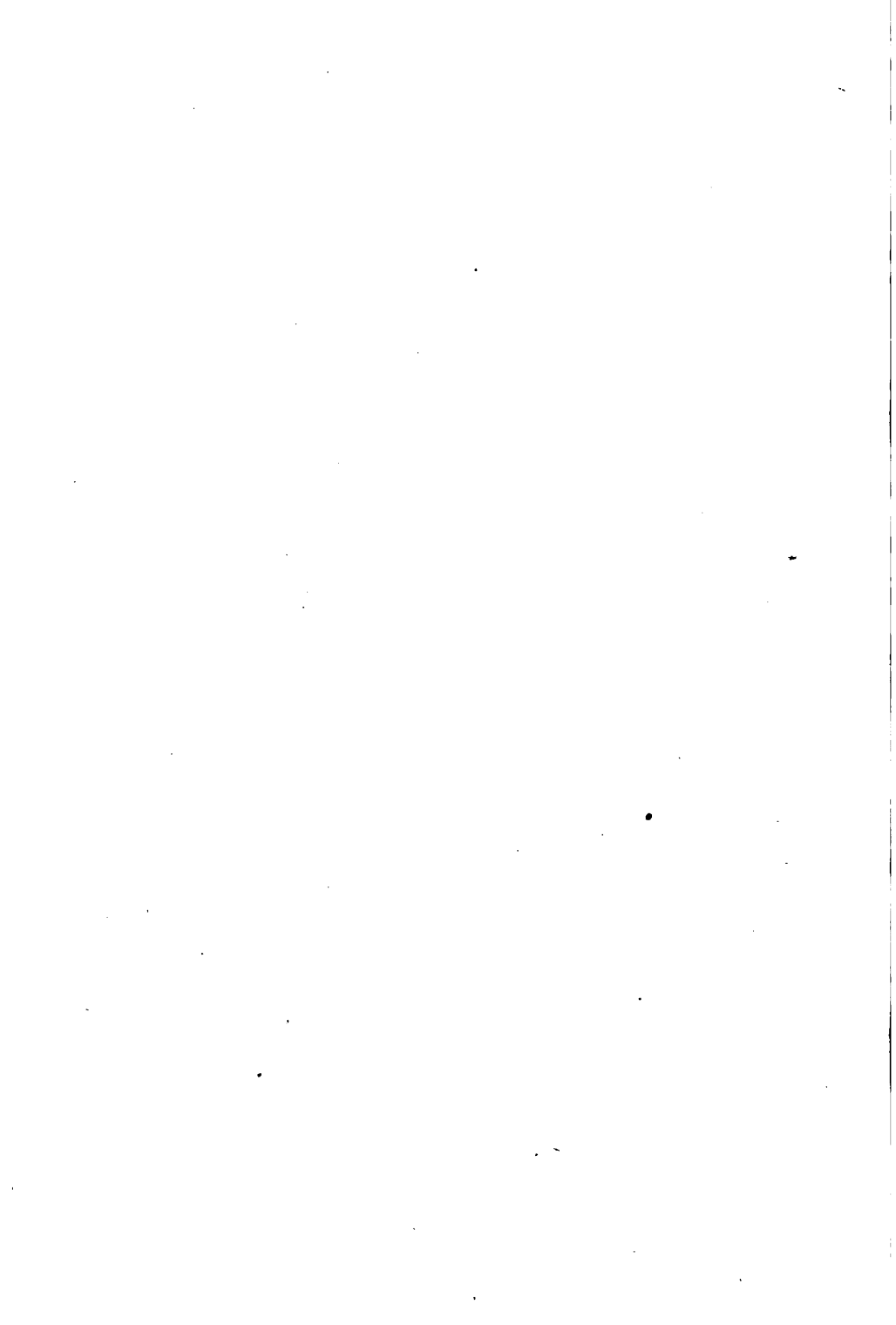
Я не зналъ Лѣскова лично, видѣлъ его всего два раза въ жизни, старымъ, больнымъ и очень молчаливымъ. Отѣхъ же литераторахъ, которые знали Лѣскова и рассказывали о немъ и въ печати, и въ обществѣ, я всегда получалъ впечатлѣніе, что, собственно говоря, они Лѣскова не знали, а только были знакомы съ нимъ: такъ много въ хранилищахъ этого литературнаго преданія, которое свѣжо, а вѣрится въ него съ трудомъ, — мистификацій, гримасъ, игры не то глумливой, не то юродивой... Повидимому, душа Лѣскова отмыкалась для внѣшняго міра трудно, и свидѣтелей, несомнѣнно, мучительнаго житія ея было и сохранилось немного. И это очень грустно, потому что, такимъ образомъ, едва ли не навсегда останется загадоч-

ною полоса страннаго и прекраснаго прозрѣнія, превратившая старѣющаго писателя изъ Савловъ въ Павлы, изъ гонителя въ апостола гонимыхъ. Что внѣшнее вліяло на этотъ мощный внутренній переворотъ? Какъ дошелъ старый Лѣсковъ до полнаго крушенія самого себя и постройки на старыхъ развалинахъ новаго Лѣскова?... Для художественныхъ догадокъ, въ герои психологическаго романа, пропитанная «достоевщиною», да и не безъ карамазовщины даже — фигура Лѣскова драгоцѣнна, для историческаго освѣщенія — «подобна исторіи мидянъ, то есть темна и баснословна». На основаніи одной литературной дѣятельности характеристика Лѣскова почти безсильна: такъ все пестро, сбивчиво, фантастично, противорѣчиво, сумбурно... такъ громадно неуклюжи и добро, и зло! Необходимы мемуары, дневники: а остались ли они? Необходима, хорошо провѣренная фактически и дѣльно освѣщенная психологическими мотивами, біографія... А кто ее знаетъ и въ состояніи написать? ..

1904.



Николай Константиновичъ
Михайловскій.



Послѣ сороковинъ.

Позвольте мнѣ, въ сороковой день памяти Н. К. Михайловскаго, обратить къ имени его строки, — можетъ быть, нескладныя, но искреннія, — которыя были набросаны мною, когда, вдали отъ Петербурга, я получилъ первое извѣстіе объ его смерти. Онѣ остались, — какъ любятъ выражаться русскіе журналисты, — «въ моемъ портфель», хотя портфелей у нихъ, обыкновенно, не имѣется, — потому что — я боялся — тогда онѣ представили бы собою запоздалый некрологъ, повтореніе въ догонку словъ и мыслей, которыя успѣютъ раньше меня сказать собратья по перу, географически болѣе близкіе къ праху покойнаго публициста. Но, пересматривая эту замѣтку, я нахожу въ ней кое-какія слова, которыя остались недоговоренными, и мнѣ хочется включить ихъ хоть теперь въ широкую гармонию, гремящую въ обществѣ, поминальнаго гимна.

...Смерть Николая Константиновича Михайловскаго — потеря невоснаградимая и для литературы, и для общества. Быстрою, спѣшною замѣткою, я, конечно, не берусь не только исчерпать, но даже подробно намѣтить сложное значеніе покойнаго въ русской общественной жизни послѣднихъ трехъ десятилѣтій. Отошелъ въ вѣчность безспорный вождь и глава всей прогрессивной русской журналистики и послѣдній сильный пророкъ позитивизма, пріявшій духъ и знамя его отъ старшихъ богатырей шестидесятихъ годовъ. Со знаменемъ этимъ Михайловскій бодро стоялъ «на славномъ посту» надъ прахомъ отошедшихъ въ вѣчность старшихъ товарищей. Общественныя

бури истрепали гордое, честное знамя въ клочки, но Михайловскій ни на мигъ не выпустилъ древка изъ рукъ, ни на пядь не отступилъ съ давней, буйными боями завоеванной, позиціи. Пусть инья новыя теченія, стремясь впередъ, пошли быстрѣе и обогнали Михайловскаго,— пусть для многихъ онъ слылъ уже либеральнымъ старовѣромъ! Иначе и быть не могло, и не должно быть: въ томъ и провресъ, чтобы созрѣвающія поколѣнія опережали и исправляли поколѣнія, созрѣвшія и снимаемыя временемъ съ гошественной полосы, какъ полный колосъ!.. Но и въ самыхъ спѣсныхъ, самыхъ передовыхъ теченіяхъ не было и нѣтъ ни одного человѣка, который, время отъ времени, не оглядывался бы назадъ — посмотрѣть съ тревожною любовью, какъ стоитъ на своемъ мѣстѣ, будто незыблемая скала надъ потокомъ, старый, стойкій знаменосецъ; какъ колышется подъ встрѣчнымъ вѣтромъ, надъ его сѣдою головою, старое, многострадальное, яркое знамя. Этотъ, сорокъ слишкомъ лѣтъ непоколебимый, флагъ былъ маякомъ для отставшихъ, куда имъ плыть, вдогонку вѣка, а опередившіе цѣнили въ немъ отправную точку, отъ которой они самостоятельно поплыли къ новымъ берегамъ. И вотъ— уже не на кого оглянуться: опустѣлъ славный постъ, рухнулъ старый знаменосецъ! Покройте же заслуженнымъ знаменемъ гробъ его и, по слову поэта, не сыпьте цвѣтовъ на его могилу, а положите мечъ, потому что умеръ храбрый боецъ за человѣчество!

Нѣтъ сомнѣній, что смерть Михайловскаго вызоветъ цѣлую литературу о немъ. Десятки серьезныхъ статей нужны, чтобы установить его характеристику и степень его вліянія на русское общество, какъ публициста, критика, философа-соціолога. Въ высшей степени продуктивный, талантъ Михайловскаго былъ, по преимуществу, провѣрочнымъ и перерабатывающимъ. Десятки лѣтъ Михайловскій игралъ роль челюстей, которыми русскій средній читатель пережевывалъ, должную питать его, жесткую пищу

западной науки, десятки лѣтъ Михайловскій толковалъ, объяснялъ, критиковалъ, спорилъ, комментировалъ — до тѣхъ поръ, покуда пища не оказывалась совершенно усвоенною. Онъ, такъ сказать,—крестный отецъ русскаго Дарвина и русскаго Огюста Конта. Но всего тѣснѣе имя Михайловскаго въ Россіи связано съ именемъ Спенсера, котораго Михайловскій былъ полемическимъ толкователемъ и популяризаторомъ. Спенсеръ, какъ соціологъ, былъ излюбленнымъ мудрецомъ конца русскаго XIX вѣка, въ особенности восьмидесятыхъ годовъ, и успѣшною пересадкою своей извѣстности на нашу почву англійскій философъ обязанъ, если не исключительно, то по преимуществу, Михайловскому. Михайловскій и Спенсеръ неразрывны въ памяти русскаго читателя,—настолько, что даже и нѣкоторыя ошибки и произвольности въ пониманіи Михайловскимъ Спенсера вошли въ русскій интеллигентный обиходъ безъ повѣрки, какъ спенсеровы, и полемическій Спенсеръ по Михайловскому въ огромномъ большинствѣ читающихъ круговъ до сихъ поръ едва ли не болѣе прінятъ, чѣмъ Спенсеръ по Спенсеру.

Благородная послѣдовательность и гражданская стойкость Н. К. Михайловскаго давно отличены благодарнымъ вниманіемъ всего русскаго общества, безъ различія лагерьей и партій, какъ это и выразилось въ безпримѣрно блестящемъ юбилейномъ торжествѣ его, когда знаменитому публицисту, вмѣстѣ съ восторженными друзьями, почти тѣло аплодировали и его давніе идейные враги. Точнымъ же прекраснымъ и, къ сожалѣнію, чрезвычайно рѣдкимъ зрѣлищемъ объединенія всей русской печати были освящены теперь его погребальное шествіе и его похоронный холмъ. Умерла нѣкоторая великая любовь къ русскому народу, и всѣ, кто сами чувствуютъ въ себѣ любовь къ народу, какъ бы разны они и народъ этотъ ни понимали, и любовь эту ни выражали,—всѣ почувствовали потерю. Всѣ, примиренные на мгновеніе, пошли съ обна-

женными головами за гробомъ отшедшаго учителя, взвѣшивая въ памяти слова его и чувствуя, вмѣстѣ съ великою скорбью по мертвецѣ, великую радость за живыхъ: не оскудѣваетъ и не хилѣетъ народъ, который любятъ такъ беззавѣтно крѣпко, умно и смѣло, какъ любилъ русскій народъ Н. К. Михайловскій!

Имя Михайловскаго стало на Руси символомъ литературной порядочности, а его авторитетное благословеніе — паспортомъ на принадлежность къ передовому полку русскаго прогресса. И эта пассивная символичность Михайловскаго, особенно подчеркнутая въ послѣдній періодъ его жизни, была для общества едва ли не столь же важна, какъ его кипучая активная неутомимость. Онъ такъ долго поднималъ вверхъ свое знамя, что наконецъ, — для сотенъ тысячъ читающихъ, — слился съ нимъ въ одинъ образъ и сталъ самъ знамя... «Человѣкъ — знамя!» — какой еще титулъ можетъ звучать для публициста наградой выше, желаннѣе, благороднѣе?! А тутъ еще — и такое свѣтлое, человѣколюбивое знамя...

Я никогда въ жизни не видалъ Николая Константиновича даже издали, но обмѣнялся съ нимъ нѣсколькими письмами. Объ одномъ позволю себѣ теперь рассказать, потому что оно характерно для того инстинктивного благоговѣнія, которое свѣтлая, безукоризненная личность Михайловскаго вызвала въ литературной молодежи даже отдаленныхъ и чуждыхъ ему лагерей. Это было послѣ моей первой политической поѣздки въ Болгарію, когда я съ молодымъ энтузіазмомъ ухватился за идею болгаро-русскаго примиренія (въ 1894 г., послѣ паденія Стамбулова) и проводилъ ее множествомъ корреспонденцій и статей, попавшихъ и плывшихъ страшно противъ теченія. На меня «вызвѣрились» тогда и охранители Россійскіе, и эмигранты болгарскіе — «Московскія Вѣдомости» С. Петровскаго, «Свѣтъ» Комарова-Бендерова и т. д. Брани, ругани, проклятій, клеветъ и инсинуаций я проглотилъ тогда столько,

что до сихъ поръ удивляюсь, какъ всею этою мерзостью не отравился, а, можетъ быть, и отравился — только не остро и не на смерть, а хронически и съ выздоровленіемъ. Кромѣ г. Меньшикова, кажется, впослѣдствіи уже никто не вѣшалъ на меня собакъ съ такимъ усердіемъ, какъ удостоился я въ то время отъ нашихъ поклонниковъ грома побѣды и національной вражды, какъ бы ни была она бессмысленна и вредна намъ самимъ. Бывали минуты, когда я, отбиваясь отъ этихъ хаотическихъ нападокъ, буквально, въ отчаяніе приходилъ, и, каюсь, по тогдашней молодости лѣтъ своихъ и очень слабой поддержкѣ меня органомъ, гдѣ я работалъ, начиналъ уже самъ немножко колебаться въ своихъ выводахъ изъ моихъ болгарскихъ впечатлѣній: да, правъ ли я, въ самомъ дѣлѣ? Не лучше ли они изучили страну, сидя въ своихъ кабинетахъ, чѣмъ я на мѣстѣ, живыми глазами? да не ошибаюсь ли я съ моею примирительною тенденціей? да не втерли ли мнѣ въ глаза очки мои милые братушки? Въ это самое время Михайловскій напечаталъ нѣсколько разсудительныхъ и спокойныхъ строкъ о неблаговидности травли, противъ меня поднятой, и о желательности идей, которыя, умѣло или неумѣло, но съ искренностью и убѣжденіемъ проводилъ я въ славянской политикѣ. Трудно было попасть съ помощью болѣе во-время и кстати. Ободрительное слово, брошенное, хотя и вскользь, изъ лагеря, который въ то время былъ мнѣ чужимъ, взбрызнуло меня живою водою. Я написалъ тогда Михайловскому огромное письмо, въ которомъ вывернулъ предъ нимъ все, что накопилось въ душѣ изъ-за этой славянской полемики,—и очень скоро получилъ отъ него ласковый и ободряющій отвѣтъ въ томъ смыслѣ, что моль очень радъ, если помочь вамъ, потому что, хотя свое симпатичное дѣло и дѣлаете вы въ антипатичной мнѣ газетѣ, но человекъ вы—не безъ способностей и въ этихъ своихъ взглядахъ, повидимому, стоите на совершенно вѣрномъ пути.

Хорошо это, когда есть въ литературѣ сила-символь, воплощающая своимъ живымъ образомъ ту отвлеченную чистоту ея, суда которой надъ собою иногда такъ мучительно и вызывающе жаждетъ каждый писатель дѣятельной мысли и самостоятельной воли. Опять по себѣ сужу и скажу. Мысль:

— Пойду, все расскажу Михайловскому и попрошу у него совѣта... Какъ онъ скажетъ, такъ и сдѣлаю!—

Такая мысль, какъ послѣднее средство исхода изъ крайне острыхъ этическихъ дилеммъ, приходила мнѣ неоднократно въ трудные, газетные моменты, когда передо мною носились въ туманѣ насмѣшливыми призраками: либо конечное крушеніе любимаго дѣла, либо тяжелый, оскорбительный компромиссъ... Однажды, въ 1901 году, я не выдержалъ и поѣхалъ было къ незнакомому Михайловскому. Но не судьба была увидать его: онъ оказался въ деревнѣ.

Хорошо было сознавать, что сидитъ негдѣ этакая живая правда журналистики, которую ты хочешь—люби, не хочешь—не люби, а признавать долженъ, если въ душѣ у тебя совѣсть жива; отъ которой клевета и насмѣшка отскочать, какъ горохъ отъ мраморной стѣны, на которой, какъ на камнѣ пробирномъ, ты можешь испытать свою искренность, чистоту своихъ литературныхъ побужденій, ясность своихъ общественныхъ взглядовъ, твердость своихъ общественныхъ убѣжденій. Вспомните щедринскую притчу, какъ Глузовъ, увязшій въ самоохранительномъ буржуизмѣ до совершеннѣйшаго свинства, внезапно увидалъ во снѣ Стыдъ и такъ смутился и испугался, что образъ звѣринный отъ него отпалъ, и возвратился онъ къ образу человѣческому. Вотъ этимъ Стыдомъ, который спасительно снится падающему человѣку, и былъ Михайловскій въ литературной средѣ. И многимъ-многимъ снился его строгій обликъ и многихъ-многихъ отрезвиль онъ и спасъ, иногда, быть можетъ, самъ того не зная и не подозревая.

Не зная я, повторяю, Михайловскаго лично, но телеграмма о кончинѣ его больно ударила меня по сердцу, будто вѣсть о смерти близкаго и любимаго человѣка... А и то сказать: кому же изъ насъ, восьмидесятниковъ, не былъ близокъ онъ—авторъ «Героевъ и толпы», «Жестокаго таланта», «Записокъ профана»? Сколько мы его читали! Сколько мы его любили! Сколько мы на него ворчали! Сколько мы съ нимъ ссорились! Сколько мы его уважали! Сколько мы отъ него слышали доброжелательныхъ словъ! Сколько приняли заслуженныхъ бичей и скорпіоновъ!.. Разные слои общества разною печалью встрѣтили вѣсть о кончинѣ Николая Константиновича. Мы же,—юноши въ восьмидесятихъ годахъ, а теперь люди за сорокъ,—почтительноѣ всѣхъ обнажаемъ свои головы у этой могилы, въ которой спитъ, засыпанный цвѣтами, умный гувернеръ, усердный дядька, любимый репетиторъ нашего поколѣнія!

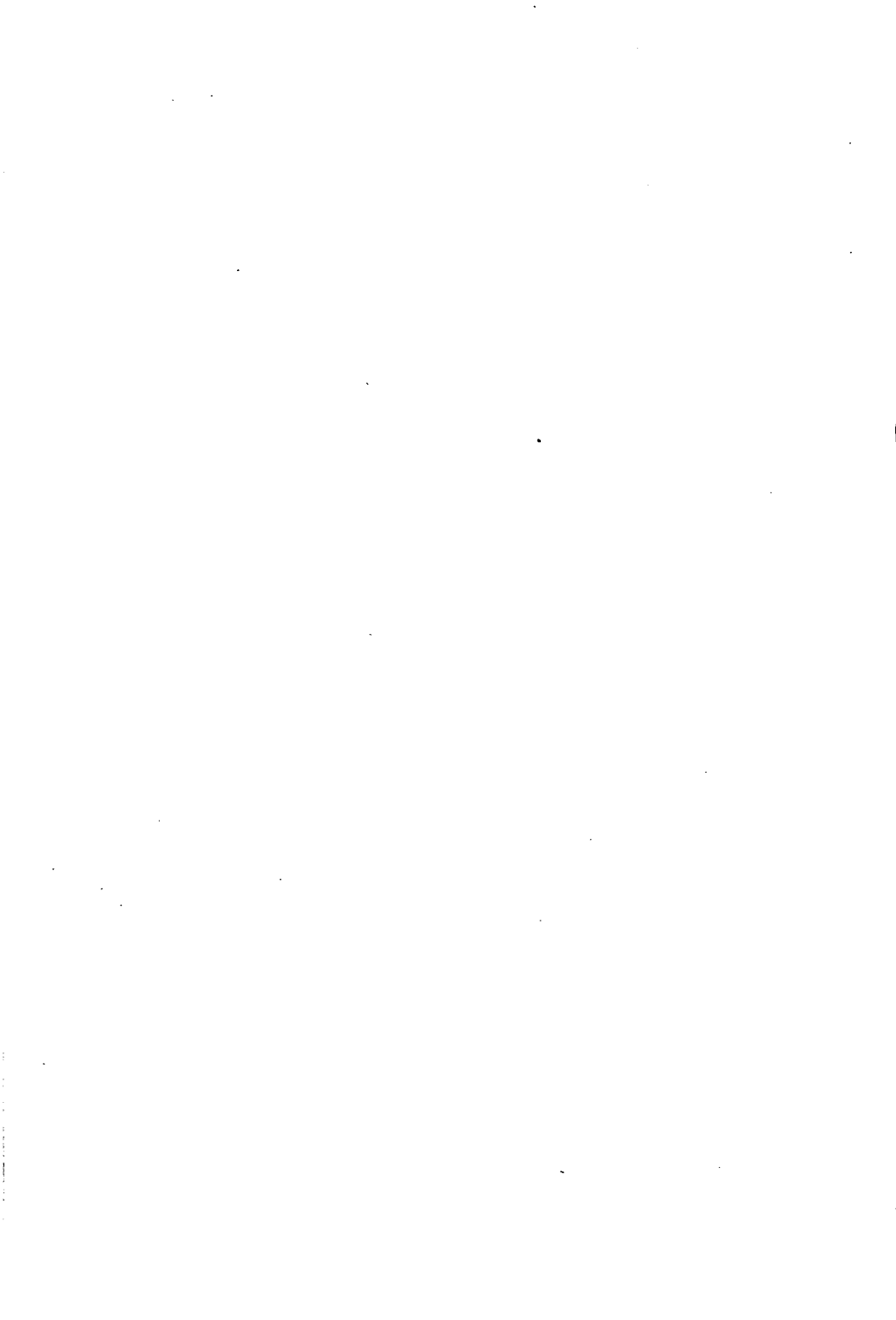
Русскіе прогрессивные публицисты-западники недолговѣчны. Коротки были сроки дѣятельности Бѣлинскаго, Добролюбова, Писарева, оборванные смертью. На первыхъ полусловахъ пришлось замолчать заживо умершему Чернышевскому. Герцена тоже слишкомъ рано съѣла тоска изгойства, да и мало знаетъ его, до сихъ поръ запрещеннаго, читающая Россія... Н. К. Михайловскому природа послала, сравнительно, долгую жизнь и крѣпкія силы какъ бы для того, чтобы допѣть недопѣтыя пѣсни молодомуиравшихъ и рано замолкавшихъ силачей, чтобы досказать и растолковать недоговоренныя слова. Его часто укоряли въ отсутствіи оригинальности, язвительно подчеркивали, что Михайловскій-де—не творецъ самостоятельныхъ идей, но лишь счастливый толмачъ стараго идейнаго наслѣдства. Но, вѣдь, и Моисей, когда спустился съ Синаи къ стану израильскому, несъ на скрижаляхъ не свои, а продиктованныя ему заповѣди, что не помѣшало имъ остаться на-вѣки въ памяти и сознаніи народовъ заповѣдями Моисеевыми, а на фундаментѣ ихъ выросъ цѣлый

рядъ религіозныхъ, общественныхъ и политическихъ системъ! Синай шестидесятихъ годовъ, сквозь вихрь и громъ реформъ, прошепталъ Михайловскому лучшія тайныя слова своего идейнаго завѣта и отправилъ его въ міръ проповѣдывать воспринятую мудрость. И онъ проповѣдывалъ до послѣдняго издыханія. И проповѣдывалъ такъ ярко и упорно, что огромная западническая идея шестидесятихъ годовъ,—въ восьмидесятихъ, девяностыхъ и вплоть до нашего года,—слилась съ его именемъ въ одно: она стала «идеей Михайловскаго». И берегъ онъ эту идею, какъ святой огонь на жертвенникѣ, и старый синайскій свѣтъ самосознательной силы не переставалъ сіять на его непоклонной головѣ...

Теперь онъ погасъ... На чьемъ-то челѣ загорится!

1904.
Вологда.

Генрихъ Семирадскій и „Дирцея“.



I.

Всѣ знаютъ изъ мифологіи трагическую судьбу Дирцеи, супруги Лика, размыканной дикимъ быкомъ по дебрямъ Киферона въ отмщеніе за издѣвательства ея надъ Антипою. Всѣ знаютъ хоть по копіямъ и фотографіямъ знаменитую группу неаполитанскаго Museo Nazionale «Того Farnese», изображающую моментъ, когда сыновья Антиопы Амфіонъ и Зетъ прикручиваютъ зловредную Дирцею къ рогамъ быка. Светоній, Діонъ Кассій, христіанскіе апологеты, оповѣстили потомство о казняхъ съ окраскою мифологическихъ спектаклей, какими забавляли римлянъ цезари, а между послѣдними, будто бы, особенно Неронъ. О казняхъ нѣкоторыхъ преступницъ именно смертью Дирцеи сообщаютъ и Плиній, и Лукіанъ, и Апулей. А одинъ изъ мужей апостольскихъ, св. Климентъ, епископъ римскій, въ первомъ своемъ посланіи къ коринѣянамъ—предполагаемомъ отголоскѣ гоненія неронова, о которомъ, впрочемъ, я очень сомнѣваюсь, чтобы оно когда либо было,—по крайней мѣрѣ, въ тѣхъ эффектныхъ размѣрахъ, какъ рассказываетъ, по Тациту, блестящій Ренанъ,—такъ вотъ, св. Климентъ—свидѣтельствуетъ съ христіанской стороны: «Завистію были гонимы женщины, какъ Данаиды и Дирки; претерпѣвши тяжкія и ужасныя мученія, онѣ прошли твердымъ путемъ вѣры и, немощныя тѣломъ, получили славную награду».

Многочисленныя казни женщинъ по способу Дирцей, такимъ образомъ, не подлежатъ сомнѣнію, а частыя указанія о нихъ у современныхъ писателей доказываютъ, что зрѣлища эти оставляли въ публикѣ глубокое впечатлѣніе. Тацитъ указываетъ намъ, что повальное избіеніе христіанъ, хотя Римъ считалъ ихъ преступными, вызвало состраданіе и сочувствіе къ гонимымъ «не ради блага общественнаго, но для удовольствія одного человѣка». Онъ, или, вѣрнѣе сказать, христіанскій интерполаторъ, вставившій этотъ знаменитый, но весьма сомнительный кусокъ текста, пишетъ такъ о «живыхъ свѣточахъ Нерона»,—Сенкевичъ счелъ возможнымъ распространить эпидемію жалости и на амфитеатръ: такова пресловутая сцена освобожденія одной изъ христіанскихъ Дирцей, Лигіи, колоссомъ Урсомъ въ романѣ «Quo vadis». Когда увидѣла свѣтъ картина Семирадскаго, многіе ошибочно ославили ее иллюстраціей къ роману Сенкевича, не сообразивъ, что хронологически созданіе картины много предшествовало созданію романа.

Если кто изъ литературныхъ дѣятелей вліялъ на Семирадскаго въ его «Дирцеѣ», то это, конечно, Ренанъ, посвятившій въ своемъ «Антихристѣ» нѣсколько блестящихъ страницъ моменту, изображенному художникомъ. Ренанъ чудесно передалъ и пластику этой обычной драмы амфитеатра, и ея психологію, и ея эстетистическія послѣдствія, — хотя эти третьи и не безъ преувеличеній и крайностей. У Ренана, вообще, есть оптимистическая склонность къ проповѣди вольтерова Панглосса: «все къ лучшему въ этомъ лучшемъ изъ міровъ». Панглоссъ умѣлъ найти свои хорошія стороны въ лиссабонскомъ землетрясеніи, Ренанъ находитъ ихъ въ страданіяхъ христіанскихъ Дирцей. По его мнѣнію, муки послѣднихъ, оскверненіе ихъ дѣвственной паготы взорами пятидесятитысячной толпы, озвѣрѣлой, кровожадной, распутной, содѣйствовали тому, что, пресыщенный красотою физическою, народъ почувствовалъ обаяніе красоты духовной, сквозящей въ изможденномъ и не-

мощномъ тѣлѣ. «Когда изжившійся міръ язычества, унизясь до способности дѣлать себѣ праздники изъ пытокъ бѣдной, перепуганной дѣвушки, сорвать скотскою рукою покровы христіанской наготы, — она, безъ словъ сказала ему: ты видишь? и я прекрасна!» И духъ побѣдилъ тѣло, христіанская мученица затмила Венеру. Неронъ, какъ эстетъ изъ эстетовъ, — говоритъ Ренанъ, — долженъ былъ первый найти, оцѣнить и просмаковать эту новую красоту.

Г. Семирадскому принадлежитъ честь быть талантливымъ изобразителемъ момента — едва ли не самаго характернаго для эстетики древняго, до-христіанскаго міра — момента воплощенія божества тѣлесной красоты и любви физической, — въ лицѣ Фрины, сыгравшей роль Афродиты въ волнахъ Коринѳскаго залива. Увѣковѣченный Г. Семирадскимъ, моментъ этотъ всякій можетъ видѣть и цѣнить въ Музеѣ Александра III. «Христіанская Дирцея» — прямое продолженіе Фрины. Она изображаетъ такой же яркій, но еще болѣе важный переломъ въ эстетической исторіи человѣчества. Въ Афродитѣ, вышедшей изъ пѣны морской, люди обожествили совершенство матеріи и формы, въ Дирцеяхъ римскаго амфитеатра — духъ, подъемяющій матерію до сверхъестественнаго могущества, наполняющій форму святою прелестью, неземнымъ очарованіемъ. Рухнула эстетика непоколебимаго, самодовлѣющаго здоровья, ярой, самооправдываемой чувственности, эстетика тѣлесной воли, красота наслажденій безъ оглядки, — изумленный язычникъ видитъ предъ собою красоту, скрытую въ области, внушавшей ему до того лишь отвращеніе и ужасъ, — красоту смерти, прелесть страданія, очарованіе тѣла, покинутого духомъ въ наивысшемъ развитіи мученическаго экстаза... «Отнынѣ будете видѣть небо отверстымъ и ангеловъ Божіихъ восходящихъ и нисходящихъ къ сыну человѣческому»...

Картины, передающихъ столкновеніе міра языческаго съ міромъ первыхъ дней христіанскихъ, великое множество.

Но въ картинѣ Семирадскаго есть особенность, крайне типическая для эпохи и, по моему, весьма лестная для исторической проницательности автора. Мы видимъ въ искусствѣ десятки христіанъ-исповѣдниковъ, смѣлыхъ и терпѣливыхъ мучениковъ, обличителей, проповѣдниковъ—словомъ, христіанъ дѣйствія; Семирадскому же пришла идея передать ту пассивную силу терпѣливаго, неповиннаго страданія, которою именно и побѣдило христіанство языческій міръ, которою и разбудило оно въ немъ чувство совѣсти и позывъ къ покаянію. Въ пышномъ, шумномъ, живомъ, радостномъ языческомъ мірѣ Семирадскаго—всего одна точка христіанская, да и та—мертвое тѣло дѣвушки, умерщвленной за принадлежность къ гонимой сектѣ, слабенькое, блѣдное, изящное, хрупкое... въ крови и прахѣ... Мертвая и униженная побѣдительница среди живыхъ и торжествующихъ побѣжденных! Она погибла... за что? «За ненависть къ роду человѣческому—*odium generis humani*»—гласитъ обвиненіе. Да развѣ этотъ прелестный ребенокъ съ блѣдностью смерти на грустномъ личикѣ можетъ ненавидѣть родъ человѣческій, свершать пиршества Тіэста, поджигать Римъ? Всякій видитъ, что не она ненавидѣла, но ее за что-то возненавидѣли и звѣрски убили, а она за это что-то покорно и тихо приняла лютую смерть... За что же? за что? Сбитый съ толку Римъ глядитъ на мученицу глазами майковскаго Деція и недоумѣваетъ:

Глазамъ не вѣрю!
На казнь идти и гимны пѣть
И въ пасть некормленному звѣрю
Безъ содроганія смотрѣть!..

Съ сумрачнымъ уваженіемъ смотритъ на мученицу преторіанецъ, старый солдатъ Субрій Флавій — преданный служака Нерона, кончившій, однако, въ послѣдствіи жизнь на плахѣ за покушеніе на кесаря, котораго онъ возненавидѣлъ какъ врага рода человѣческаго, тѣмъ сильнѣе, что пылко любилъ кесаря въ золотые дни его юности, ждалъ отъ него міру добра и радости. Эта жен-

щина, въ зеленомъ, сзади Флавія, съ боязливымъ сожалѣніемъ выглядывающая изъ-за плеча префекта на жертву гоненія,—кто она? Быть можетъ, Актѣя, первая любовница Нерона, если не христіанка, то склонная къ христіанству... быть можетъ, одна изъ тѣхъ, изстрадавшихся жаркою душою въ пустотѣ вѣка, Лидѣ, что, насмотрѣвшись на мученицъ, сами шли по ихъ кровавымъ слѣдамъ къ новой, блеснувшей имъ надеждѣ во Христѣ...

И съ той поры три ночи рядомъ,
Та дѣва, съ тѣмъ же кроткимъ взглядомъ,
Ко мнѣ являлася и тѣ-жъ
Слова мнѣ тихо повторяла:
Иди и мать мою утѣшь!
И я пошла... и все узнала...
И тамъ, средь тихихъ, свѣтлыхъ слезъ,
Я все нашла, чего искала,—
Я поняла, кто былъ Христосъ...

Вольноотпущенникъ—Эпафродитъ, литературный секретарь Нерона, или Алитуръ, любимый мимъ его?—глядитъ на трупъ съ дикимъ, но не враждебнымъ любопытствомъ. Неронъ Семирадскаго именно таковъ, какъ предполагаетъ его Ренанъ: «Ce fut un monstre, mais ce ne fut pas un monstre vulgaire». Въ его брезгливой и въ то же время созерцательной минѣ знатока-эстета есть искорка—«гмъ... да, это, какъ будто, что-то и не испытанное, новенькое!»—говоритъ она. Онъ уже оцѣнилъ, разобралъ по косточкамъ, разсмаковалъ, пустилъ двѣ-три эффектные цитаты кстати, — исполнилъ все, что Нерону, артисту-практику и теоретику, надлежало исполнить при видѣ «трагическаго сюжета». Онъ понимаетъ, что красота Дирцеи—новая, чувствуетъ ея силу, уже классифицировалъ ее и готовъ прочесть о ней пикантную лекцію своему двору. А сверху, съ подѣума, на трагическую сцену смотреть,—изъ подъ балдахина, безопасно развалиась въ креслахъ, въ лицѣ сверкающей пурпуромъ и камнями императрицы,—тотъ страшный «Римъ гетеръ, шута и мима», что, побѣжденный, мнитъ себя въ предсмертной слѣпотѣ своей побѣди-

телемъ, обреченный на уничтоженіе, воображаетъ себя владыкою міра. На аренѣ этотъ подлый Римъ представленъ фигуροю бѣлокурой женщины съ измятымъ лицомъ, небрежно играющей вѣромъ. Мнѣ эта женщина представляется тою *Calvia Crispinilla*, которую Светоній зоветъ *magistra libidinum Neronis*. Эту госпожу ничѣмъ не удивишь: при ней убивали, насиловали, кощунствовали, грабили... въ послѣдствіи, одурѣвшій отъ разврата Неронъ женился на евнухѣ Спорѣ, объявилъ его «*diva Augusta*» и приставилъ къ нему эту самую Кальвію Криспиниллу въ качествѣ оберъ-гофмейстерины... Для столь опытной дамы эго диво мертвое тѣло какой-то замученной христіанки! нашли чѣмъ заниматься!.. Золото, сладострастіе и полная нравственная безсознательность—вотъ и вся эта женщина. Типъ изъ публичнаго дома, какимъ, впрочемъ, и былъ Золотой дворецъ Нерона.

Такова картина Семирадскаго или—вѣрнѣе сказать—таковы образы, вызываемые ею въ памяти человѣка, занимающагося эпохою, съ которою она связана. Предоставляю специалистамъ художественной критики разбирать недостатки ея техники, если есть таковыя. Я ихъ не вижу. Я знаю, что небо Семирадскаго—типическое римское небо,—голубовато-лиловое съ тучками, какимъ оно бываетъ по крайней мѣрѣ триста дней въ году; что ковры, шелкъ, металлы, рога буйвола на картинѣ—«какъ живые», хочется дотронуться и пощупать—до того они осязательны; что крови на картинѣ множество, но пролита она такъ искусно, что отъ нея не претитъ зрителю; что историческій изумрудъ въ вѣнцѣ Нерона мечетъ лучи; что подъ тѣмъ особеннымъ свѣтомъ, и яркимъ, и мягкимъ, который въ Римѣ и въ пасмурные деньки изъ-подъ тучекъ льется, бѣлая балюстрада амфитеатра сквозитъ и сверкаетъ своею нагрѣтою бѣлизною...

II.

Вотъ уже лѣтъ двадцать пять, какъ въ образованныхъ слояхъ общества и западно-европейскаго, и русскаго — на зло переживаемымъ нами переворотамъ социальнымъ, экономическимъ, научно-техническимъ, — неумоимо, послѣдовательно, растя, какъ снѣжный комъ, катящійся съ горы, — зрѣетъ странное движеніе, отвлекающее современные умы отъ жизни дѣйствительной къ жизни измышленной, отъ осязательной правды къ фантастическимъ лжамъ, отъ насущныхъ потребностей дня — къ вѣчнымъ призракамъ и снамъ, которыми обманываетъ себя въ горькой долѣ своей человѣчество, едва ли не съ того же самаго часа, когда архангелъ, огненнымъ мечомъ, изгналъ изъ рая Адама обрабатывать землю, производящую волчцы, а Еву — въ болѣзняхъ родити чада.

Движеніе это, съ нарочитою силою, сказывается въ двухъ смежныхъ проявленіяхъ духа: въ религіи и въ искусствѣ.

Никогда во всемірной исторіи не сказывалась съ большею напряженностью усталость отъ религіознаго индифферентизма, отъ отсутствія живого Бога въ душѣ, незамѣнимаго никакими діалектическими умствованіями, какъ въ первомъ вѣкѣ христіанства. Старыя — государственно-имперская и національныя, областныя — религіи, одна за другою, терпѣли крушеніе, какъ уличенныя безсмыслицы, а новая вѣра, вѣщающая въ новомъ Богѣ новую совѣсть,

еле мерцала слабою зарею. Потерявъ боговъ Олимпа и своихъ городскѣхъ боговъ, греко-римскій міръ мечется въ безсильной тоскѣ на поискахъ боговъ-замѣстителей, бросается къ тайнствамъ Изиды, къ сирійской богинѣ, къ Симону-волхву, къ іудеямъ, къ Аполлонію Тіанскому и Александру Авонитихиту: спаси! дай чѣмъ либо наполнить опустошенную душу! Истязай насъ, дурачъ, заставляй вѣрвать въ глупые фетиши-символы и въ нелѣпыя формулы, но—чтобы мы чувствовали себя въ родствѣ хоть съ какою нибудь сверхчеловѣческою властью и силою, въ сосѣдствѣ съ неземнымъ и сверхъестественнымъ... Мы видимъ, какъ нарождаются философскія теоріи, равносильныя религіознымъ системамъ, разнуздывающія человѣческій произволъ до безпредѣльной свободы, до апоѳеоза животной чувственности; мы видимъ, какъ, съ другой стороны, дѣлають быстрые успѣхи религіи, проповѣдующія отрицаніе всякой чувственности, идущія въ истязаніи и убійствѣ плоти до идеаловъ, гораздо болѣе рѣзкихъ, чѣмъ, борясь съ ветхимъ Адамомъ, поставило ихъ потомъ даже христіанство. Архиразвратникъ, живой «Антихристъ», Неронъ презираетъ всѣхъ боговъ, но поклоняется сирійской богинѣ, жрецы которой—самоистязатели и скопцы. А самоистязателей и скопцовъ этихъ Апулей, Лукіанъ и другіе тоже описали намъ, какъ невѣжественныхъ шарлатановъ и безстыжихъ распутниковъ первой руки. И изъ нихъ же потомъ вышелъ однако еретикъ Монтанъ—самый суровый изъ всѣхъ христіанскихъ отрицателей плоти. Съ одной стороны—духъ рвется въ предѣлы «сіянія неизреченной красоты» и, въ неудержимомъ полетѣ своемъ, губить, безсильное слѣдовать за нимъ, тѣло: христіанскіе мученики, инсургенты-мессіане іудейскихъ войнъ, Аполлоній Тіанскій, гностики; съ другой—тѣло, махнувъ рукою на духъ, лѣзетъ въ самыя низменныя лужи: Калигула, Неронъ, Мессалина, авторъ «Сатирикона», Александръ Авонитихитъ. Ужасающій развратъ и неугасимая жажда идеала.

Живутъ безумцами—разстаются съ жизнью, какъ мудрецы. Трепещутъ передъ смертью, а умирають, ничуть не жалѣя жизни. Міръ словно растерялся, что ему съ собою дѣлать: убить себя, или обожествить? созданъ онъ злою силою или доброю? зло онъ или добро? Христіанство знало секты; съ презрѣніемъ отвергавшія ветхозавѣтныя добродѣтели, какъ обманъ низшаго божества, Деміурга, ненавистника людей; онѣ проклинали святыхъ іудейскаго закона и поклонялись змію-искусителю, Каину, Іудѣ Искаріотскому, какъ проявленіямъ высшей божественной силы, заставлявшей ихъ творить мнимое зло, чтобы въ концѣ концовъ восторжествовалъ свѣтъ истиннаго добра, возвѣщенный міру «зономъ» Иисусомъ. Вотъ какъ хитро! А вѣдь этому — двѣ тысячи лѣтъ... Ужасно все не пово подъ луною! Когда мнѣ случается раскрыть какой нибудь современный кодексъ какого нибудь моднаго «окультурческаго» вѣроученія, — имя же имъ. легионъ, — я, въ концѣ концовъ, всегда, опуская книгу, повторяю мысленно мудрыя слова великаго раввина Бенъ-Акибы, сказанныя имъ молодому мечтателю Уріэлю Акостѣ, какъ представилъ памъ его Гуцковъ, — хотя Акоста въ пору еретичества своего былъ и не мечтатель, и не молодецъ, да и еретичество-то его было чисто талмудическое — въ родѣ знаменитаго педоумѣнія «о погибельномъ яйцѣ, въ шабашъ курицей снесенной»!

— Бывало все! да! всякое бывало!

Недовольство государственными религіями — характерная особенность европейскаго общества и въ наши дни. Государственныя формы христіанства сталкиваются все чаще и чаще съ рационалистическимъ отрицаніемъ, построеннымъ на основахъ соціального и международнаго порядка, — все чаще и чаще смѣняются онѣ или полнымъ религіознымъ индифферентизмомъ, распространеннымъ на цѣлыя группы христіанъ, остающихся христіанами только по имени, либо даже открытою враждою къ ихъ историческому складу, какъ напр. обстоитъ дѣло съ католи-

цизмомъ во Франціи, въ Германіи, въ Италіи. Древній міръ, когда потерпѣлъ крушеніе государственной религіи, имѣлъ задачу, конечно, глубже и сложнѣе, чѣмъ можетъ имѣть наше время: онъ долженъ былъ найти или изобрѣсти себѣ новаго Бога. Чтобы спасти его отъ гибели, долженъ былъ явиться Христосъ. XX вѣку придется искать не новое, а лишь потерянное и забытое: не новаго бога, но стараго Христа, заслоненнаго отъ насъ двухтысячелѣтними историческими наслоеніями. Поиски, казалось бы, много легче, но даются они современному обществу въ не менѣе болѣзненной и шалой суетѣ, чѣмъ читаемъ мы у Тацита, Светонія, Сенеки, Ювенала, Лукіана. Суть великой религіозной реформы перваго вѣка заключалась въ томъ, что общество, съ могучимъ надломомъ надъ своею эгоистическою волею, отказалось отъ боговъ мудреныхъ, хитро придуманныхъ и истолкованныхъ философами, возвеличенныхъ и поставленныхъ на пьедесталы, отъ боговъ умственныхъ, — для Христа и его ученія, простого, душевнаго, ученія равенства, братской любви и добросердечія. Прежде чѣмъ прійти къ этой простой сути — мы знаемъ — древній міръ вдоволь пометался между религіями и философскими системами, долго старался найти способъ жить въ самоудовлетвореніи внѣ Христа — и сдался ему, лишь убѣдясъ, что ни Эпикуръ, ни Сенека, ни жрецы Элевзиса, ни синагога, ни обоготворенные кесари, ни всѣ другія хитрыя религіозныя выдумки человѣческаго ума не въ силахъ предохранить его отъ самоуничтоженія. Къ простымъ религіямъ, какъ къ простымъ идеямъ, люди приходятъ позже всего и труднѣе всего. Не то же ли и теперь? Начиная съ Константина Великаго и до нантскаго эдикта, отъ Владиміра Кіевского и до К. П. Побѣдоносцева, мы видимъ, какъ христіанство, теряя вѣкъ изъ вѣка свою первоначальную простоту и ясность, завоевываетъ себѣ государственно-обязательныя положенія, перерождаясь въ рядъ стройныхъ политическихъ системъ. Оно всюду стало очень

мудренымъ, очень сложнымъ, очень умственнымъ—и міръ затосковалъ по старомъ, простомъ и душевномъ Христѣ, который спасъ его тысяча девятьсотъ лѣтъ тому назадъ своею любовью. Но, такъ какъ, повторяю, уму человѣческому, по гордости его, свойственно приходитъ къ самымъ простымъ и естественнымъ выходамъ лишь въ послѣднихъ, когда уже всѣ выверты испробованы и идти больше некуда, то сейчасъ европейскія общества еще бродятъ и изворачиваются: а нельзя ли какъ нибудь обойтись—и религію себѣ найти, чтобы она воскресила въ насъ христіанскую мораль, и первоисточникъ этой морали, Христа, оставить въ сторонѣ? Тутъ и теософы, и необуддисты, и Саръ Пеладанъ, и Блаватская, и религія Зороастра, и іудействующіе, и контисты, и черныя обѣдни сатанѣ, и воскресіе языческіе культы—Бахуса, Венеры, Юпитера... Смѣшно сказать: наши петербургскіе «фэньдесъеклисты», какъ звали ихъ одно время, идутъ всегда лишь въ хвостъ у Парижа, а и то нѣкоторое общество прекрасныхъ и образованныхъ молодыхъ людей, начитавшись «Свѣта Азіи», завело себѣ кумирню и самымъ серьезнымъ образомъ било поклоны передъ мѣднымъ Буддою. Одинъ изъ этихъ господъ былъ охотникъ до автографовъ. Когда онъ обратился съ своимъ альбомомъ къ одному изъ нашихъ извѣстнѣйшихъ литераторовъ, тотъ написалъ ему изъ Гоголя: «Я знаю, кому ты молишься! У тебя на дому есть деревянный болванъ, ты ему пѣлуешь руки, язычникъ скверный! Тебѣ нужно монастырское покаяніе!...» Другіе же, признавая, что безъ Христа имъ не обойтись, думаютъ: однако, зачѣмъ нибудь да прожили мы двѣ тысячи лѣтъ и пережили въ нихъ нѣкоторую нравственную эволюцію! Не хотимъ принимать Христа древняго — примемъ его на новый ладъ, такимъ, какъ намъ угодно, съ тѣми измѣненіями, какъ намъ заблагоразсудится, сообразно съ требованіями нашего разума. Въ теченіе XIX вѣка появилось во всѣхъ христіанскихъ государствахъ

апокрифическихъ евангелій, т. е. жизнеописаній Иисуса Христа въ произвольномъ примѣненіи ихъ къ истолкованію Его вѣроученія, гораздо больше, чѣмъ за всѣ XV вѣковы съ Константина Великаго. Европейская интеллигенція дробится на десятки негласныхъ и гласныхъ ересей. Воскресаетъ мессіаниззмъ. У насъ на Руси является, въ толстовцахъ, что-то въ родѣ древняго ессейства на христіанскій ладъ, вродѣ эбіонизма, живущаго по сводному евангелію, «очищенному» гр. Л. Н. Толстымъ отъ элементовъ, которые казались ему неудобными. В. С. Соловьевъ и Меньшиковъ въ проповѣди дурно понятаго аскетизма, въ борьбѣ съ плотскою любовью, безсознательно тянутъ наше юношество прямехонько къ энкратитамъ Татіана, къ Маркіону, къ Оригенову самоискаженію, къ хлыстовщинѣ и скопчеству *).

Другая область разительнаго сходства вѣка XIX съ вѣкомъ, въ которомъ родилось христіанство, — искусство и отношеніе наше къ нему. На мой взглядъ, когда раздаются печатныя и устныя жалобы на паденіе искусства, на упадокъ интереса къ нему—это какая-то привычная обществу, условная ложь, традиціонное жалобное притворство, не болѣе. Если мы пробѣжимъ мысленно восемнадцать вѣковъ, отдѣляющихъ насъ отъ Нерона, отъ Адріана, то, хотя и встрѣтимъ на протяженіи этомъ періоды, когда люди искусства властвовали надъ умами человѣческими не менѣе, чѣмъ въ эти предѣльныя точки, но никогда не было людей искусства больше, чѣмъ тогда и теперь, никогда они не заслоняли отъ общества его дѣйствительной жизни съ большею пазойливостью. При Неронѣ, въ искусства ушли всѣ blasés, потерявшіе надежду найти религію духа и взамѣнъ принявшіе утѣшеніе въ религіи тѣла. У кого не хватало сердца воспринять Христа и ума, чтобы постичь его красоту въ Павлѣ

*) Давно это писано! Но былъ г. Меньшиковъ и въ такомъ трансѣ (1905).

Тассійскомъ, — тотъ искалъ красоты въ безумствахъ Палатина, по кодексу Петропія и Отона. Здѣсь Павелъ, тамъ — *arbiter elegantiae*. Здѣсь — «больше сія любви никтоже имать и пр.», тамъ — живыя статуи, Лаокоонъ, Дирцея, точація неповинную кровь. Въ наше время искусство стало прибѣжищемъ не только для религіозныхъ и этическихъ разочарованій и метаній; оно — драгоцѣнная пища, укромный пріютъ и для мысли, потерпѣвшей крушеніе въ теоріяхъ политическихъ и социальныхъ. Кто не умѣетъ построить по своему общество — старается строить по своему хоть воздушные замки. Кто не умѣетъ собрать партіи — начинаетъ собирать статуи и картины. Кто безсиленъ глядѣть правды жизни въ глаза — смотритъ на нее черезъ бинокль, въ театрѣ. Кто потерялъ въ противорѣчіяхъ морали и практики почву подъ ногами, отвыкъ мыслить опредѣленно, живетъ не убѣжденіемъ, а настроеніями — тонетъ въ хроматизмъ Вагнера, въ символистическомъ туманѣ, въ полутонахъ и полутѣняхъ... Артистъ — опять полубогъ. Кому, — кромѣ развѣ артиста же Діодора, который объ руку съ Нерономъ вѣхалъ въ Римъ въ художественномъ триумфѣ кесаря послѣ его греческихъ гастролей, — могутъ завидовать Фигнеръ, Мазини, Сальвини, Росси, Сара Бернаръ, Дузэ, Савина? Они — первые люди всякаго общества, ихъ дѣло — первое въ лѣстницѣ дѣлъ, интересующихъ вѣкъ, ихъ портреты вы находите въ каждомъ домѣ, ихъ имена — единственно извѣстныя всякому. Я зналъ дѣвицу, которая была твердо увѣрена, что Спиноза — болѣзнь, по все родословіе Фигнера такъ и отчитывала наизусть. «Вася Андреевъ» — имя, говорящее девяти десятимъ Петербурга гораздо болѣе, чѣмъ имя, ну, хоть — если брать изъ литературы — г. Альбова. А, что касается до ученой части, то я голову прозакладую, что изъ ста петербуржцевъ, девяносто не сумѣютъ назвать извѣстнѣйшихъ русскихъ химиковъ, юристовъ, техниковъ, историковъ, математиковъ, но развѣ десять возвысятся въ своемъ

невѣжествѣ до недоумѣнія: кто такой Андреевъ, Аполлонскій, Дальскій, Яворская и т. п.

Это первенство вопросовъ искусства въ ряду интересовъ общества сказывается для нашего брата, журналиста, очень ярко и наглядно на практикѣ. Если—скажемъ къ примѣру—я напишу:

— Ахъ, какъ жаль, что выбрали въ головы гр. Мусина-Пушкина! Совсѣмъ онъ къ этому не пригоденъ!

Я могу надѣяться, что получу на сей поклепъ дватри возраженія—печатныя или письменныя—но въ самой приличной и сдержанной формѣ. Такъ—*sine ira et studio*: лишь въ интересахъ возстановленія истины. Но если я напечатаю:

— Артистъ Звонскій-Громобоевъ очень плохо играетъ Уріэля Акосту.

— Я могу быть твердо увѣренъ, что завтра же мой столъ будетъ покрытъ письмами, съ самыми пылкими опроверженіями, оскорбительными намеками, руганью. И это не отъ самихъ артистовъ — о, нѣтъ! Они, хотя народъ и самолюбивый, но робкій и втайнѣ сомнѣвающийся: конечно, я великъ и Кинъ мнѣ въ подметки не годится, — пу, а вдругъ, при всемъ томъ, онъ, критикъ злобный, правъ, и я, дѣйствительно, только декламирующій сапожникъ?!.. Нѣтъ —это публика. Добродушная, гипнотизированная публика, для которой искусство—послѣдній, не разрушенный храмъ цѣльныхъ впечатлѣній, а артисты—послѣдніе въ немъ, не поверженные кумиры. Можно утверждать до извѣстной степени безнаказанно, что профессоръ Менделѣевъ ни аза въ глаза не смыслить въ химіи, но горе тому, кто скажетъ, что бываютъ голоса красивѣе, чѣмъ у Фигнера. Никто не воспрепятствуетъ вамъ раскритиковать въ пухъ и прахъ военныя сочиненія генерала Драгомирова, но сохрани васъ Богъ и помилуй сказать, что г. Давыдовъ невѣрно понялъ роль или что г. Аполлонскій могъ бы проявить мимику болѣе

оживленную, чѣмъ то ему свойственно. Недавно еще, бросивъ мелькомъ нѣсколько неодобрительныхъ словъ объ одномъ любимцѣ публики, я имѣлъ удовольствіе получить, въ числѣ прочихъ и такое посланіе: «М. г., прочитавъ внимательно вашъ отзывъ о г. Н., я рѣшаюсь просить васъ: не изложите ли вы мнѣ подробно въ письмѣ эстетическіе мотивы, по которымъ вы судите объ этомъ артистѣ именно такимъ образомъ. Мнѣ это чрезвычайно важно, чтобы провѣрить свои собственныя впечатлѣнія». Важно ей—да еще чрезвычайно!.. подай цѣлый трактатъ о случайномъ спектаклѣ! Заниматься игрою актера, какъ наукою, какъ жизнью! Актеръ—центръ общественнаго интереса! Не то же ли это отношеніе къ театру, какъ и въ тѣ дни, когда Неронъ, недовольный, что, изъ-за тревожныхъ слуховъ о возстаніи Виндекса, онъ не можетъ посѣщать спектаклей, писалъ актеру, своему пріятелю:

— Это просто беззовѣстно—отвлекать отъ искусства челоѣка, столь занятого!

Въ меньшей степени, но тотъ же самый энтузіазмъ—и къ жрецамъ другихъ искусствъ. Если мы соберемъ вмѣстѣ все, что было писано хотя бы о г. Рѣпинѣ, соберется толстѣйшій томъ, какимъ врядъ ли порадуетъ насъ собраніе критическихъ статей о дѣятеляхъ, равносильныхъ г. Рѣпину въ другихъ отрасляхъ общественной мысли—хотя бы о Гаршинѣ, напримѣръ. Но художниковъ не только порицать—ихъ и одобрять нельзя. Я—вонъ похвалилъ картину Семирадскаго, а г. Rectus *) взялъ, да и прочелъ мнѣ строгую нотацію, какъ я смѣю надувать почтеннѣйшую публику,—находить въ Христіанской Дирцеѣ и Кальвію Криспиниллу, и Эпафродита, и Актею, и Субрія Флавія, когда онъ, г. Rectus, ихъ на картинѣ не видитъ? И такъ это онъ меня авторитетно «жучить»,

*) Подъ этимъ псевдонимомъ писалъ, если не ошибаюсь, П. П. Гнѣдичъ. (1905).

словно, по меньшей мѣрѣ, у него на то въ карманѣ нотаріальная довѣренность и отъ Кальвіи, и отъ Эпафродита, и отъ Актеи, и Субрія Флавія.

Я хочу сказать по этому поводу два слова. Что картина Семирадскаго—не совершенство, объ этомъ я не стану спорить: совершенствомъ и я ее не выставлялъ. Да и вообще—гдѣ они, эти современные совершенства? Больше того: можетъ ли совершенство быть открыто современникамъ во всемъ объемѣ красоты своей? Вотъ—постоять вещь лѣтъ двадцать пять, сохранить свое обаяніе на публику, тогда еще можно, съ нѣкоторою долею увѣренности, пророчить ей мѣсто въ коллекціи шедевровъ. У меня въ библіотекѣ есть изданіе трагедій Альфіери отъ 1803 года, гдѣ современный критикъ-французъ въ примѣчаніяхъ пишетъ о Донъ-Карлосѣ Шиллера: «хорошо еще, что этому (слѣдуетъ нецензурное слово) г. Шиллеру суждено немедленное и вѣчное забвеніе, ибо наша публика, обладая изящнымъ вкусомъ, сумѣетъ оцѣнить всю мерзость его революціонныхъ и богопротивныхъ выдумокъ». И тутъ же воспѣваетъ какіе-то шедевры, память коихъ не то, что умерла, а ужъ и косточки-то ея лѣтъ семьдесятъ пять какъ сгнили.

Я сказалъ лишь и повторяю, что картина Семирадскаго произвела на меня огромное впечатлѣніе. А произвела впечатлѣніе ничѣмъ другимъ, какъ именно блестящею красотою своею,—которую признаетъ, но какъ-то странно ставить ее въ вѣну художнику и г. Rectus—и десяткомъ близко знакомыхъ мнѣ образовъ пероповой эпохи, которые «Дирцея» вызвала въ моей памяти. Rectus'у она не нравится—мнѣ очень нравится и, вѣроятно, нравится какъ разъ по тѣмъ причинамъ, по которымъ не нравится ему: у насъ разные вкусы. Онъ въ восторгѣ отъ рѣпинскаго «Грознаго» и суриковскихъ «Стрѣльцовъ», а я—даже насильно «воспитывалъ себя» къ этимъ картинамъ, стыдяся моего къ нимъ равнодушія,

но кромѣ отвращенія къ безобразной харѣ Коцея безсмертнаго, какимъ г. Рѣпинъ написалъ Грознаго, и къ звѣроподобію свирѣпо ошетинившагося, зеленаго Петра, да чувства тошноты отъ обилія пролитой крови—изъ воспитанія этого ничего не вынесъ. Я имѣю слабость предпочитать прямыя фигуры кривобокимъ и кривоногимъ, а удовольствіе стоятъ предъ картиною въ долгомъ ея созерцаніи—удовольствію «бѣжать отъ нея въ паническомъ ужасѣ, куда глаза глядятъ», что ставитъ г. Rectus въ заслугу «Грозному» и «Стрѣльцамъ». Это—наслажденіе на охотника.

Среди авторитетныхъ замѣчаній г. Rectus'а нѣкоторыя я подвергну нѣкоторому сомнѣнію, вопреки всей ихъ авторитетности. Г. Rectus пишетъ, что небо у Семирадскаго — «сѣрое, не римское». Смѣю увѣрить г. Rectus'а, какъ человѣкъ, ежегодно живущій въ Римѣ хоть по нѣсколькимъ лѣтнихъ дней, что онъ очень ошибается, если думаетъ, будто надъ Вѣчнымъ городомъ сверкаетъ и вѣчная синева. Это—романтическое, театральное представленіе объ Италіи. А ужъ въ особенности небо Семирадскаго вѣрно для августа, когда происходитъ дѣйствіе, и когда въ южной Италіи дуетъ усиленно учащенный сирокко. Семирадскій — старожилъ Рима, постоянно въ немъ живущій. Неужели онъ хуже насъ съ г. Rectus'омъ знаетъ, что сверкающее синее небо—болѣе эффектный фонъ для группы, чѣмъ небо сѣро-голубое? Что онъ большой мастеръ писать яркое небо, Семирадскій доказывалъ десятки разъ. Стало-быть, если въ «Дирцеѣ» небо не яркое, а мутное, такъ надо было, того требовала правда картины. Не слѣдуетъ забывать, что «Дирцея» была замучена въ *ludus matutinus*, т. е. до полдня, когда южный день еще не разгорѣлся.

Недоразумѣніе второе. Г. Rectus называетъ Дирцею «очень длинною дѣвицею, привязанною къ рогамъ быка за тщательно расчесанные волосы». Что касается «длинной дѣвицы», право, не знаю, что сказать. Мнѣ она длин-

ною не представляется, но я ея, долженъ признаться, на сантиметръ не прикидывалъ. Съ другой стороны, я знаю, что иные строгіе критики даже Аполлона Бельведерскаго считаютъ слишкомъ долгоногимъ (опять-таки не мѣрялъ). Гёте по этому поводу написалъ смѣшную сценку, переложенную Майковымъ въ смѣшные стихи. А расчесанные волосы Дирцеи (вовсе ужъ и не такъ тщательно) меня мало смущаютъ. Напротивъ, они напоминаютъ мнѣ поэтический, необычайно женственный эпизодъ мученичества св. Перепетуи, среди другихъ пытокъ претерпѣвшей и ту, что изображена Семирадскимъ. Звѣри на аренѣ растрепали и вскосматили ей волосы: въ смертельной опасности, мученица улучила, однако, моментъ привести свою прическу въ порядокъ. Когда изумленные ея мужествомъ палачи потребовали объясненія, что это значитъ, Перепетую призналась, что считаетъ неприличнымъ, страдая за Христа, имѣть волосы, всклокоченные, какъ въ знакъ траура; имѣя радость мученичества, надо имѣть и радостный видъ.

Недоразумѣніе третье. Г. Rectus находитъ, что «такъ трактовались картины четверть вѣка назадъ и во Франціи, и въ Германіи, и въ Англіи. Теперь въ Италіи и въ Испаніи пишутъ вдвое виртуознѣе и колоритнѣе». Я не знаю: недостатокъ ли это художника, если онъ пишетъ такъ, какъ писали 25 лѣтъ назадъ во Франціи, Германіи и Англіи? Не достоинство ли, наоборотъ, что онъ не пошелъ подражательно, по модному теченію вѣка — ни въ импрессионизмъ, ни въ символизмъ, ни въ прерафаэлизмъ, пышно развившіеся въ означенныхъ странахъ за эти 25 лѣтъ, а остался самимъ собою — тѣмъ же, что и былъ, реалистомъ съ романтической окраскою, служителемъ красоты, провѣренной строгимъ чувствомъ мѣры? Испанцы, конечно, пишутъ еще ярче, чѣмъ г. Семирадскій, но... въ Италіи-то кто же? Если не считать ди-Грассо, новые итальянскіе художники — такая молчалинская умѣренность и аккуратность въ цвѣтахъ, — такая облизанность въ ри-

сункѣ. А объ испанцахъ тоже надо подождать говорить съ такою рѣшительною опредѣленностью. Прадилла великъ, Галлегасъ и Виллегасъ великолѣпны, Барбудо блистателенъ, но... не знаю, какъ въ Испаніи самой, а на европейскихъ выставкахъ послѣднихъ лѣтъ испанцы выставляли вещи весьма жидковатыя. На той же венеціанской выставкѣ была знаменитая «Смерть тореадора» — вещь въ своемъ родѣ, блистательная. Но южная, чуткая публика все-таки шла мимо ея, какъ и мимо столь напумѣвшей у насъ «Погони за счастьемъ» Рошгросса — къ рѣпинской «Дуэли» и къ «Христіанской Дирцеѣ». Не могу я плѣниться и перспективами, открытыми для живописи успѣхами фотографіи, о чемъ съ такимъ уваженіемъ говорить г. Rectus. Въ нашемъ русскомъ искусствѣ фотографическое вторженіе пока сказалось лишь тѣмъ, что мы потеряли одного великаго жанриста (В. Е. Маковского), который прежде писалъ въ годъ по двѣ великолѣпныя и содержательныя картины, а теперь даетъ на каждую выставку по пятидесяти... крашенныхъ фотографій съ натуры.

Словомъ, — не споря о законности вкуса г. Rectus'а, я позволяю себѣ нѣсколько заступиться и за свой старомодный вкусъ. Чей лучше, — объ этомъ не спорять. Я думаю, что мой, а онъ думаетъ, что его. Каждый при своемъ, конечно, и останемся.. А вѣдь воззрѣнія-то г. Rectus'а на задачи искусства опять привели меня совсѣмъ неожиданно къ тому, чѣмъ я началъ фельетонъ — къ сходству нашего общества съ обществомъ эпохи цезарей. Именно въ это время стала умирать древне-греческая изящная и спокойная красота, выраженіе здоровой и изящной души, — именно въ это время по требованію настроенія общественнаго — начали создаваться статуи, колоссальныя, грозныя, посвященные передачѣ не столько моментовъ психологическихъ, сколько физической боли, пытокъ и казней. Психическія страданія Ніобеи уже не удовлетворяютъ толпу. Потребовались ощущенія острѣе.

Тогда вошелъ въ моду Лаокоонтъ, этотъ «Грозный» античной скульптуры, тогда сталъ приводить критиковъ въ восторгъ Того Farnese, съ котораго копировалъ Неронъ казнь Дирцеи,—исполинскій родосскій мраморъ, любимый дворомъ цезарей не менѣе, чѣмъ г. Rectus'у нравятся «Стрѣльцы».

1898.

III

Позвольте сказать еще нѣсколько словъ о Семирадскомъ,—словъ послѣднихъ и окончательныхъ, по крайней мѣрѣ, съ моей стороны. Г. Rectus опять поѣхалъ въ походъ на даровитаго художника—и уже гораздо болѣе грознымъ Мальбругомъ, чѣмъ въ первой замѣткѣ о «Христіанской Дирцеѣ», на которую отъѣчалъ я. Теперь оказывается уже, что не только «Дирцея» вещь слабая, но и самъ Семирадскій гроша мѣднаго не стоитъ; всю жизнь свою онъ, берясь за сюжеты, огромные, какъ горы, рождалъ изъ нихъ мышей онъ онъ не болѣе, какъ хорошій декораторъ, и въ исторической живописи — величина, равная Сумарокову въ литературѣ. «Грѣшница» — лживая, мертвая театральная сцена, «Свѣточы Нерона» — картина для занавѣса, «Фрина» — невозможная безсмыслица, о «Дирцеѣ» ужъ и говорить нечего. Словомъ—какъ въ «Ревизорѣ»: а если у г. Семирадскаго есть тетка, то чтобъ и теткѣ добра не было!...

Пламенный натискъ на г. Семирадскаго бросаетъ г. Rectus'а въ крайности, которыми онъ самъ того не замѣчая, ставить автора «Дирцеи» на пьедесталь, куда даже самые усердные почитатели и хвалители не дерзали, да и въ мысляхъ не имѣли, возводить талантливаго художника. Г. Rectus увѣряетъ, что красоту человѣческую объяснили искусству не Макартъ и Семирадскій, а Рембрандтъ, Веласкезъ, Мурильо. Совершенно справедливо. Такъ справедливо, что

и объявлять этой новости, пожалуй, не стоило. Болѣе того скажу: я полагаю, что сопоставлять г. Семирадскаго съ Рембрандтомъ, Веласкезомъ, Мурильо—пріемъ врядъ ли основательный. Рембрандтъ, Веласкезъ, Мурильо — міровые геніи, какимъ никто никогда не превозглашалъ г. Семирадскаго, какимъ, по всей вѣроятности, онъ и самъ себя не считаетъ. Г. Семирадскій — просто очень хорошій художникъ, написавшій нѣсколько картинъ на очень интересныя темы красивѣе, чѣмъ пишетъ большинство современныхъ русскихъ художниковъ, и только. Рембрандтъ, Веласкезъ, Мурильо оставили по себѣ школу, наставляющую неофитовъ искусства цѣлые вѣка. Г. Семирадскій — не основатель, а самъ представитель школы и, разумѣется, именно Макарта, на кого г. Rectus ополчается съ гнѣвомъ и ядовитостью, даже нѣсколько комическими: подумаешь, что дѣло идетъ не о теоретическомъ вопросѣ изъ эстетики, а о личной обидѣ г. Rectus'а г. Макартомъ! Макартъ писалъ «стереотипные блины» вмѣсто лицъ, «макартовщина» подлежить истребленію, погибнетъ, исчезнетъ, яко таетъ воскъ отъ лица огня, отъ нея останутся только безобразныя (NB. Вполнѣ согласенъ въ этомъ съ г. Rectus'омъ) макартовскіе букеты... Ну, это скоро, но несправедливо и не милостиво! Думаю, вовсе не будучи большимъ поклонникомъ Макарта, что отъ него останется надолго кое-что и лучше макартовскихъ букетовъ — тѣмъ болѣе, что именно послѣдніе-то и начинаютъ, слава Богу, выходить изъ моды.

Статья г. Rectus'а дышитъ благоговѣніемъ къ «цѣнителямъ искусства» и презрѣніемъ къ «толпѣ», т. е. къ публикѣ. Пробѣгая набросанную г. Rectus'омъ художественную біографію Семирадскаго, я убѣдился, что каждое произведеніе этого мастера неизмѣнно сопровождалось повторными явленіями: полное одобреніе «толпы» и рѣзкій протестъ «цѣнителей». Чѣмъ больше успѣха имѣла «Грѣшница» въ публикѣ, тѣмъ осторожнѣе были

цѣнители и судьи». Привели толпу въ восторгъ «Свѣточи Нерона», — цѣнители опять осторожны. Радуетъ толпа «Фринѣ», — цѣнители уже даже не осторожны, а прямо ругаются. Теперь толпа довольна «Дирцеею», и недовольство цѣнителей на успѣхъ картины изливается устами г. Rectus'a.

Что цѣнители и публика — два разныхъ рода человеческихъ, объединенные лишь одинаковою внѣшностью, унаслѣдованнымъ отъ Адама образомъ и подобіемъ Божіимъ, но враждебные между собою, — дѣло давно извѣстное. Я — публика, толпа. Превратиться въ цѣнителя, собственно говоря, штука не трудная — особенно, по условіямъ не требовательной російской эстетики, — но скучная, а, главное, лишающая счастливыхъ обладателей титула, цѣнителей, возможности непосредственнаго наслажденія тѣмъ самымъ, что они цѣнятъ. Если картина, статуя, стихи, пѣвецъ, актриса производятъ на насъ, публику, извѣстное впечатлѣніе, мы можемъ откровенно и простодушно его высказывать, какъ сужденіе, ни для кого не обязательное, родившееся въ тотъ самый моментъ, когда мы наблюдали заинтересовавшій насъ предметъ искусства. Нравится, — такъ нравится; нѣтъ, — такъ нѣтъ. Цѣнитель — совсѣмъ другое дѣло. У него — воспитанный или, вѣрнѣе сказать, дрессированный вкусъ, у него программа, у него — традиціи, у него — предвзятая теорія. Приближаясь къ произведенію искусства, онъ рѣшаетъ не то — нравится или не нравится ему эта вещь, но, прежде всего, — имѣетъ она право ему нравится или не имѣетъ? согласна она съ его эстетическою програмою или несогласна? Гоголь въ пониманіи искусства былъ толпою, Тургеневъ — цѣнителемъ. Первый посмотрѣлъ «Явленіе Христа народу», пришелъ въ восторгъ, написалъ пылкія строки; посмотрѣлъ «Послѣдній день Помпеи», пришелъ въ восторгъ, написалъ пылкія строки. А Тургеневъ, по этому поводу именно, пишетъ, что Гоголь ровно ничего не смыслилъ

въ искусствѣ, разъ способенъ былъ одинаково горячо привѣтствовать и Иванова, и Брюлова, котораго онъ, Тургеневъ, по своей эстетической программѣ, вычеркнулъ изъ ряда стоящихъ вниманія художниковъ и, потугинскими устами, обозвалъ въ Дымѣ «пухлымъ ничтожествомъ».

Мы съ Rectus'омъ—увы!—не Гоголь съ Тургеневымъ, отъ сего Богъ насъ и Россію миловалъ. Но я говорю объ искусствѣ, какъ публика, а онъ, какъ цѣнитель,—мнѣ нравится, потому что нравится, а онъ сердится, зачѣмъ мнѣ нравится, когда, по его мнѣнію, не имѣетъ права нравиться? И онъ ставитъ мнѣ упрекъ: не понимаешь искусства, не умѣешь «при нордъ-вестѣ отличить сокола отъ цапли!» Свою цѣнительскую программу онъ высказываетъ ясно и опредѣленно: понимаю, говорить, Рѣпина, Васнецова, Полѣнова, Сѣрова, а Семирадскаго не понимаю. Вотъ тутъ-то и сказывается первая выгода быть публикою, а не цѣнителемъ, ибо—въ качествѣ толпы—я, понимая и любя все, что понимаетъ и любитъ г. Rectus, т.-е. Рѣпина, Васнецова, Полѣнова и Сѣрова, имѣю еще удовольствіе понимать Семирадскаго, коего г. Rectus не понимаетъ. Плюсъ художественнаго наслажденія, такимъ образомъ, на моей сторонѣ. И—«пускай слыву я старовѣромъ!»

Соколъ и цапля влетѣли мнѣ при нордъ-вестѣ за то, что я осмѣлился удивиться: что дурного, если г. Семирадскій пишетъ картины свои, какъ писали ихъ пятнадцать-двадцать лѣтъ тому назадъ, — упрекъ, поставленный ему ранѣе г. Rectus'омъ. Послѣдній отвѣчаетъ на мое удивленіе кратко, но нельзя сказать, чтобы уяснительно:

— Какъ, что дурного?—воскликаетъ онъ,—это очень дурно!

Я хотѣлъ было предложить г. Rectus'у вопросъ: ну, а что хорошаго, если—возьму для примѣра художника, одинаково почитаемаго обоими нами,—В. Е. Маковский сталъ теперь писать свои жанры въ небрежно-

фотографической манерѣ, какой не зналъ онъ пятнадцать-двадцать лѣтъ назадъ? Но отлагаю попеченіе, ибо опасаюсь получить возраженіе той же убѣдительности, что и ранѣе:

— Какъ, что хорошаго? Это очень хорошо!

Ipsę dixit... audite verba magistri!...

Подобные инстинктивно-вдохновенные отвѣты иногда эффектны. Сентъ-Илеръ спорилъ съ Кювье и, что называется, притиснулъ его къ стѣнѣ. Кювье, истративъ всѣ свои аргументы, продолжалъ однако упорно твердить.

— Нѣтъ!... нѣтъ!... нѣтъ!... Ложь!.. ложь!.. ложь!..

Сентъ-Илеръ потерялъ терпѣніе.

— Да скажите же, наконецъ, почему ложь?

— Потому, что—неправда!

Этотъ эпизодъ считается величественнымъ, потому что на сценѣ Сентъ-Илеръ и Кювье — люди большей величины. Но, за сто двадцать пять лѣтъ до ихъ спора, Мольеръ записалъ другой ученый диспутъ, гдѣ отвѣтъ былъ поставленъ, хотя à la Кювье, однако впечатлѣніе отъ него получилось совсѣмъ не величественное. Это знаменитый отвѣтъ незабвеннаго *Θомы Діафоріуса*:

*Mihi demandatis, quare
Opium facit dormire,
A celsa respondeo:
Quia est in eo
Virtus dormitiva!*

(Вы спрашиваете меня, почему опиумъ усыпляетъ: отвѣчаю: потому что въ немъ есть снотворная сила!)

Г. Rectus хочетъ увѣрить насъ, что писать, какъ пишетъ Семирадскій, все равно, что сочинять въ концѣ XIX вѣка трагедіи, во вкусѣ Сумарокова. Сказано строго, но несправедливо! Писать сумароковщину, конечно, бессмыслица, но отъ сумароковщины отдѣляютъ насъ не двадцать лѣтъ, какъ отъ манеры Семирадскаго (по увѣренію г. Rectus'a), но сто тридцать, а это—«двѣ большія разницы». Да и эволюція литературная свершила на Руси путь го-

раздо болѣе дальній, сложный, съ гораздо большею стремительностью и скоростью, чѣмъ эволюція живописи. Такъ что, относительно паралели между Сумароковымъ и Семирадскимъ—это, какъ говорится, черезъ борть хвачено. Періодъ сумароковщины русская живопись пережила много раньше не только Семирадскаго, но и Брюлова, къ кому г. Rectus тоже приравниваетъ г. Семирадскаго, чего, на мѣстѣ критика, я, при всей своей симпатіи къ автору «Дирцей», не сдѣлалъ бы.

И вотъ почему. Г. Rectus относится къ Брюлову довольно небрежно, на потугинскій манеръ, хотя и признаетъ въ немъ долю таланта, какъ, впрочемъ, признаетъ онъ ее и въ г. Семирадскомъ. Но вѣдь, при всей небрежности отношенія, г. Rectus не можетъ не знать, что роль презираемаго имъ Брюлова въ русскомъ искусствѣ была совершенно исключительная, какой, по смерти этого художника, уже не пришлось сыграть ни одному изъ его преемниковъ по кисти. Не можетъ не знать, что, положившая начало этой роли, картина «Послѣдній день Помпеи»—хороша ли она, дурна ли—во всякомъ случаѣ, была открытіемъ въ русскомъ художествѣ; это была первая, наша европейская картина; до Брюлова въ Россіи такъ не писали, до Брюлова въ Россіи живопись такъ не интересовала публику, не подвергалась такой жаркой критикѣ, не имѣла значенія вопроса общественнаго. Брюловъ далъ живописи права гражданства въ русскомъ обществѣ, какъ Глинка—музыкѣ. Брюловъ создалъ эпоху, чего послѣ него достигли въ русской живописи врядъ ли не одни лишь «Бурлаки» г. Рѣпина, ибо «Явленіе Христа народу», великое произведеніе, долго неоцѣненное въ своемъ отечествѣ, осталось навсегда стоять въ московскомъ Румянцевскомъ музеѣ какъ-то одиночкою, не создавъ собою школы. Создать ли школу и направленіе другое великое дѣло русской живописи, Владимірскій соборъ, съ Васнецовымъ и Нестеровымъ, мы тому еще не судьи: объ этомъ

заговаривать дѣти наши, какъ мы уже получили право говорить объ Ивановѣ. Безъ Иванова русская живопись имѣла бы огромный пробѣлъ въ спискѣ своихъ сокровищъ, но она мыслима; безъ Брюлова—не мыслима, ибо Ивановъ есть счастливый случай, лотерейный билетъ, на который наше отечество выиграло двѣсти тысячъ, а Брюловъ есть эпоха. Этого значенія г. Семирадскому, конечно, не имѣть: онъ блестящее украшеніе нашего времени, но не художественный символъ его, какимъ былъ Брюловъ для искусства романтической Россіи. Приравнивать Брюлова къ Кукольникову и Марлинскому, поэтому, ошибочно, хотя это уже не новое сравненіе. То были приросты къ русскому искусству; Брюловъ—одинъ изъ корней его.

Надъ знаменитыми въ исторіи картинами судъ потомства—занятіе весьма трудное и двусмысленное.

Дѣло въ томъ, что тутъ толпа страшно рѣзко расходится съ цѣнителями. Былъ я въ Венеціи и встрѣтилъ тамъ поэта Минскаго и одну русскую писательницу по эстетическимъ вопросамъ. Разговорились объ искусствѣ, при чемъ я откровенно высказалъ, что никакой прелести въ прерафаэлитяхъ не вижу,—все какіе-то кривоногіе юноши, селедкообразныя дѣвы и лупоглазые херувимы въ завитыхъ парикахъ. Застыдили меня безвкусіемъ страшно,—настолько, что я нарочно поѣхалъ во Флоренцію осмотрѣть шедевры Сандро Ботичелли въ музеѣ на Via Ricasoli. При этомъ М. и русская эстетка дали мнѣ въ напутствіе такой рецептъ:

— Главное, не поддавайтесь первому впечатлѣнію. Не нравится вамъ,—все равно, сидите передъ картиною часъ, два,—вглядывайтесь. Сегодня не понравится,—завтра опять придите, опять сидите. И, въ концѣ концовъ, достоинства картины выступятъ предъ вами изъ полотна, и вы поймете, что нѣтъ художника, равнаго Ботичелли.

— И такъ предъ каждою картиною?

— Предъ каждою!

— Да вѣдь это надо полжизни убить, чтобы понять вашего Ботичелли?

— Что-жъ такое? Иные и цѣлую жизнь полагали!

Являюсь въ музей, брожу. Богъ послалъ въ товарищи соотечественника—сосредоточенный такой, добросовѣстный туристъ; видимо, далъ себѣ слово осмотрѣть въ путешествіи всѣ подноготныя, предписанныя Бедкеромъ. Смотримъ Ботичелли и молчимъ. Чувствую: ему не нравится. Онъ чувствуетъ: и мнѣ не нравится. Но авторитетъ давить, прослыть безвкусными стыдно,—молчимъ. Вглядываюсь: нѣтъ ея, этой поэзіи, обѣщанной Минскимъ, — все селетки, все парики, все кривыя ноги. Осмотрѣли тринадцать картинъ — переходимъ, со вздохомъ облегченія, — sublime!—въ другой залъ. Вижу какое-то старье на стѣнѣ. справляюсь я въ каталогъ... четырнадцатая картина Ботичелли! Всякому лицемѣрію бываетъ предѣлъ. Я не успѣлъ удержаться отъ жалостнаго восклицанія:

— Господи! что же это? Опять Ботичелли!

А соотечественникъ, обрадованный этимъ воплемъ природы, вдругъ протянулъ мнѣ руку, засверкалъ глазами и—голосомъ чловѣка, изстрадавшагося, озлобленнаго,—прошипѣлъ:

— Нѣтъ-съ, я вамъ доложу, есть у нихъ тутъ еще какой-то Фра Беато Анджелико... вотъ тоже подлець-то!

Я чуть не умеръ отъ смѣха: сколько лицемѣрія нагоняютъ на нашего брата Бедкеры и ихъ цѣнительскій гипнозъ! Замѣчательно, что всѣ эти знаменитыя картины никогда не смотритъ итальянская толпа, вообще, очень охочая блуждать по даровымъ музеямъ; никогда никого въ старинныхъ галлерейхъ—кромѣ иностранцевъ, т. е. людей, обреченныхъ кодексомъ путешествія на казнь посредствомъ «цѣнительской живописи».

Я рассказалъ этотъ маленькій эпизодикъ, разумѣется, не къ умаленію достоинствъ Ботичелли, до пониманія ко-

торыхъ, правъ былъ М., я дѣйствительно, досидѣлся-таки въ послѣдствіи,—но въ примѣръ того, какъ цѣнительскіе вкусы обособились отъ вкусовъ толпы, и—либо они, либо симпатіи публики, что нибудь изъ двухъ всегда въ извращеніи. Цѣнители думаютъ, что толпа мыслить чувственно и грубо, что ея духовная часть извращена и подсказываетъ ей симпатіи ложныя, подлежащія искорененію. Тотъ же самый М. съ своею спутницею прямо съ сожалѣніемъ смотрѣли на меня, когда я хвалилъ красоты Веронеза, Тициана, Джуліо Романо. Толпа думаетъ, что у цѣнителей умъ зашелъ за разумъ и, хотя, по модѣ, иной разъ подчиняется ихъ гипнозу, но втайнѣ—никогда не съ ними.

Мнѣ думается, что отрицать вкусъ, который толпа обнаруживаетъ сама по себѣ, по собственному инстинкту, и навязывать ей вкусы, диктуемые теоретическимъ цѣнительствомъ,—историческая несправедливость. Если заглянуть вглубь исторіи искусствъ, мы неизмѣнно видимъ: всѣ долговѣчные ихъ шедевры были оцѣнены толпою по достоинству—хоть не тонко, да зато прочно, хоть не по критическому сознанію, зато по вѣчному инстинкту правды и красоты, смутно живущему въ массахъ. Фидій, Пракситель, Лизиппъ, Леонардо да-Винчи, Рафаэль, Микель Анджело, Делакруа, Брюловъ, Ивановъ были оцѣнены толпою такъ же, какъ и цѣнителями, если не въ большей еще мѣрѣ. Напримѣръ, художники Возрожденія были прямо какими-то полубогами для своихъ согражданъ. Цѣнители-меценаты и товарищи-критики довели Доменико Зампieri до голодной смерти, захуливъ его картины, противорѣчившія началамъ модной тогда неаполитанской школы, а толпа реабилитировала память художника, любя его живопись настолько горячо и постоянно, что и цѣнители должны были признать, наконецъ, въ Доменикино колоссальнаго художника и ввести его въ пантеонъ славы, рядомъ съ Рафаэлемъ и кровнымъ врагомъ покойнаго Зампieri—Рибейрою-Спаньолетто. Когда китайцу предлагаютъ какое

нибудь-новое лекарство, онъ, говорятъ, задаетъ первый вопросъ: сколько тысячъ лѣтъ имъ лечатся? И если мнѣ одной тысячи, отказывается принять снадобье, какъ неоправданно давностью. Когда мнѣ говорятъ о знаменитомъ произведеніи искусства, мнѣ всегда хочется à la chi-pois спросить: а сколько лѣтъ его извѣстности, интересу къ нему публики? Знаменитая картина Брюлова прогремѣла на всю Европу, толпа признала ее полубожественною, критика забракковала—un oeuvrе manqué. Но вотъ какая странность. Прошло 50 лѣтъ, за это время Русь видѣла тысячи картинъ, породила сотни художниковъ. И, несмотря на то, нѣтъ имени въ искусствѣ, болѣе популярнаго на Руси, чѣмъ имя Брюлова, и именно въ связи съ «Послѣднимъ днемъ Помпеи». Картина страшно устарѣла для насъ, въ ней трудно найти что либо интересное зрителю, знакомому уже съ Ивановымъ, Рѣпинымъ, Васнецовымъ, Маковскимъ, Семирадскимъ и такъ далѣе. Почему же ее такъ знаютъ, такъ помнятъ?.. Значить, сказала она въ свое время что-то массѣ и сказала такъ внушительно, что надолго заставила слова свои запомнить. Если г. Rectus, сравнивая Семирадскаго съ Брюловымъ, напророчить г. Семирадскому историческую судьбу перваго, автору «Дирцеи» останется лишь благодарить боговъ за сходство со своимъ прототипомъ. Пятьдесятъ лѣтъ извѣстности художника, полвѣка значенія въ жизни искусства,—огромный срокъ по современному быстрому ходу живописи. Я не смѣю предположить, чтобы «Дирцея» — захаянная цѣнителями, но возлюбленная толпою — обладала жизнеспособностью брюловскихъ полотенъ, подъ уровень которыхъ подгоняетъ ее г. Rectus. А, можетъ быть?—вдругъ прожить? И вдругъ—въ 1948 году какойнибудь Rectus-потомокъ поправить судъ Rectus'а надъ «Дирцеею», какъ теперь самъ Rectus поправляетъ судъ Rectus'овъ-предковъ надъ «Послѣднимъ днемъ Помпеи» и, хотя свысока, но все же признаетъ достоинства въ Семирадскомъ, какъ тотъ признаетъ ихъ уже теперь въ Брюловѣ?

Итакъ—Брюловъ и Макартъ: вотъ компанія, въ которую г. Rectus рѣшается помѣстить г. Семирадскаго. Оба г. Rectus'у антипатичны, но... компанія, все таки, болѣе, чѣмъ недурная. Особенно, если помѣстить сюда же и Дорэ, который, по словамъ г. Rectus'а, обезобразилъ евангеліе, что, какъ извѣстно, не мѣшаетъ быть библии Дорэ наиболѣе распространеннымъ иллюстрированнымъ изданіемъ въ мірѣ. Г. Rectus общается—и очень смѣло—съ самоувѣренной категоричностью объяснить намъ, почему онъ считаетъ Семирадскаго художникомъ старомоднымъ, но, сказавъ два-три слова въ этомъ направленіи, забываетъ обѣщаніе и самъ проситъ какихъ-то объясненій. А сказанныхъ два-три слова сводятся къ тому, что въ картинѣ есть недостатки. Да кто же говорить, что ихъ нѣтъ? Недостатки есть и въ новомодныхъ, и въ старомодныхъ картинахъ. И, въ концѣ-концовъ, опять: нехорошо, потому что нехорошо... *Opium facit dormire, quia est in eo virtus dormitiva!*

Г. Rectus полагаетъ, будто разнообразіе толковъ объ экспрессіи дѣйствующихъ лицъ «Дирцей»—прямое доказательство слабости картины. «Экспрессія должна быть ясна, какъ день, не возбуждая никакихъ сомнѣній». Положимъ даже, что должна. Но должна—вѣдь, это идеаль, какъ все должно. А былъ ли гдѣ и когда нибудь идеаль этотъ осуществленъ практически? Была ли картина, которую признавали всѣ, безъ исключенія, совершенно точно изображающею свой сюжетъ? Единство впечатлѣнія отъ художественнаго творчества вещь недостижимая во всѣхъ отрасляхъ искусства. Что было спора, рѣзкихъ столкновений, крупной полемики изъ-за рѣпинскихъ «Бурлаковъ» и «Запорожцевъ», изъ-за Васнецовскаго Владимірскаго собора въ Кіевѣ, изъ-за статуи Антокольскаго! А Фигнеръ и Мазини? А «кучка» и Рубинштейнъ, Чайковский и *tutti quanti*? А Тина ди-Лоренцо? Да что далеко ходить? испробуйте хоть сейчасъ, читая эти строки, вѣрнѣйшее средство вызвать бурю истинно петербургскаго

художественнаго разногласія: похвалите или похулите—какъ вамъ больше нравится—среди своего семейства и дружескаго кружка игру какой нибудь артистки. Немедленно восторженные поклонники и ожесточенные противники поднимуть такую полемику, такъ «оживятъ вечеръ», что хоть зажимай уши и бѣги вонъ. Нѣтъ, споры о художественномъ явленіи—не свидѣтельство его непригодности. а, напротивъ, доказательство, что оно «попало въ точку», что оно по плечу эпохѣ и живо его заинтересовало. И, конечно, въ отношеніи картины Семирадскаго это, въ особенности, справедливо: уже лѣтъ десять ни одно новое созданіе искусства не возбуждало столько интереса къ себѣ, не порождало такихъ усердныхъ споровъ, противорѣчій. «Христіанская Дирцея» оживила сезонъ. Это—Фигнеръ выставокъ 1898 года.

Брюловъ, Макартъ, Дорэ и Семирадскій—таковы четыре угла, намѣченные г. Rectus'омъ. Я съ его намѣткою вполне согласенъ: большаго я для г. Семирадскаго въ статьяхъ своихъ не искалъ. Мурильо же, Веласкесовъ и Рембрандтовъ оставимъ спать въ ихъ гробахъ, не безпокая втуне сихъ славныхъ мертвецовъ: они тутъ ни къ чему. Вотъ все, кажется, что хотѣлъ я сказать г. Rectus'у,—и думаю, что на этомъ мѣстѣ мы можемъ завершить нашу семирадскую войну, затянувшуюся чуть не въ цѣлую семилѣтнюю.

1898 г.

Ник олай Петровичъ Рощинъ-Инсаровъ.



Безвременно—отъ роковой пули ревниваго, оскорбленнаго мужа—угасла жизнь одного изъ талантливейшихъ представителей русской сцены — Н. П. Рощина-Инсарова. Петербургъ его зналъ мало, но для провинціи и для Москвы это имя — родное и огромное. Москва, въ отношеніи сценическихъ репутацій, консервативнѣе Петербурга. Здѣсь артистъ легко дѣлается любимцемъ города, центромъ общественнаго вниманія, еще не будучи заштемпованъ тавромъ казенной сцены. Въ Москвѣ артистъ, который еще не увѣнчанъ Малою сценою, все какъ будто недоуѣланъ, все — полуартистъ. Будь онъ хоть семи пядей во лбу, а передъ актеромъ Малаго театра ему приходится сторониться, и если онъ, сторонясь, не выказываетъ особаго почтенія и усердія, москвичъ широко открываетъ глаза ¹⁾.

— Какъ же, молъ, такъ? Вотъ ты, братецъ, и талантъ, а невѣжа: мѣста своего не знаешь. Вѣдь предъ тобою не кто-нибудь, а Михаилъ Провычъ, Осипъ Андреевичъ, Александръ Палычъ...

— Да позвольте,—азартно возражаетъ знаменитость изъ частнаго театра,—чѣмъ же я хуже ихъ?!

— Не хуже, а... всякъ сверчокъ знай свой шестокъ!

— Кажется, мое дарованіе всѣмъ извѣстно.

— Дарованія твоего у тебя никто и не отнимаетъ, но...

¹⁾ Писано въ 1898 году. Теперь Московскій Художественный театръ все это измѣнилъ. (1905).

не токмо, что актеръ отъ актера, но и звѣзда отъ звѣзды разнствуетъ въ славѣ своей.

— Да что вы мнѣ рассказываете? Я вашихъ Провычей и Андреичей—когда гастролирую въ провинціи—вотъ какъ крою: безъ остатка!

— Ха-ха-ха!

— Что же тутъ смѣшного?

— Да если ты небылицы въ лицахъ рассказываешь?

— Хотите,—рецензіи представляю? Отчеты о сборахъ?

— Ха-ха-ха! Небось, больше успѣха имѣлъ?

— Больше.

— Хе-хе-хе! и денегъ больше заработалъ?

— Больше.

— Ну, и гораздо же ты, парень, враты! Хоть бы глазомъ моргнуть!

— Послушайте...

— Нечего мнѣ слушать. Ты лучше вотъ что скажи: коли ты такой актеръ прекрасный, отчего же тебя въ Малый театръ не зовутъ?

Петербургъ освоился съ тѣмъ, что серьезная артистическая величина, крупное дарованіе, эффектная женщина и т. д. могутъ ютиться и развиваться и не подъ порталомъ Александринскимъ; для Москвы параллельная мысль о Маломъ театрѣ—художественная ересь. Если, напр., сравнить интересъ петербургскаго общества къ именамъ г-жи Яворской, г. Орленева, г. Михайлова, В. П. Далматова,—и интересъ москвичей къ именамъ соотвѣтственныхъ названнымъ артистическихъ величинъ на частныхъ сценахъ, то вся выгода положенія окажется на сторонѣ петербургскихъ артистовъ. Быть можетъ, потому-то Петербургъ въ послѣдніе годы и сталъ городомъ гораздо болѣе театральнымъ, чѣмъ Москва, въ смыслѣ обилія и организаціи въ немъ проживающихъ артистовъ. Озирая мысленно петербургскій артистическій горизонтъ, я сейчасъ могу насчитать десятка полтора провинціальныхъ звѣздъ, уже погасшихъ или пога-

сающихъ, не у дѣлъ находящихся или при маленькихъ дѣлахъ, но съ громкими именами, способными, по старой памяти, служить, если не приманкою, то украшеніемъ любой афиши. Въ Москвѣ—не припомню ни одной. Очевидно, имъ тамъ нечего дѣлать, и онѣ перекочевываютъ, въ концѣ карьеры, на почетный покой къ невскимъ водамъ.

Исключеній изъ московскаго правила малаго уваженія къ представителямъ частныхъ сценъ я припоминаю весьма немного. Ужъ на что любимцемъ публики былъ В. Н. Андреевъ-Бурлакъ, — актеръ почти геніальный, — а и тому только-что не пеняли, когда онъ неудачно дебютировалъ въ Маломъ театрѣ.

— Вотъ видишь, Василій Николаевичъ, что значить соваться въ воду, не спросясь броду!.. Это тебѣ не Казань и не Коршъ! Тутъ, друже, тра-ди-ці-и!.. Голымъ талантомъ немного возьмешь.

Къ числу исключеній столь рѣдкаго свойства, безспорно, надо отнести, однако, покойнаго Н. П. Рощина-Инсарова. Наѣзжалъ онъ въ Москву или, вѣрнѣе, сказать, подъ Москву лѣтомъ, гастролировалъ гдѣ попало, въ Богородскомъ, въ Кусковѣ, Царицынѣ, конкурируя съ премьерами казенныхъ сценъ и, дѣйствительно, въ большинствѣ случаевъ, «крылъ ихъ безъ остатка». Это былъ божокъ публики — особенно дамской. И можно смѣло утверждать, что завиднымъ успѣхомъ своимъ покойный Николай Петровичъ никакимъ инымъ стороннимъ ухищреніямъ, кромѣ огромнаго таланта, искры Божьей, неугасимо горѣвшей въ душѣ его, обязанъ не былъ. Говорятъ, въ ранней юности онъ былъ очень красивъ собою. Но я помню Н. П. Рощина еще любителемъ въ московскомъ Нѣмчиновскомъ театрѣ: даже чуть ли не пришлось намъ съ нимъ участвовать вмѣстѣ въ какой-то благотворительной затѣѣ, — и уже тогда въ наружности Рощина было больше данныхъ противъ сцены, чѣмъ за сцену. Длинное, нѣсколько, что называется, лошадиное лицо Рощина не

отличалось подвижностью. «Ахъ, сколько у тебя челюстей!» — подтрунивалъ надъ Роцинымъ одинъ нашъ общій пріятель, маленькій актеръ, нынѣ уже умершій. Челюстей было, дѣйствительно, много и—вдобавокъ—зубы въ нихъ сидѣли черные, какъ уголь. Со зломъ этимъ, отпущеннымъ ему природою, разстаться и замѣнить его благомъ, фабрикуемымъ дантистами, Роцинъ не рѣшался очень долгіе годы. Лѣтомъ 1897 года встрѣтилъ я въ поѣздѣ знакомаго кіевлянина.

— Что новаго у васъ въ Кіевѣ?

— Роцинъ-Инсаровъ франтомъ сдѣлался.

— Да ну?!

— Зубы себѣ вставилъ и пересталъ носить вѣковѣчныя сѣрыя панталоны!

Скупостью на зубы и на туалетъ Роцина-Инсарова часто дразнили, хотя дѣло тутъ зависѣло, разумѣется, не отъ скупости, а—въ первомъ случаѣ—отъ боязни физической боли, во второмъ же, я полагаю, просто отъ бѣдности Роцина-Инсарова. Да, какъ ни странно звучитъ это слово, а надо его употребить. Одинъ изъ лучшихъ актеровъ въ Россіи, человѣкъ, получавшій едва ли не высшій окладъ, какой когда-либо платился мужчинѣ на частной сценѣ, Роцинъ-Инсаровъ былъ бѣденъ. Онъ зарабатывалъ, я думаю, тысячъ двадцать въ годъ, работая почти безъ отдыха, не зная перерывовъ, и никогда у него не было ни гроша въ карманѣ.

Помню, встрѣтились мы за границею, въ Аграмѣ, и затѣмъ сдѣлали вмѣстѣ путь до Буда-Пешта. Дорогою разговаривались о казенной сценѣ.

— Отчего вы, Николай Петровичъ, не перейдете? Попробовали бы?

— Не стоитъ.

— Неужели вы боитесь, что не возьмутъ?

— Нѣтъ, взять-то, конечно, возьмутъ, и разговоры о томъ были неоднократно...

— Еще бы не взять! Молодого артиста съ такимъ разнообразіемъ амплуа, съ такою законченностью ролей нѣтъ ни въ Александринкѣ, ни въ Маломъ...

— Мнѣ не стоять.

— Но вѣдь, обыкновенно, всѣ рвутся на казенную сцену?

— Рвутся, кому покой нуженъ, кому положенія почетнаго хочется, и кому надо денегъ меньше, чѣмъ мнѣ. Что мнѣ дастъ Императорская сцена? Тамъ нѣтъ мужского оклада больше 8,000 рублей, да и его сразу не положить — сперва, поди-ка, послужи. Кіевъ и Одесса даютъ мнѣ тысячъ двѣнадцать и все-таки я, чѣмъ бы отдыхать послѣ сезона, вынужденъ мыкаться по гастроямъ, потому что безъ нихъ мнѣ дышать нечѣмъ. Вѣрите ли: въ первый разъ за всю свою карьеру я позволилъ себѣ проѣхаться за границу, на мѣсяцъ... ну, и глупость сдѣлалъ.

— Что такъ?

— Средствъ не хватило.

Что не замедлило обнаружиться. Надо сказать, что въ Аграмъ Роцинъ попалъ совершенно случайно — по разсѣянности. Дешевизны ради, онъ взялъ круговой билетъ, съ которымъ, по слабому знанію нѣмецкаго языка и полному незнанію языка венгерскаго: кто его знаетъ?! — онъ трижды попадалъ на неподходящія линіи и поѣзда.

— Чортъ знаетъ, что такое! — негодовалъ онъ, — сяду въ вагонъ, везутъ куда-то... Ревизія билетовъ; приходитъ костюльщикъ, бормочетъ что-то, мотаешь головой: цурюкъ! — и опять везутъ въ Аграмъ... А за цурюкъ — пожалуйста денежки. Кажется, съ прибавками этими, я не доѣду до Россіи.

Стали считать: дѣйствительно, только-только въ обрѣзъ добраться отъ Буда-Пешта до границы по третьему классу, при условіи строжайшаго сухоядѣнія. Гдѣ тонко, тамъ и рвется. Когда пріѣхали въ Буда-Пештъ, оказалось, что Роцинъ опять перепуталъ поѣзда, и багажъ его заслали въ

Офенъ, откуда доставить вещи лошадыю стоитъ флориновъ 5—6... а, главное, пока трегеръ привезетъ вещи, поѣздъ уйдетъ—и изволь сидѣть цѣлый день лишній въ чужомъ городѣ. А это денегъ стоить, ибо нельзя же быть двадцать четыре часа, «не пимши—не ѣмши».

— Господи! ну, что вы прикажете дѣлать съ этимъ человѣкомъ?!—воскликала сопровождавшая Рощина-Инсарова дама. Это—впрочемъ, плеоназмъ: «сопровождавшая Рощина-Инсарова дама»... когда же его не сопровождала?

Я предложилъ Николаю Петровичу занять денегъ у меня, но онъ пожелалъ сперва узнать, сколько у меня съ собою, и когда увидалъ, что я возвращаюсь тоже довольно на легкѣ, наотрѣзъ отказался «стѣснять» меня:

— А вдругъ какая-нибудь случайность въ дорогѣ? заболѣте, Боже сохрани, или другое что-нибудь? Нѣтъ, я ужъ лучше въ Буда-Пештѣ задержусь, а въ Одессу пошлю телеграмму—пусть Соловцовъ выручаетъ.

Въ странномъ, на первый взглядъ, повседневномъ безденежѣ Рощина отчасти, конечно, повинна была безалаберность его характера и образа жизни, но только отчасти. При томъ же добръ и щедръ онъ бывалъ, при деньгахъ, прямо до расточительности, чѣмъ многіе пользовались. Главнымъ образомъ обирали его кредиторы его юности. Рощинъ-Инсаровъ (Пашенный)¹⁾ принадлежалъ къ хорошей дворянской семьѣ, имѣлъ когда-то прекрасное состояніе и, до сцены, состоялъ въ военной службѣ—въ сумскихъ гусарахъ. Состояніе онъ, что называется, ухнулъ,—зато долгами обзавелся на всю жизнь, уплачивая ихъ съ полною добросовѣстностью цѣлыя пятнадцать лѣтъ. Можно съ увѣренностью сказать, что Рощинъ-Инсаровъ

¹⁾ Весьма многіе были увѣрены, что фамилія Рощина-Инсарова—иностранныя: Пашино. Происхожденіе этого мнѣ разъяснилъ мнѣ письмомъ одинъ изъ товарищей покойнаго по Николаевскому кавалерійскому училищу.

почти не работалъ на себя самого: его трудъ былъ достояніемъ его кредиторовъ. Его вѣчно кто-нибудь держалъ за горло. Онъ получалъ мѣсячное жалованье, раздавалъ его съ рукъ на руки, а самъ отправлялся закладывать бенефисный портсигаръ, даръ «отъ восторженной публики», чтобы возстановить свой кредитъ въ табачномъ магазинѣ. «Въ училищѣ,—пишетъ г. Т.,—покойнаго Николая Петровича всѣ товарищи очень любили. Это былъ красавецъ въ полномъ смыслѣ слова: хорошій ростъ, прекрасно сложенъ, стройный, съ удивительнымъ цвѣтомъ лица. Онъ считался отличнымъ ѣздокомъ. За ѣзду и видную наружность его не разъ посылали, во время разводовъ въ Михайловскомъ манежѣ при императорѣ Александрѣ II, въ качествѣ ординарца отъ эскадрона къ Государю. Послѣдній годъ пребыванія въ училищѣ онъ числился въ ординарческой смѣнѣ. Со временъ Лермонтова, въ школѣ, въ наши годы, свято хранились лермонтовскія традиціи; поэтому, какъ въ эпоху Лермонтова, который самъ слылъ въ школѣ подъ прозваніемъ «Маѣшки», принято было давать клички любимымъ товарищамъ. Клички эти такъ прививались, что весьма часто настоящая фамилія воспитанника оставалась лишь въ обращеніи съ начальствомъ; изъ товарищескаго обихода она совершенно исчезала. Покойному Н. П., за красоту и изящество, дана была кличка «маркизь Пашинѣ». Еще въ училищѣ Н. П. былъ страстнымъ театраломъ. Не разъ онъ, безъ вѣдома начальства, участвовалъ въ любительскихъ публичныхъ спектакляхъ и не разъ отсиживалъ за это подъ арестомъ. Отличительною чертою характера «маркиза Пашинѣ», въ школьные годы, было полное презрѣніе къ деньгамъ и дѣтское отношеніе къ нимъ, при широкой, русской натурѣ, соединенной съ рѣдкою добротою и ребяческою довѣрчивостію. Когда у него бывали деньги, онъ раздавалъ ихъ направо и налево, шутя, точно у него были миллионы. «Его всѣ любили,—женщины въ особенности. Да и нельзя было его не любить.

Его мягкая, нѣжная патура всегда находила откликъ въ женскомъ сердцѣ. Къ нему замѣчательно подходила характеристика изъ пьесы «Блуждающіе огни»: по натурѣ, Роцинъ-Инсаровъ, какъ Максъ Холминъ, «самъ былъ похожъ на женщину». И даже актерская среда его не измѣнила».

Такъ вертѣлся онъ круглый годъ. Другой, въ такихъ обстоятельствахъ, впалъ бы въ уныніе, не безъ основанія почитая всю жизнь свою отравленною. Но Роцина-Инсарова выручала ровная веселость, какая-то фаталистическая безпечность характера. Въ немъ было много «Испанскаго дворянина» — джентльмена, который и въ дырявомъ плащѣ достоинство свое явить и потому дыряваго плаща за бѣдствіе отнюдь не считаетъ. «И въ рубищѣ почтенна добродѣтель!» какъ говоритъ Телятевъ, котораго Н. П. Роцинъ, къ слову сказать, игралъ прекрасно и... очень похоже на себя самого.

Эта черта достоинства, благородства натуры была, быть можетъ, самымъ сильнымъ изъ магнитовъ, которыми Роцинъ-Инсаровъ привлекалъ публику. Выходить на сцену человекъ, довольно небрежно одѣтый, не особенно красивый, съ дурнымъ, хриплымъ голосомъ, — но пробылъ онъ на сценѣ пять-шесть минутъ, и театръ весь — уже подъ его обаяніемъ.

Одна великая русская актриса говорила мнѣ:

— Не люблю я NN, — она назвала фамилію извѣстнаго столичнаго жеппе premier.

— За что? развѣ не талантливъ?

— Нѣтъ, очень способный, только...

— И гардеробъ у него превосходный, и манеры онъ усвоилъ изящныя.

— Правда.

— Что же вы имѣете противъ него?

— Да всякій разъ, какъ онъ играетъ графа или князя какого-нибудь, — мнѣ все кажется, что сапоги-то у него

лаковые, а вотъ — лопни сапогъ, и полѣзеть изъ дыры солдатская онучка...

Вотъ этой-то не подходящей подкладки къ лаковому сапогу и не чувствовалось никогда у Рощина-Инсарова, что, увы! не о многихъ русскихъ jeunes premiers сказать возможно. Подобно знаменитому Милославскому, и впоследствии Киселевскому, Рощинъ-Инсаровъ слылъ и, дѣйствительно, былъ «баринѣмъ» на сценѣ. Пока онъ игралъ любовниковъ, черта эта, по преимущественному обилію въ репертуарѣ восьмидесятихъ годовъ такъ-называемыхъ рубашечныхъ ролей, сказывалась съ меньшею яркостью, чѣмъ впоследствии, когда Николай Петровичъ сталъ понемногу переходить на роли резонеровъ. И — странный контрастъ! Когда онъ былъ любовникомъ, — онъ покорялъ слушателей богатымъ запасомъ того яркаго, искренняго увлеченія, что актеры обобщаютъ подъ терминомъ «нугра». Уже въ позднѣйшее время, въ Кіевѣ, у Соловцова, первый спектакль пресловутой «Второй молодости» не былъ конченъ, благодаря слишкомъ сильной игрѣ Виталія — Рощина: въ сценѣ прощанія его съ матерью (г-жа Глѣбова) въ залѣ раздались истерическіе крики и голоса: «довольно!», т.-е. повторилось то же самое, что на первомъ представленіи «Татьяны Рѣпиной» въ Москвѣ вызвала могучая игра М. Н. Ермоловой. Но «нутру» своему — этой альфѣ и омегѣ вдохновенія иныхъ артистовъ — Рощинъ-Инсаровъ никогда не довѣрялся. «Наблюдая Рощина-Инсарова въ теченіе многихъ лѣтъ, — пишетъ одинъ кіевскій критикъ, — я не могъ не замѣтить, что при безалаберной жизни и частыхъ увлеченіяхъ, столь свойственныхъ, впрочемъ, молодости, артистъ все же всегда серьезно относился къ искусству, и замѣчалъ я это не только по тѣмъ громаднымъ успѣхамъ, которые онъ дѣлалъ на сценѣ, но и въ исполненіи одной и той же роли: съ каждымъ разомъ роль выдвигалась имъ рельефнѣе и яснымъ становилось, что, исполняя извѣстную роль, онъ все продолжаетъ ее изучать, старается

найти въ ней новые перлы, которые раньше не были имъ замѣчены». Въ результатъ такой упрямой работы надъ собою, бывшій артистъ «нутра по преимуществу» создалъ изъ себя, шагъ за шагомъ, наиболѣе тонкаго деталиста, каковаго удалось мнѣ видѣть на русской сценѣ восьмидесятихъ и девяностыхъ годовъ. Чѣмъ остроумнѣе, изящнѣе была роль, тѣмъ лучше игралъ ее Роцинъ-Инсаровъ, тѣмъ глубже врывался онъ въ ея матеріалъ и тѣмъ старательнѣе шлифовалъ. Роль графа Траста въ «Чести» онъ игралъ ничуть не слабѣе ея знаменитаго создателя, Эрнста Поссарта. Характеры отрицательные онъ воспроизводилъ удивительно интересно — именно съ какимъ-то суровымъ «холодомъ вдохновенья». Злой, властный, безсердечный человѣкъ всегда либо противень, либо каррикатурень и скучень на сценѣ. Роцинъ-Инсаровъ, своею благородною манерою, умѣлъ придавать отрицательнымъ типамъ интересъ, смыслъ, правдоподобіе; между прочимъ, онъ превосходно игралъ царя Бориса—того самаго Бориса, коего петербургская публика видѣла на Александринской сценѣ, но... «рукопись съю читала, а игры по ней не одобрила». М. В. Дальскій рассказывалъ мнѣ, что Роцинъ встрѣтился съ нимъ въ Одессѣ, по цѣлымъ ночамъ анализировалъ передъ нимъ роль «Царя Бориса». Это былъ работникъ, какихъ мало, — представитель не только таланта, но и благоговѣйнаго къ нему отношенія. Добился ли онъ трудомъ своимъ побѣды надъ толпою? Уже одно то обстоятельство, что смерть Роцина-Инсарова явилась для двухъ городовъ, гдѣ онъ чаще всего игралъ (Одессы и Кіева), общественнымъ, гдѣ не всенароднымъ горемъ, представляется мнѣ достаточнымъ отвѣтомъ.

Я драматургъ очень немного и не знаю процесса, какъ пишутъ для сцены другіе авторы. Когда мнѣ случалось обдумывать характеръ того или другого дѣйствующаго лица, въ памяти моей немедленно воображалось и лицо

того актера или актрисы, мнѣ извѣстныхъ, которыхъ мнѣ хотѣлось бы когда-нибудь посмотрѣть въ этой будущей роли, потому что она сходится съ ихъ артистическою индивидуальностью. Затѣявъ «Отравленную совѣсть», я все мечталъ увидать когда-нибудь въ роли Ревизанова именно покойнаго Н. П. Рощина-Инсарова (хотя петербургскій исполнитель г. Бравичъ былъ въ ней очень хорошъ). Дѣйствительно, какъ передавали мнѣ очевидцы, Рощинъ-Инсаровъ игралъ эту роль блистательно, и въ его некрологахъ она отмѣчена.

Жаль, глубоко и искренно жаль эту огромную силу, такъ рано отнятую у русскаго искусства нелѣпою любовною исторіей. «У счастливаго недруги мрутъ—у несчастнаго другъ умираетъ». Русская сцена въ послѣдніе годы теряетъ одну силу за другою: Чужбиновъ, Киселевскій, Самойловъ-Мичуринъ, Рощинъ-Инсаровъ—все это некрологи одного года, на самыхъ короткихъ промежуткахъ. И все смерти какія-то внезапныя, какія-то «напрасныя», какъ выражается народъ русскій. Но смерть Рощина-Инсарова, по трагизму своему, страшнѣе всѣхъ: это — финалъ «Каменнаго Гостя», пожатіе десницы командора...

Оставь меня, пусти, пусти мнѣ руку!..

Я гибну—кончено... о, донна-Анна!..

А, впрочемъ, Рощинъ-Инсаровъ долженъ былъ кончить какъ-нибудь въ этомъ родѣ, не могъ кончить иначе. Распространяться на эту тему неудобно, но—развѣ—подъ револьверомъ безумнаго Малова—въ первый разъ ставилъ опъ на карту всего себя, и карьеру, и имя, и самую жизнь свою, ради увлеченія женщиной? При всемъ его добродушіи, легкомысліи, поверхностномъ взглядѣ на жизнь, въ немъ было что-то фатальное. Онъ напоминалъ барича XVIII вѣка, который со спокойнымъ духомъ выпивалъ изъ отпущеннаго ему судьбою бокала всю *joie de vivre*, а затѣмъ, столь же спокойно и улыбаясь, падалъ серд-

цемъ на шпагу бреттера или умиралъ подъ ножомъ оскорбленнаго мужа.

Умеръ Рощинъ твердо, съ характеромъ, съ выдержкою своего природнаго добродушія и безпечнаго фатализма. Онъ былъ убитъ не на поваль; пуля застѣла въ затылкѣ, и артистъ долго мучился. Пока не потерялъ сознанія, онъ просилъ окружающихъ ходатайствовать за его убійцу.

Странное совпаденіе! Какъ-то разъ, возвратясь изъ Италіи, я привезъ нѣсколько снимковъ съ знаменитой картины Гроссо, тогда еще новинки, — «Послѣднее свиданіе»: Донъ-Жуанъ въ гробу, окруженный женщинами, которыхъ онъ любилъ и бросилъ, — осколки знаменитыхъ *mille e tre*, оставшіеся вѣрными своему рыцарю. Одинъ снимокъ я подарилъ Рощину-Инсарову, съ надписью изъ Кузьмы Пруtkова: «Другъ мой! удивляйся, но не подражай!» Онъ взглянулъ на картину, сдѣлалъ гримасу и говорить: «охота вамъ везти изъ-за тридевяти земель такіе ужасы!»... Теперь и его уложили въ гробъ, — и много на Руси женскихъ сердецъ сжимается тоскою по легкомысленномъ, но увлекательномъ другѣ мимолетнаго прошлаго...

1898.

Даведъ Васильевичъ Шейнъ.

Къ концу вѣка смерть съ особымъ усердіемъ выбираетъ изъ строя живыхъ тѣхъ людей вѣка, которые были для него особенно характерны. XIX вѣкъ былъ вѣкомъ націоналистическихъ возрожденій, «народничества», по преимуществу. Я не знаю, передастъ ли XX вѣкъ XXI-му народническіе завѣты, идеалы, убѣжденія хотя бы въ третьей огромной цѣлости, съ какою господствовали они въ наше время. Исторія неумолима. Легко быть можетъ, что, сто лѣтъ спустя, и мы, русскіе, съ необычайною нашею способностью усвоенія сосѣднихъ культуръ, будемъ стоять у того же историческаго предѣла, по которому прошли теперь государства Запада. Народъ исчезаетъ, какъ народъ, и остается платежно-государственная масса.

Когда тастъ народъ, тають и народники, мечтавшіе задержать его таяніе. Бѣдный П. В. Шейнъ! Смерть его, издавна больного, на костыляхъ, человѣка, ни для кого не явилась неожиданностью. Умеръ, именно, можно сказать, «въ предѣлѣхъ земномъ, свершивъ все земное». И—все-таки, при всемъ сознаніи естественной необходимости этой смерти, жаль, необычайно жаль. Отчего? Почему разумъ, говорящій объ естественности явленія, не можетъ въ такихъ случаяхъ заглушить голоса инстинкта, вѣщающаго объ его прискорбности? Я думаю,—потому, что смерть такихъ людей, какъ Шейнъ, является намъ, прежде всего, не какъ ихъ личная смерть, но какъ символъ общаго конца ряда большихъ феноменовъ, смерти цѣлой эпохи, которой они были представителями. Вы чувствуете себя на границѣ

историко-культурнаго періода. Goetterdaemmerung. Одни боги уходятъ изъ міра, изгнанные, чтобы замѣниться другими... Кто ими будетъ? Каковы они будутъ? Смертнымъ темно. Знаетъ судьба, зловѣщій *Fatum*, что сидитъ выше Олимпа, что сильнѣе и вѣчнѣе всѣхъ восходящихъ и заходящихъ боговъ. Вѣрно одно—

Ударилъ часъ. Пора имъ, братья!
Иные люди въ міръ идутъ,
Иные взгляды и понятія
Они съ собою принесутъ...

Романтики стараго славянофильскаго народничества лежать въ гробу, отпѣты, завтра на нихъ просыплется земля, и споютъ имъ вѣчную память. За Третьимъ Филипповымъ, какъ за королемъ Артуромъ рыцари круглаго стола начали вымирать и двигатели того наряднаго славянизма, что ходили искать въ народѣ красную рубаху съ синими ластовицами, сарафанъ, былинку, пословицу. Умираетъ народная самобытность—умираютъ и тѣ, кто чаялъ найти въ самобытности этой наше спасеніе государственное и нравственное. Шейпъ оставилъ по себѣ какъ бы духовное завѣщаніе въ своемъ «Великороссѣ»: это—*summa summagum* всего въ духѣ, мысли и вдохновенія, чего могъ достичь великорусскій славянинъ—самъ по себѣ, нутромъ, безъ нѣмца и Петровой науки. «Великороссъ», вышедшій въ 1899 и въ 1900 гг., такой же, по существу своему, по нравственному и историческому значенію, памятникъ, какъ «Домострой» Сильвестра, какъ переписка Курбскаго съ Грознымъ и т. п. Это—голосъ старой умирающей допетровской Руси, раздавшійся позднимъ переживаніемъ въ молодой расцвѣтающей послѣпетровской Россіи.

Какъ ее любили, эту старую романтическую Русь, ея немногіе, дожившіе до нашего времени, паладины! Взята хотя бы того же Третья Филиппова, который зрилъ едва ли не полубога въ В. В. Андреевѣ—ибо этотъ послѣдній возы-

мѣлъ счастливую идею вдохнуть утраченную жизнь въ народные инструменты, о коихъ мы знали болѣе лишь, какъ о курьезѣ, изъ былинъ и сказокъ. Взять П. В. Шейна...

Я его очень мало зналъ. Я встрѣтился съ нимъ дважды у покойнаго Я. П. Полонскаго въ знаменитой квартирѣ покойнаго поэта на углу Бассейной и Знаменской. Высь поднебесная. Во второмъ часу ночи сходили мы съ Шейномъ по безконечной лѣстницѣ; онъ—хромой, еле движущійся,—опирается на меня. Говоримъ о пѣснѣ народной, о сохраненіи въ пѣснѣ стараго языческаго обряда... Я повторяю Шейну наизусть два-три отрывка изъ вариантовъ, которыхъ нѣтъ у Кирѣевскаго,—къ пѣснямъ о 12-мъ годѣ: «Проторена путь-дорожка отъ Можая до Москвы» и т. д.

И старикъ вдругъ воскресаетъ, забываетъ о костыляхъ, о хворобѣ.

— Гдѣ вы записали?

— Подъ Москвою, въ Царицынѣ, отъ волоколамокъ, которыя нанимаются снимать малину... Царицыно вѣдь все малинничаетъ.

— Голубчикъ, дайте мнѣ эти варианты.

— Да нѣту у меня цѣликомъ: въ Москвѣ.

— Пришлите.

— Если найду, съ удовольствіемъ.

— Да — нѣтъ! вы забудете... Я лучше самъ въ Москву пріѣду, возьму у васъ,—ужъ при мнѣ-то вы ихъ, навѣрное, разыщите.

Въ Москву П. В. Шейнъ, конечно, не пріѣхалъ, ибо я, какъ прибылъ домой, сейчасъ же требуемые варианты разыскалъ и послалъ ему, за что и получилъ отъ него весьма милое письмо. Но я помню, что былъ глубоко тронутъ и даже смущенъ этимъ юношескимъ пыломъ семидесятилѣтняго старика. Бѣхатъ, больнымъ, разслабленнымъ, за 600 верстъ только за тѣмъ, чтобы записать варианты пѣсни, подобрать ничтожный осколокъ изъ сокровищъ народного духа,—какую страстную любовь къ духу этому надо

было имѣть, насколько быть преданнымъ его возвышенной мечтѣ!

Народники-славянофилы умерли или умираютъ.

Народники-общинники ведутъ отчаянную борьбу съ новыми движеніями, хладнокровно низводящими значеніе народа къ конгломерату статистическихъ единицъ «средняго человѣка».

Кто станетъ имъ на смѣну,—Богъ знаетъ.

Одно скажу: эти уходящіе счастливыѣ входящихъ. Имъ было что любить,—что не только надо, но и легко любить. Большое слово и большое понятіе «народъ», и—увы!—какъ тихо и слабо звучить, хотя и широко растянулось слогами, «народонаселеніе».

1900.

ВЕРДИ.



Vittorio Emanuele Re d'Italia.

Если вы сложите начальныя буквы этихъ пяти словъ, получится фамилія Verdi. Смѣшно сказать! Это странное совпаденіе сыграло немалую роль въ карьерѣ знаменитаго композитора и значительно содѣйствовало его популярности.

Извѣстность имени Верди, какъ акростиха имени и титула Виктора-Эммануила, создавалась, конечно, въ послѣдніе годы австрійскаго полоненія, когда акростихъ этотъ звучалъ девизомъ для лучшей части итальянскаго общества, мечтавшей видѣть Италію объединенною, свободною, національною, подъ конституціонною властію Савойской династіи. Выраженіе какихъ бы то ни было симпатій къ савойскому дому было строго запрещено австрійцами, владычествовавшими на аппенинскомъ сѣверѣ. Имя Виктора-Эммануила было изгнано изъ газетъ; произносить его вслухъ, съ сочувствіемъ, стало политическимъ преступленіемъ. Тогда неистощимый юморъ итальянскаго народа зло посмѣялся надъ цензурою притѣснителей, передралъ имя молодого, но уже извѣстнаго и любимаго композитора Верди въ политическую шараду, хорошо понятную всѣмъ патріотамъ, но темную для чужеземцевъ-тедесковъ.

Вопль—«Evviva! viva Verdi!» раздавался на всѣхъ гуляніяхъ, собраніяхъ, въ театрахъ и т. д. Австрійцы только изумлялись музыкальному фанатизму, внезапно обуявшему итальянцевъ, и энергіи ихъ симпатій къ внонѣ

восходящей звѣздѣ опернаго творчества. У музыки Верди, конечно, не мало поклонниковъ и между нѣмцами. Поэтому,—разсказываютъ старики-очевидцы,—нерѣдко случалось, что, увлеченные общимъ энтузіазмомъ, австрійскіе офицеры тоже присоединялись къ непостижимымъ для нихъ оваціямъ и отъ души кричали:

— Viva Verdi!

И, конечно, имѣли затѣмъ довольно глупыя лица, не понимая, что заставляетъ живую итальянскую толпу хохотать имъ въ глаза, иронически аплодировать и требовать:

— Еще! еще!..

Съ годами криковъ—«Viva Verdi!»—знаменитый композиторъ дождался уже и за свой собственный счетъ, безъ всякихъ шарадъ, анаграммъ и акростиховъ. Я жилъ въ Миланѣ зимою, въ сезонъ постановки «Отелло» (1887). Не знаю, увижу ли я когда либо еще разъ подобное торжество въ области искусства. Это былъ не театралный успѣхъ, — это было чествованіе національнаго героя, взрывъ національной гордости. Въ теченіе цѣлой недѣли Миланъ былъ неузнаваемъ: его биржевая и торговая жизнь, бойкая, интересная, его неутомимое политикаканство—сразу потускли. Только и слышно было на всѣхъ перекресткахъ: Верди, Верди, Верди... Каждая репетиція «Отелло» становилась событіемъ, моментально оглашаясь по городу:

— Слышали? Онъ сказалъ Фаччіо, что у него не оркестръ, а шайка разбойниковъ?

— Онъ обозвалъ Таманьо собакою!

— А Морелю аплодировалъ и сказалъ: «браво»!

— Придирается къ бѣдной Папталеоли... все не можетъ простить, что не поетъ его старуха Штольцъ.

На окнахъ всѣхъ ресторановъ—анонсы: «По случаю генеральной репетиціи «Отелло», торговля будетъ продолжаться до 2-хъ часовъ ночи»... «По случаю перваго

представленія «Отелло», торговля будетъ продолжаться всю ночь»... Газеты самодовольно считаютъ имена знатныхъ иностранцевъ и европейскихъ знаменитостей, прибывающихъ въ Миланъ, чтобы присутствовать на всемірномъ торжествѣ итальянскаго музыкальнаго генія. Весь парижскій Жокей-Клубъ, съ принцемъ Уэльскимъ во главѣ; вся европейская haute finance: Ротшильды, Эфруссии, Блейхредеръ; сколько артистовъ, художниковъ, поэтовъ... Гуно, Массенэ, Сень-Сансъ—все звѣзды лирической Франціи! Въ галлерей Виктора-Эммануила показываютъ пальцами:

— Вотъ Варрезе... первый Риголлето!

— Вотъ Пандольфини. . онъ создалъ Амонасро!

— Браво, Варрезе! Браво, Пандольфини! Да здравствуетъ Верди!

Старикъ-композиторъ не показывался всѣ эти дни, выѣзжая въ театръ и изъ театра въ закрытой каретѣ: берегъ себя отъ эмоцій популярности, дурно отражавшихся на его, истинно по итальянски, слабомъ желудкѣ. Посредникомъ между нимъ и публикою былъ Арриго Бойто, его либреттистъ и самъ композиторъ,—странный человѣкъ, который, написавъ всемірно-извѣстнаго «Мефистофеля», затѣмъ вдругъ разочаровался въ своемъ музыкальномъ дарованіи и весь ушелъ въ поэзію. Стихи онъ пишетъ, дѣйствительно, очень хорошіе, и либретто «Отелло», конечно, одно изъ удачнѣйшихъ приспособленій шекспирова текста къ оперной сценѣ. Бойто—человѣкъ огромнаго и разносторонняго образованія, даже по-русски знаетъ и перевелъ на итальянскій языкъ «Руслана и Людмилу» для издателя Рикорди. Какъ большинство южанъ-вагнеристовъ, онъ хорошо знакомъ съ Глинкою, высоко его цѣнить, считаетъ его себѣ родственнымъ, и пропагандируетъ,—хотя и не особенно удачно,—въ Италіи музыку Чайковского.

Этотъ милый и любопытный человѣкъ былъ тогда жертвою настоящей осады. Всѣ тормозили его, требуя

новыхъ извѣстій, подробностей... Какъ Таманьо? Хорошоли выдрессировать его Сальвини на игру? Ну, Морель, конечно, на высотѣ задачи? А Панталеони не старовата? Правда, что въ «Отелло» есть удивительное «Ave Maria»? Доволенъ ли Верди? Много ли кричить? часто ли останавливаетъ оркестръ? какіе города уже заявили желаніе поставить оперу? съ какими пѣвцами «Отелло» пойдетъ въ Римѣ, въ Неаполѣ, на венеціанскомъ Fenice, въ лондонскомъ Ковентъ-Гарденѣ?..

Интервью съ Бойто, съ Фаччіо телеграфировались во всѣ города Италіи, въ Парижъ, въ Лондонъ. Какой-то impressario, проникнувъ на репетиціи, удосужился зарисовать Верди въ десяткѣ выразительныхъ моментовъ: то—учить оркестръ, какъ надо играть piano-pianissimo, то—зажимаетъ уши отъ фальшивой ноты, то—въ бѣшенствѣ кричить на пѣвца, опоздавшего вступить въ ансамбль, то—сидитъ, довольный, благосклонно улыбаясь... Альбомъ этотъ расходился тысячами экземпляровъ.

Одно скажу: вотъ, когда можно было понять, почему народы юга создали триумфъ, въ какихъ размѣрахъ и какими средствами они его осуществляли, и почему для дѣятеля-южанина публичный триумфъ былъ, да и теперь остается лучшею надеждою жизни! Отъ радости, говорятъ, не умираютъ,—однако, чахоточный Тассо умеръ отъ триумфальныхъ волненій, и, мнѣ кажется, надо имѣть исполнски-могучую натуру, на рѣдкость упругую восприимчивость, чтобы безслѣдно для нервной системы выдержать бурныя оваціи всей Европы, въ лицѣ пестро-собранныхъ ея представителей, какъ обрушились тогда оваціи на голову Верди... Старикъ плакалъ, его шатало... Онъ расцѣловалъ Мореля-Яго и такъ растерялся, что, войдя въ уборную къ Таманьо, не нашелся ничего сказать ему, кромѣ:

— Отчего ты сегодня такой черный? Я пришелъ поцѣловать тебя, но боюсь запачкаться...

— *Illustrissimo maestro!*—возопил пѣвецъ,—да вѣдь я же Отелло пою! какъ же мнѣ не быть чернымъ?!

До «Отелло» Верди былъ первою музыкальною знаменитостію въ Италіи, послѣ «Отелло» онъ сталъ для нея полубогомъ... Начался уже культъ. Я былъ представленъ Верди въ 1894 году. Онъ произвелъ на меня впечатлѣніе замѣчательно законченнаго человѣка, уже не имѣющаго желаній, которыя зависѣли бы отъ другихъ людей; полнаго огромной, созерцательной жизни, прозрѣвшей внутрь себя, какъ сказалъ Майковъ; уравновѣшеннаго, мягкаго, скромнаго... Это былъ мудрецъ и поэтъ, котораго величіе сдѣлало добрымъ, щедрымъ, самоотверженнымъ, благожелательнымъ.

А вѣдь смолоду этотъ человѣкъ, какъ говорятъ старики и пишутъ мемуаристы, представлялъ собою явленіе совсѣмъ иной категоріи. Его звали въ насмѣшку *maestro Frenetico* (бѣшенный), его болѣзненное самолюбіе, театральныя интриги, ненавистничество къ соперникамъ и денежная жадность слагали одинъ изъ отвратительнѣйшихъ характеровъ, какіе знаетъ закулисный міръ. За огромный талантъ публика все ему прощала, но пресса не щадила Верди, и изъ итальянскихъ каррикатуръ на его слабости и странности можно составить богатую коллекцію.

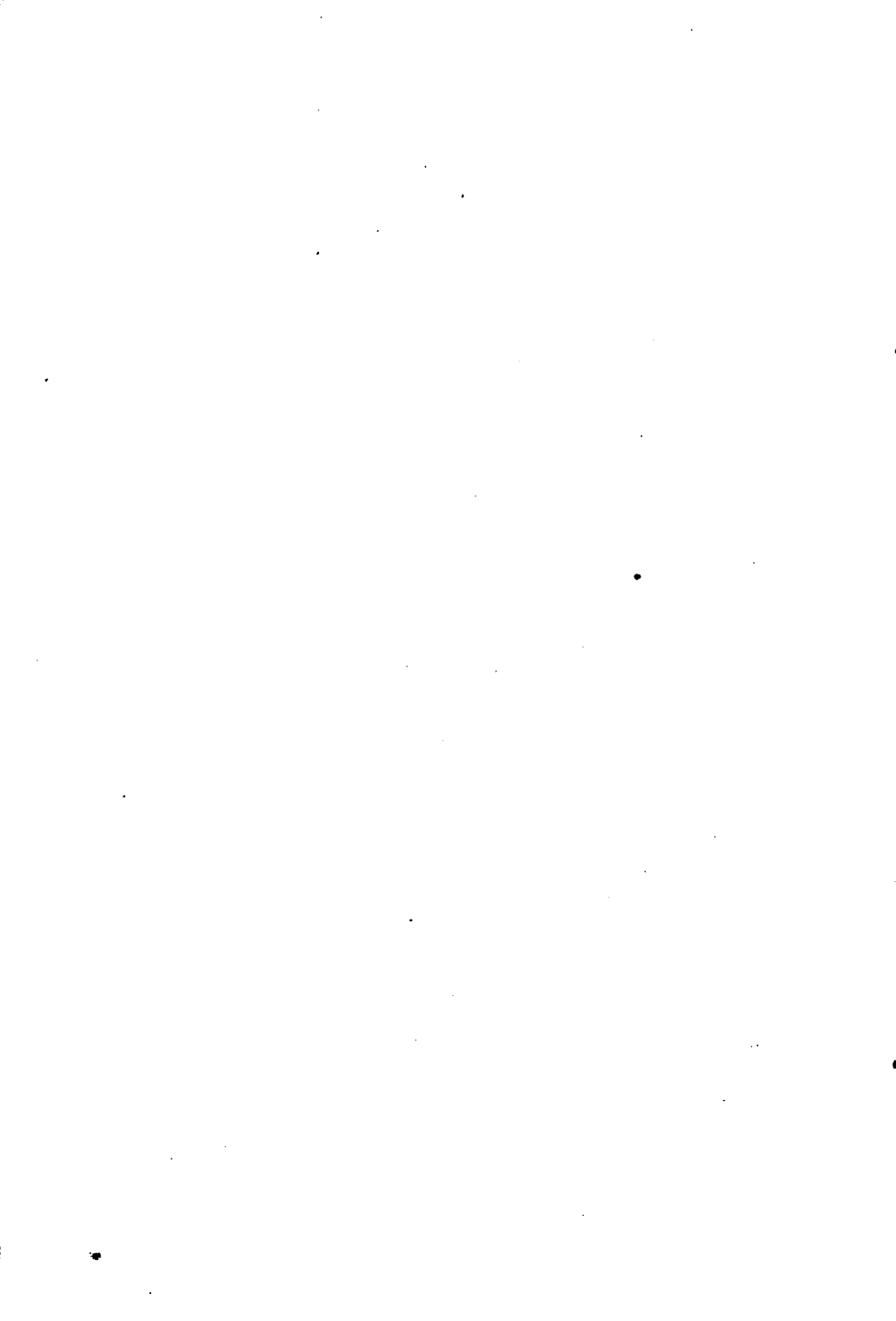
Любопытно, что одна изъ самыхъ злыхъ сатирическихъ выходокъ противъ Верди появилась въ Россіи, въ «Искрѣ», въ № 43, отъ 30-го ноября 1862 годъ, подъ заглавіемъ «Любопытныя и необыкновенныя похожденія маэстро Френетико въ Италіи и Константинополѣ и судьба оперы, написанной этимъ маэстро»—за подписью Богдана Княжицкаго. Памфлетъ былъ вызванъ постановкою въ Петербургѣ неудачной оперы Верди «*La forza del destino*» (Сила судьбы), которую Верди, не сбывъ на большія европейскія сцены, продалъ дирекціи нашихъ казенныхъ театровъ за 58.000 р. Несмотря на гипнозъ публики лич-

нымъ присутствіемъ знаменитаго композитора, «Сила судьбы» провалилась, и самъ Верди смѣялся—говорятъ,—надъ незаслуженною огромностью гонорара, имъ полученнаго. Сконфуженная дирекція, конечно, не желала признаться въ своемъ промахѣ, приняла мѣры цензурнаго воздѣйствія противъ возможныхъ обличеній, и послѣдствія спектакля Богданъ Княжицкій излагалъ такимъ образомъ: «Газета «*Journal de Constantinople*» уже заранѣе приготовила статейку, въ которой безсовѣстно возвѣщала всему міру о необыкновенномъ, блистательномъ и совершенномъ успѣхѣ оперы славнаго маэстро Френетико на константинопольскомъ театрѣ. Такъ какъ статья была писана прежде представленія, когда еще не знали: осмѣлятся ли турки шикать, поймутъ ли, что ихъ дурачатъ и кормятъ грязью, то потому о свисткахъ и шиканьи не было сказано ни слова. Впрочемъ, ни одна газета не высказала совершенной правды, вѣроятно, изъ опасенія попасть въ руки башибузуконъ, замѣняющихъ въ Турціи цензуру, съ которыми шутить нельзя. Да избавить отъ нихъ Господь Богъ и насъ съ вами... Однако же теперь существуетъ въ Турціи поговорка: «Ему нравится новая опера Френетико», что означаетъ: онъ глупъ непроходимо и безъ всякаго вкуса, безъ самостоятельнаго мнѣнія,—и другая: «Отправить слушать *Ужасные удары Рока*», что значитъ «Сослать на казнь». Директоръ Гедеоновъ былъ выведенъ подъ именемъ Асланъ-Аги, съ болѣе чѣмъ непочтительнымъ, описаніемъ его наружности, манеръ, склонностей, привычекъ, а его правая рука, начальникъ репертуарной части Федоровъ, получилъ выразительный псевдонимъ Болванпуло. Нѣсколькими нумерами позже, «Искра» снова вернулась къ «Силѣ судьбы» и изобразила закулисную исторію постановки оперы въ каррикатурѣ, на которой, кромѣ Верди и его примадонны, фигурируютъ Федоровъ и, знаменитая въ своемъ родѣ, Мина Ивановна, всемогущая «театральная дама» шестидесятихъ годовъ...

Въ другой разъ Верди посѣтилъ Россію въ семидеся-
тыхъ годахъ и слушалъ въ Москвѣ «Аиду». Это пребы-
ваніе было для него рядомъ овацій — кратковременныхъ,
но пылкихъ, и каррикатуристы на сей разъ сломили передъ
нимъ свои карандаши, а эпитаграмматисты обмакнули свои
перья, вмѣсто желчи, въ медъ и стали писать панегирики.

1901.

Петръ Ивановичъ Кичеевъ.



Миръ его праху! Вотъ ужъ къ кому подойдетъ-то, вотъ ужъ кому на памятникъ должна быть вновь начертана старинная эпитафія:

Былъ честенъ, цѣлый вѣкъ трудился
И умеръ голъ, какъ голъ родился.

Сколько написалъ этотъ человѣкъ оригинальныхъ стиховъ и прозы, сколько наперевелъ и передѣлалъ, — не увезти на семи возахъ. Найдется ли когда нибудь досужій и охочій изыскатель, чтобы раскопать эту огромную литературную розсыпь и, отдѣливъ изъ грудъ мусора крупинки золота, хотя скромныя, но чистой пробы, сохранить собраніемъ ихъ имя Кичеева въ памятникъ русской словесности и газетнаго дѣла?

Кичеевъ—одна изъ самыхъ характерныхъ фигуръ и,— въ значительной степени,— жертвъ литературной Москвы. Человѣкъ шестидесятихъ годовъ, прогрессистъ-либераль по убѣжденіямъ, онъ, однако, какъ-то не ужился въ кругѣ той «аристократіи либерализма», что давала тонъ московскому обществу семидесятихъ и восьмидесятихъ годовъ, дружно ютясь около «Русскихъ Вѣдомостей» и талантливыхъ профессоровъ-юристовъ мѣстнаго университета, переживавшаго тогда свою послѣднюю блестящую эпоху. Группа, о которой я говорю, представляла собою твердую и хорошо сплоченную партію полезныхъ общественныхъ дѣятелей, съ честными и умѣренными цѣлями, товарищески провѣренную, дисциплинированную, въ вопросахъ убѣжденій и дѣятельности щепетильную до педантичности—

иногда, может быть, и чрезмерной. Каждый «свой» былъ въ ней на счету, каждымъ несомнѣннымъ сочувственникомъ — надежновѣрнымъ, хотя бы и не очень талантливымъ — дорожили.

Широкая, кипучая натура Кичеева совершенно не годилась для какой бы то ни было «партіи». Впечатлительный и бурный человѣкъ толпы, онъ не поддавался лагерной дисциплинѣ. Въ упрямой независимости искреннихъ и страстныхъ порывовъ, онъ то и дѣло способенъ былъ броситься съ обличеніемъ на виноватаго «своего» въ защиту праваго «чужого». Такіе случаи бывали — и нерѣдко.

Ему говорили:

— Вы, Петръ Ивановичъ, дѣлаете себѣ враговъ изъ друзей.

— Какъ быть, батенька? Не молчать же мнѣ, когда вижу невѣжество и ерунду.

— Однако, и не хлестать же по своимъ, какъ по чужимъ. Вотъ вы осмѣяли NN за его рѣчь. Вѣдь прямо въ руку «Московскимъ Вѣдомостямъ» сыграли.

— Чѣмъ же это, позвольте спросить?

— Да ужъ теперь того и ждите, что Страстной бульваръ разразится артиклемъ «Своя своихъ не познаша», либо «Какъ думаютъ о г. NN его единомышленники», либо чѣмъ нибудь въ этомъ родѣ.

— Позвольте! Какъ по вашему? NN говорилъ умно или глупо?

— Откровенно сказать: глупѣ нельзя.

— Вотъ видите. Какъ же было его не разнести? Что жъ, что свой? Дураковъ, сказываютъ, и въ алтарѣ бьютъ.

Желчныя «буйства» Кичеева, падая въ литературное море тяжелыми камнями, оставляли по себѣ широкіе и непріятно-памятные круги. За нимъ установилась репутація писателя безтактнаго и неудобнаго. Считать его врагомъ и разномышленникомъ либераламъ было не за что, но они остереглись причислить его и къ своимъ, — установились

холодные, формальные, недоверчивыя отношенія, Кичеевъ сошелъ на-нѣтъ, незамѣтно очутился внѣ группы и сталъ особнякомъ въ сторонѣ.

Кичеевъ былъ литераторъ съ головы до ногъ, умѣвшій только литературу дѣлать, только литературою жить. Одинокое положеніе, въ которомъ онъ очутился, не легко, однако, не губительно для очень сильнаго таланта, для могучей, стальной души. Напротивъ, подобныя натуры, въ одиночествѣ, весьма часто дозрѣваютъ, получая въ немъ послѣднюю булатную закалку. Къ сожалѣнію, Кичеевъ не обладалъ ни сильнымъ талантомъ, ни мощнымъ духомъ. Онъ былъ просто—многосторонне даровитый русскій человекъ, съ душою мягкой, характеромъ слабымъ,—честный, гордый, смѣлый, но болѣе способный къ пламеннымъ вспышкамъ, чѣмъ къ твердой стойкости, снисходительный, по-славянски уступчивый на компромиссы. Оставшись въ одиночествѣ, онъ растерялся. Самолюбіе не позволило ему идти съ покаяніемъ, какъ бы занскивая, къ литературной группѣ, вѣжливо, но ясно его отстранившей. Другіе московскіе литературные лагеря были Кичееву противны. Черняевскій доброволецъ, боецъ за славянскую свободу, онъ, тѣмъ не менѣе, не могъ примкнуть, — какъ образованный и убѣжденный западникъ, — къ московскимъ кваснымъ славянофиламъ. Ужъ вовсе ничего общаго не имѣлъ онъ тогда съ Катковымъ. Итакъ—одинъ! А надо жить. И возможно жить—только литературою.

И вотъ съ Кичеевымъ случилось, что и съ многими братьями-писателями въ Москвѣ. Онъ попалъ въ эксплоатацію мелкаго газетнаго издательства, обильно народившагося въ Бѣлокаменной въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ. Въ руки «чумазыхъ», едва оторвавшихся отъ лубка для печатныхъ аферъ «подъ пастоящую литературу», готовыхъ рыночно расторгиваться писательскимъ трудомъ—былъ бы дешевъ, а то какого угодно лагеря и направленія.

— Для насъ безразлично-съ. Дѣло коммерческое. Съ

фанаберіями ли, безъ фанаберіевъ ли, все единственно: имѣли бы сбытъ. Потому—покупатель у насъ пестрый: и на фанаберіи имѣемъ спросъ и супротивъ фанаберіевъ торгуемъ прекрасно.

Бросился въ этотъ омутъ Кичеевъ, конечно, воображая, что издательское равнодушіе и безразличіе ко всему, кромѣ сбыта, позволятъ ему сохранить и проводить свои завѣтныя «фанаберіи» безъ сдѣлокъ съ совѣстью и убѣжденіями. Чудакъ-идеалистъ не подумалъ о томъ, что, какъ говорить Фальстафъ,—«другъ мой Гарри! въ нашемъ королевствѣ есть вещество, именуемое деготь, и, по мнѣнію многихъ ученыхъ, кто прикасается къ дегтю, того это вещество ма-раетъ». Нося хорошій сюртукъ, нельзя садиться сидѣльцемъ въ кислощейную лавочку, потому что сукно пропитается ея ароматами, и очень скоро придется сбросить господскую одежду съ плечъ за непригодностью и вырядиться въ такую же «гуньку кабацкую», какъ выражены полуграмотные кулаки-хозяева. Предоставивъ сотрудникамъ въ безразличное вѣдѣніе первыя литературно-публицистическія полосы своихъ газетъ, чего только не творили новоявленные «редакторы-издатели» на послѣднихъ, доходно-объявленскихъ! Одинъ откровенно пантажировалъ всю купеческую Москву. Другой, конкурируя, присадилъ спеціального молодца—слѣдить, кто изъ купцовъ, давая объявленія сопернику, обходитъ его органъ. И—горе виновному! Въ отдѣлѣ «Наша почта» ближайшаго номера, онъ получалъ милый семейный сюрпризъ, вродѣ хотя бы слѣдующаго:

— Купцу Черному Коту, въ Средніе ряды. Коли рябой да косоротый, на красавицѣ не женись. Что-то часто супруга ваша въ Донской къ вечернѣ ходитъ. И приказчика-блондина въ той же сторонѣ не разъ выдывали.

Это не преувеличеніе, не сказка, это—исторія... литературы!

Вы спросите:

— И не били за подобныя наглости?

Одного, говорятъ, даже всѣмъ купеческимъ сословіемъ келейно и больно высѣли, но не помогло.

Деготь мараль, кислощейная лавочка заражала духомъ,—Кичеевъ оглянуться не успѣлъ, какъ, понемногу опускаясь и размѣниваясь, перешелъ изъ большой прессы въ малую. Здѣсь онъ, конечно, оказался самымъ образованнымъ, талантливымъ, нужнымъ человѣкомъ. Имъ дорожили: настоящій литераторъ! Имъ восторгались: — Ухъ, хдѣстко пишеть! Не попадись ему на зубъ! Собаку съѣтъ грызться!

И въ самомъ дѣлѣ, въ пору этого перелома, обычная страстность тона, свойственная Кичееву, усилилась даже до какой-то лютости, до свирѣпости. Думаю, что причиною тому—горькое сознаніе авторомъ новой двусмысленности своего литературнаго положенія, голосъ самочувствія, что попалъ, молъ, ты, Петръ Ивановичъ, къ кулакамъ въ кабалу, въ рабство, и не выбраться тебѣ изъ лапъ ихнихъ во вѣкъ. Кичеевъ былъ очень уменъ, проницателенъ, тонокъ въ анализѣ, — вязнуть въ самообманахъ онъ не могъ: понималъ, что его пѣсенка спѣта, и, понимая, выходилъ изъ себя отъ гнѣвнаго негодованія, что гибнетъ такъ преждевременно, такъ незаслуженно. И выплакивалъ гнѣвъ, и срывалъ злость, и размыкивалъ тоску на газетныхъ столбцахъ.

Какъ адвоката, я Кичеева совсѣмъ не зналъ. Говорятъ, онъ обладалъ способностью доводить чуть не до бѣшенства предсѣдательствующихъ, товарищей прокурора, мировыхъ судей выходками желчнаго, грубаго, но мѣткаго остроумія. Да и въ житейскомъ обиходѣ—рѣдко кто разсыпалъ столько рѣзкихъ юмористическихъ экспромтовъ, какъ Кичеевъ: не диво, что у него было не перечесть враговъ.

Заходитъ онъ однажды въ весьма сомнительную московскую редакцію. Тамъ волженіе. Дѣятельный сотруд-

никъ, журналистъ способный, но невысокаго нравственнаго уровня, отказался отъ дальнѣйшаго участія въ газетѣ и демонстративно заявилъ о томъ въ органѣ-конкурентѣ.

Издатель рветъ на себѣ волосы.

— Осрамилъ! Погубилъ! Подписку сорвалъ! Что дѣлать?!

Кичеевъ говоритъ:

— Очень просто—что. Напечатайте завтра на первой страницѣ: «Уступая настойчивому желанію лучшей части публики, насъ читающей, мы удаляемъ сотрудниковъ, доселѣ у насъ работавшихъ. Вчера выгнали Х., завтра выгонимъ остальныхъ, и газета станетъ вполне приличною».

Любопытно, что издатель едва не принялъ совѣта въ серъезъ и мало-мало не исполнилъ. Фактъ рисуетъ достаточно ярко, насколько презиралъ Кичеевъ невѣжественное газетное ремесленничество, среди котораго вращался, и какъ оставался ему чужимъ.

Иногда рѣзкости Кичеева доставляли ему непріятныя столкновения.

— Вашу карточку!—потребовалъ у него поэтъ, психопатствующій кривляка изъ декадентовъ.

— Извольте. А вашу?

Тотъ сунулся въ карманъ: хватъ,—анъ, карточки-то нѣтъ.

— Ничего, все равно,—невозмутимо говоритъ Кичеевъ,—давайте, такъ и быть, хоть вашъ скорбный листъ.

Вариантомъ къ этой сценѣ вышелъ извѣстный инцидентъ, когда на Кичеева—уже совсѣмъ стараго, больного, полуслѣпнаго, еле движущагося, чахоточнаго человѣка—набросилась актриса Р., жена провинціальнаго трагика, дама лихова нрава и гренадерскаго тѣлосложенія. Швырнувъ въ злополучнаго журналиста тяжелымъ бинноклемъ, она возопила гордо и зычно:

— Теперъ вы знаете, кто я?

Кичеевъ отвѣчалъ съ кротостью:

— Вижу, что сумасшедшая, но изъ какой больницы, извините, не припомню.

Самое столкновение имѣло источникомъ слѣдующую кичеевскую импровизацію: мужъ мстительной дамы, актеръ Р., спросилъ Кичеева, какъ уважаемаго и авторитетнаго театральнаго рецензента, хорошо ли онъ, Р., играетъ Гамлета?

Кичеевъ сказалъ:

— Видите ли. Недавно, въ Чикаго, нѣкій актеръ Смитъ тоже игралъ Гамлета—вотъ, какъ вы, молодой другъ мой. Нѣкто Джонсонъ, зритель изъ перваго ряда креселъ, вдругъ ни съ того, ни съ сего—когда Смитъ читалъ «Быть или не быть»—выстрѣлилъ въ него изъ револьвера. Къ счастью, промахнулся. Скандалъ, судебное дѣло. При разбирательствѣ, судья опрашиваетъ свидѣтелей: — Скажите, какъ игралъ Гамлета мистеръ Смитъ? Свидѣтели отвѣчаютъ:—Возмутительно, господинъ судья! нельзя гнусиѣ! Шекспиръ три раза переворачивался въ гробу. Тогда судья оправдалъ Джонсона, а Смиту прочелъ нравоученіе: — Не играйте больше Гамлета, мистеръ Смитъ! не всё въ Чикаго такъ плохо стрѣляютъ, какъ мистеръ Джонсонъ.

Помню Кичеева на засѣданіи литературнаго кружка, стремившагося учредить кассу взаимопомощи. Вниманіемъ собравшихся невозможно злоупотреблялъ одинъ, довольно именитый, говорунъ, причѣмъ въ безконечныхъ рѣчахъ его до смѣшнаго наивно сквозила пресловутая цыганская тенденція—«вкрасть сто карбованцевъ, та втічь», едва касса откроетъ свои дѣйствія.

Засѣданіе идетъ уже къ концу. Неутомимый ораторъ снова проситъ слова, встаетъ и возглашаетъ:

— Теперь, господа, я займу ваше время...

Кичеевъ отзывается со злостью:

— Время-то куда ни шло, а вотъ—если деньги?

На другомъ литературномъ сборищѣ сидитъ Кичеевъ

въ сторонкѣ, поросенка ѣсть; съѣлъ все дочиста, — морщится.

— Что съ вами?

— Былъ тухлый, подлецъ.

— Что же вы въ буфетъ не отослали?

— Отсылалъ. Не приняли.

— Почему?

— Говорятъ: мы вамъ свѣжаго подавали.

— Не могъ же онъ, здѣсь за столомъ, протухнуть?

— Не скажите, — задумчиво возражаетъ Кичеевъ, — со мною рядомъ издатель Н. сидѣлъ и все о своей любви къ намъ, сотрудникамъ, ораторствовалъ. Я человѣкъ привычный, и то чуть съ ума не сошелъ. А поросенку вновь рацеи эти слушать, — какъ не тронуться?

Больной и неосторожный, Кичеевъ былъ мученикъ на всѣхъ литературныхъ обѣдахъ. Съѣсть чтонибудь неподходящее, — и ну умирать и охать...

— Зачѣмъ же ѣли? — спрашиваютъ его.

— Для протеста!

Кичеевъ былъ страстный театралъ, а кригикъ театраль-
ный даже и пристрастный. Онъ обожалъ родныя, москов-
скія сцены и къ гастролерамъ бывалъ лютъ. Притомъ,
поклоняться нѣсколькимъ божествамъ сразу было рѣши-
тельно не въ его характерѣ. Въ ноги Якову, — въ ухо
Сидора, въ ноги Сидору — въ ухо Якова. Влюбится въ
какойнибудь талантъ и носится съ нимъ мѣсяцъ-другой.
какъ курица съ яйцомъ, обижая и унижая другихъ, чтобы
его возвеличить. Если это актриса, она выше Ермеловой,
Савиной, Дузэ; если актеръ, — Сальвини, Росси, Поссартъ
едва достойны чистить ему сапоги. А, между тѣмъ, сцену
Кичеевъ зналъ и понималъ отлично и, вообще, театральное
дѣло смыслилъ, какъ знатокъ. Если не ошибаюсь, онъ не-
множко занимался и преподаваніемъ драматическаго иску-
ства, хотя, въ старости, что и кому могъ онъ показать для
сцены своимъ сиплымъ, мертвымъ голосомъ?

— Какой ты Отелло? съ которой стороны?—нападалъ при мнѣ Кичеевъ на тоже покойнаго уже Соловцова, великолѣпнаго бытового актера и незамѣнимаго театральнаго администратора, но — «унеси ты мое горе» въ роляхъ трагическихъ! А, какъ нарочно, имѣлъ къ нимъ, бѣднага, слабость великую...

— У меня голосъ!—храбро зацѣпился Соловцовъ.

— Мычать можешь? И крѣова, когда въ меланхоліи, мычить,—однако, столь благоразумна, что играть Отелло не покушается.

Долго послѣ того бѣднаго Соловцова, — тогда еще почти юношу, — дразнили «коровой въ меланхоліи».

Другой трагикъ, москвичъ, страстно желалъ сыграть Отелло, но въ Москвѣ не дерзалъ, опасаясь критики, сравненій съ иностранцами-гастролерами,—вообще, провала. Наконецъ, пригласили его въ гастрольную поѣздку на югъ. Отправляется трагикъ въ Ростовъ-на-Дону и, въ первую голову, выступаетъ тамъ именно въ «Отелло».

Встрѣчаю Кичеева. Хрипить:

— Слышали? наше-то сокровище? Зетъ?

— Что такое?

— Въ Ростовъ-на-Дону!

— Гастролируетъ?

— Въ газетахъ пишутъ: даже *отеллился*.

Но случалось Кичееву и самому парываться на бойкій отпоръ,—и надо ему отдать справедливость: такіе случаи онъ принималъ на рѣдкость добродушно, безъ ревнивой злобы, такъ свойственной многимъ присяжнымъ остроумцамъ.

Когда въ послѣдній разъ я видѣлся съ Кичеевымъ,—въ Петербургѣ, на похоронахъ Я. П. Полонскаго,—онъ былъ желтъ, худъ, несчастенъ и странно миренъ, не кичеевски тихъ. Одѣтъ въ чуйку мѣщанскаго покроя, рѣзко выдѣлявшуюся среди нарядной петербургской толпы. Казался чужимъ, да и былъ онъ чужой: дитя старой мо-

сковской богемы, прильнуть къ литературному Петербургу онъ и не могъ, и не умѣлъ. Говоря съ нимъ, я все время думалъ: .

— А вѣдь это умирающій! У него уже земля на лицо пала,—живой покойникъ...

Однако, Петръ Ивановичъ былъ бодрѣе, чѣмъ обличала его внѣшность: запаса физическихъ силъ хватило еще на четыре года. Нравственные — изношенные нервными затратами на горькую жизнь и непосильный трудъ — угасли много раньше...

1902.

Александръ Ивановичъ Урусовъ

и

Григорій Аветовичъ Джаншіевъ.

I.

Было время, когда Урусовъ былъ именемъ истинно всероссійскимъ. Можно даже сказать: его имя стало какъ бы нарицательнымъ—синонимомъ адвоката—изъ звѣздъ звѣзды! чего-то столь необычайно блестящаго и важнаго, что въ присутствіи его свѣтила небесныя тускнуть и только сконфуженно помигиваютъ:

— Что жъ? мы люди маленькіе!

Смутно вспоминается мнѣ изъ дѣтства наѣздъ Урусова въ маленькій провинціальный городокъ, Мещовскъ въ Калужской губерніи, на сессію окружного суда. Это было землетрясеніе какое-то, землетрясеніе умовъ. Дамы ходили, будто пьяныя. Мужчины... Если бы Александръ Ивановичъ, возгордившись, заявилъ, подобно посламъ древлянскимъ:

— Не хочу ни иди, ни ѣхать,—несите меня въ лодкѣ!

Его понесли бы, ей-Богу, понесли. И это еще — до рѣчей, на вѣру, по слухамъ изъ столицы и газетнымъ статьямъ. А ужъ послѣ рѣчей—пошло совсѣмъ столпотвореніе вавилонское.

— Урусовъ!—истерично стонали дамы.

— Да-съ, Урусовъ!—многозначительно щелкали языками мужчины.

— Одно слово—Урусовъ! сливались голоса въ общій хвалебный хоръ, какъ въ «Снѣгурочкѣ», когда поютъ:

„А мы просо сѣяли, сѣяли“.

Сначала врозь мужчины и женщины, а потомъ всё вмѣстѣ...

Впечатлѣній хватило на нѣсколько мѣсяцевъ. Объ Урусовѣ говорили, Урусова копировали, слова Урусова пережевывали, позы и мимику Урусова припоминали чуть не цѣлый годъ. Медвѣжій уголь занесло снѣгомъ. Обыватели закупорились по своимъ мурьямъ. Волки вышли изъ лѣсовъ и бродили по улицамъ, слушая подъ окнами, что толкуютъ между собою аборигены. И, когда вдосталь наслушавшись, принимались выть, казалось, что даже въ протяжномъ воѣ ихъ звучить:

— У-у-у-урусовъ! У-у-у-урусовъ! Урусовъ!

Привыкнувъ съ дѣтскихъ лѣтъ къ авторитету Александра Ивановича, какъ несравненнаго русскаго Демосфена, я услыхалъ его лично и познакомился съ нимъ лишь въ 1896 году, въ Москвѣ, въ окружномъ судѣ. Онъ выступалъ, въ качествѣ гражданскаго истца, по дѣлу бывшаго редактора «Московскихъ Вѣдомостей» С. А. Петровскаго, обвинявшагося, не помню кѣмъ, въ клеветѣ. Говорилъ Урусовъ красиво, бойко, эффектно, съ либеральнымъ огонькомъ, былъ раза два остановленъ председателемъ, но, въ общемъ, я долженъ сознаться—рѣчь была довольно безсодержательна и непріятно утомляла слухъ громкими банальностями... Замѣтны были огромная практическая привычка свивать цвѣты краснорѣчія въ изящныя гирлянды и любоваться оными, сильная эрудиція, знаніе суда, драгоценная адвокатская способность въ спокойномъ духѣ горячиться, но все это—какъ бы изношенное, полинялое.

— Благородства пропасть, толку никакого!—сказалъ мнѣ сосѣдь-репортеръ. А я думалъ:

— Былъ конь, да уѣздили.

И мнѣ было жаль разрушающейся знаменитости, въ которой слышна такая колоссальная виртуозная сила—всесторонне гибкая, но и всесторонне мертвѣющая. Я

вынесъ изъ урусовской рѣчи совершенно такое впечатлѣніе, какъ когда-то, слушая знаменитую Альбани, соперницу Патти, которая, гдворять, перепѣвала соловьевъ:

— Великолѣпно, но... тутъ какъ будто пружина дѣйствуетъ. Кончится заводъ,— и шабашъ.

Въ антрактѣ насъ познакомили. Урусовъ былъ чрезвычайно любезенъ, и мы довольно долго ходили по безконечному корридору московскаго зданія судебныхъ установленій, бесѣдуя о новѣйшихъ литературныхъ явленіяхъ. Я тогда написалъ что-то непочтительное о французскихъ нео-романтикахъ и символистахъ, и князь меня за это «угрызалъ», какъ самъ выразился. Разница воззрѣній нашихъ на искусство выяснилась сразу столь глубокою и непроходимую пропастью, что спорить было напрасно,— я слушалъ Урусова, не возражая ни слова, и, скажу откровенно, интересовался не столько его взглядами, сколько имъ самимъ. Чувство почтительной жалости къ нему, какъ къ сходящему на-нѣтъ *chef d'oeuvre* у эпохи, не прошло, но усилилось отъ этого разговора. Розовый старикъ, съ барскою осанкою, съ барскими мягкими руками, барскимъ сдобнымъ голосомъ, съ частымъ нервнымъ похохатываніемъ среди быстрой рѣчи и съ страннымъ, перламутровымъ взглядомъ умнаго младенца, Урусовъ казался ужасно старымъ — гораздо старше своихъ лѣтъ... Походка у него была шаткая, присѣдающая, точно онъ на пробку становился. Я смотрѣлъ и думалъ:

— Ну, тутъ смертью пахнетъ.

Изъяснялся онъ чрезвычайно красиво, и, кто любитъ *langues bien pendues* ради нихъ самихъ, долженъ былъ находить въ его бесѣдѣ огромное удовольствіе. Но это былъ русскій европеецъ паче самихъ европейцевъ, съ порѣшенными взглядами такой давней и неизбежной влюбленности въ западническіе устои, которые онъ считалъ непогрѣшимыми, что увлечь собесѣдника-наблюдателя онъ врядъ ли былъ способенъ. Люди, которые слишкомъ скоро

опредѣляются и все порѣшили,—скучны. Всякій русскій человѣкъ—немножко Гамлетъ и любить сомнѣніе въ другомъ. Тѣмъ-то, на примѣръ, и дорогъ, и любъ русской душѣ Левъ Николаевичъ Толстой, что развивался онъ въ убѣжденіяхъ своихъ на глазахъ нашихъ, какъ великаго сомнѣнія человѣкъ, много разъ спотыкавшійся, падавшій и возставшій, вылѣчившійся, чѣмъ ушибся. Урусовъ же напомнилъ мнѣ иностранныхъ писателей-профессіоналовъ; они очень умны и образованы на свой образецъ, но у нихъ на право мыслить и высказывать по-своему есть мѣрочка, ея же не преjdeши,—поэтому, въ предѣлахъ мѣрочки, они удивительно непогрѣшмы и докторальны, а, отбывъ приказанное мѣрочкою, въ огромномъ большинствѣ, премилые буржуа.

Кромѣ этого случая, мнѣ съ Урусовымъ говорить не приходилось. Встрѣчаясь, весьма любезно мѣнялись поклонами, и только.

2.

Григорія Аветовича Джаншіева я зналъ лучше. Мнѣ жаль вспомнить, что когда-то, ради краснаго словца, я обидѣлъ этого прекраснаго человѣка. Онъ, возвратясь изъ Швейцаріи, описалъ тамошніе суды, посвятивъ благоустройству ихъ гимнъ въ обычномъ ему восторженно-приподнятомъ тонѣ стихотворенія въ прозѣ. Фельетонъ этотъ попался мнѣ подъ руку въ недобрый часъ; мнѣ показалось смѣшнымъ, что Джаншіевъ воспѣваетъ, какъ влюбленная, старая дѣва, двери, половики и скамейки женевскаго суда, и я напечаталъ по этому поводу что-то очень рѣзкое въ ? Напечаталъ и пожалѣлъ; но было уже поздно. А отъ Джаншіева, въ то время почти совсѣмъ со мною незнакомаго, я получилъ довольно длинное письмо, гдѣ эта голубиная душа, безъ всякой злости, говорила, что не понимаетъ, зачѣмъ мнѣ понадобилось осмѣять его? «Думаю, что это не ваше убѣжденіе обо мнѣ, что вы не

вѣрите, будто я таковъ, какъ вы написали, и когда нибудь сами пожалѣете, что такъ написали». Я до сихъ поръ не могу себѣ простить, что, по ложному стыду и лѣни, оставилъ это хорошее письмо безъ отвѣта. А Григорій Аветовичъ былъ правъ: я раскаялся въ напечатанной о немъ статьѣ даже не «когда нибудь», а тогда же, двѣнадцать лѣтъ назадъ, и съ крайнимъ неудовольствіемъ вспоминаю объ этой статейкѣ «на зло» даже и теперь.

Довольно много писемъ отъ Джаншіева я получилъ, и нѣсколько разъ былъ онъ у меня, когда армянская рѣзня въ Малой Азіи и Константинополѣ сдѣлала его центромъ русской помощи пострадавшимъ армянамъ. Помню—раннимъ утромъ, маленькій, горбатенькій, съ ласковою и болѣзненною улыбкою, но непреклонно-настойчивый, взобрался онъ на четвертый этажъ суворинскаго дома въ Эртелевомъ переулкѣ, гдѣ я тогда жилъ, поднялъ меня съ постели и принялся жаловаться на подозрительное отношеніе «Новаго Времени» къ армянамъ.

— Григорій Аветовичъ! Да я-то тутъ при чемъ же? Вѣдь вы, если слѣдите за газетою, знаете, что я армянъ не трогаю, а, если хотите знать больше, то и остаюсь въ армянскомъ вопросѣ при совершенно особомъ мнѣніи. Я былъ въ Константинополѣ вскорѣ послѣ рѣзни, видѣлся съ Нелидовымъ, съ Максимовымъ и вынесъ на этотъ счетъ совѣтъ не впечатлѣнія, какъ «Русскій Странникъ»...

— Я потому и пришелъ къ вамъ, что вы при особомъ мнѣніи.

— Чего же вы отъ меня хотите?

— Чтобы вы убѣдили газету въ ея заблужденіи.

— Да что же? Я написалъ изъ Константинополя корреспонденцію, какъ выяснилось дѣло для меня, совершенно въ разрѣзъ Русскому Страннику, — она не была помѣщена. Значить, газета вѣритъ ему больше, чѣмъ мнѣ, или ведетъ свою политическую линію; я съ этимъ ничего не могу подѣлать.

— Побѣждайте сами въ Арменію и пишите оттуда...

— Позвольте спросить: на чей счетъ? Газета не пошлетъ; а если побѣду на свой, то будутъ ли мои, такъ сказать, добровольческія корреспонденціи обязательны? Не говоря уже о томъ, что мои друзья въ журналистикѣ поднимутъ крикъ: армяне купили!.. Вѣдь меня уже болгары «покупали», поляки «покупали», — сербы «покупали»... У насъ стоитъ сказать о комъ либо доброе или даже не совсѣмъ злое слово, — кто нибудь сейчасъ и кричитъ уже: «купленъ»!

Въ тотъ пріѣздъ Джаншіевъ былъ у меня раза три. Тогда онъ издавалъ «Братскую помощь» въ пользу пострадавшихъ армянъ и хотѣлъ, чтобы я далъ туда свои константинопольскія впечатлѣнія. Но тутъ подоспѣла у меня такая личная передрыга, что стало не только не до армянъ, но, полагаю, я не слишкомъ ужаснулся бы, даже кабы поль-Петербургъ провалилось. Г. А. прислалъ мнѣ дватри шутивыя напоминанія, а подъ конецъ сердитое:

— Что человѣкъ не пишетъ объѣщанной статьи, это можно объяснить безалаберностью и лѣнью, но — когда не отвѣчаетъ на письма — это значитъ, онъ въ рецидивѣ безграмотности.

Встрѣтившись затѣмъ съ Джаншіевымъ въ Москвѣ, я извинился предъ нимъ, изъяснивъ ему свои обстоятельства, и онъ же переконфузился и сталъ вдвое больше извиняться, что «безпокоилъ меня своими дрыгами»:

— Ничего, ничего! Вы для второго изданія напишете. Книга прекрасно идетъ. Будетъ второе изданіе.

Онъ горько жаловался на армянофобію, которая, по его мнѣнію, быстро распространялась въ русскомъ обществѣ. Чутокъ онъ былъ къ этому «растлѣнію» поразительно. И даже чрезмѣрно подозрителенъ. Я не припомню сейчасъ, не имѣя подъ рукою его писемъ, за что именно, но вдругъ въ 97 году онъ мнѣ прислалъ пресвярѣное письмо — по поводу какой-то совершенно невинной шутки объ армя-

нахъ, хотя очень хорошо зналъ, что зла на армянъ я не мыслилъ, не мыслю, да и не могу мыслить по сотнямъ связей, дружбъ и симпатій, отъ юности соединяющихъ меня съ армянами Закавказья.

Послѣднее письмо отъ Г. А. — чрезвычайно ласковое — я получилъ столь же неожиданно, какъ и другія. Его письма, диктованныя «гласомъ души», потребностью высказаться, всегда сваливались сюрпризомъ, — думаешь, человекъ давнымъ-давно забылъ о своемъ существованіи на бѣломъ свѣтѣ, а онъ, вдругъ, пишетъ. Оно пришло въ маѣ 1899 г. — по поводу программы, объявленной «Россіею», и представляло цѣлый трактатъ о вѣротерпимости и противъ національныхъ предубѣжденій.

Въ каждомъ поколѣніи есть люди таланта, люди ума, люди дѣйствія. Въ поколѣніи шестидесятыхъ годовъ, Джаншіевъ былъ безспорно и уменъ, и талантливъ, и дѣятеленъ, но, главнымъ образомъ, онъ былъ человекомъ свѣта, свѣтоносецъ.

Ловець, всѣ дни отдавшій лѣсу,
Я направлялъ по немъ стопы,
Мой глазъ привыкъ къ его навѣсу
И ночью различалъ тропы.
Когда же вдругъ изъ тучи мгlistой
Сосну ужалилъ яркій змѣй,
Я самъ затеплилъ сукъ смолистый
У золотыхъ ея огней.
Горѣлъ мой факелъ величаво,
Тянулись тѣни предо мной...

Это стихотвореніе Фетъ будто о Джаншіевѣ написалъ. Только послѣдніе стихи:

И *тѣмъ* ужаснѣй сумракъ ночи,
Чѣмъ ярче свѣточъ мой горитъ,

надо для Джаншіева перевернуть въ обратную антитезу:

И *чѣмъ* ужаснѣй сумракъ ночи,
Тѣмъ ярче свѣточъ мой горитъ!

Ибо — вотъ ужъ о комъ по правдѣ-то сказать можно, что тьма не объяла его.

Со свѣтомъ, возженнымъ у огня шестидесятихъ годовъ, Григорій Аветовичъ безтрепетно прошелъ свою честную жизнь не столько бойцомъ, сколько трубадуромъ великой эпохи. Онъ охотно брался, когда надо, за мечъ и храбро имъ бился, но настоящее оружіе его—была лютня, даже немножко сентиментальная лютня. И слово свое, и дѣло отдалъ онъ безраздѣльно великой богинѣ человѣчности, зарю царствія которой видѣлъ въ 19 февраля 1861 года. Богинѣ челоуѣчности онъ служилъ равно и въ Россіи, и въ мѣстахъ всесвѣтнаго армянскаго разсѣянія. Армянъ-сородичей онъ любилъ, какъ русскихъ, а русскихъ—какъ армянъ. Дай Богъ каждому русскому такъ любить Россію, какъ любилъ ее армянинъ Джаншіевъ, и принести ей хоть треть той пользы, что онъ принесъ.

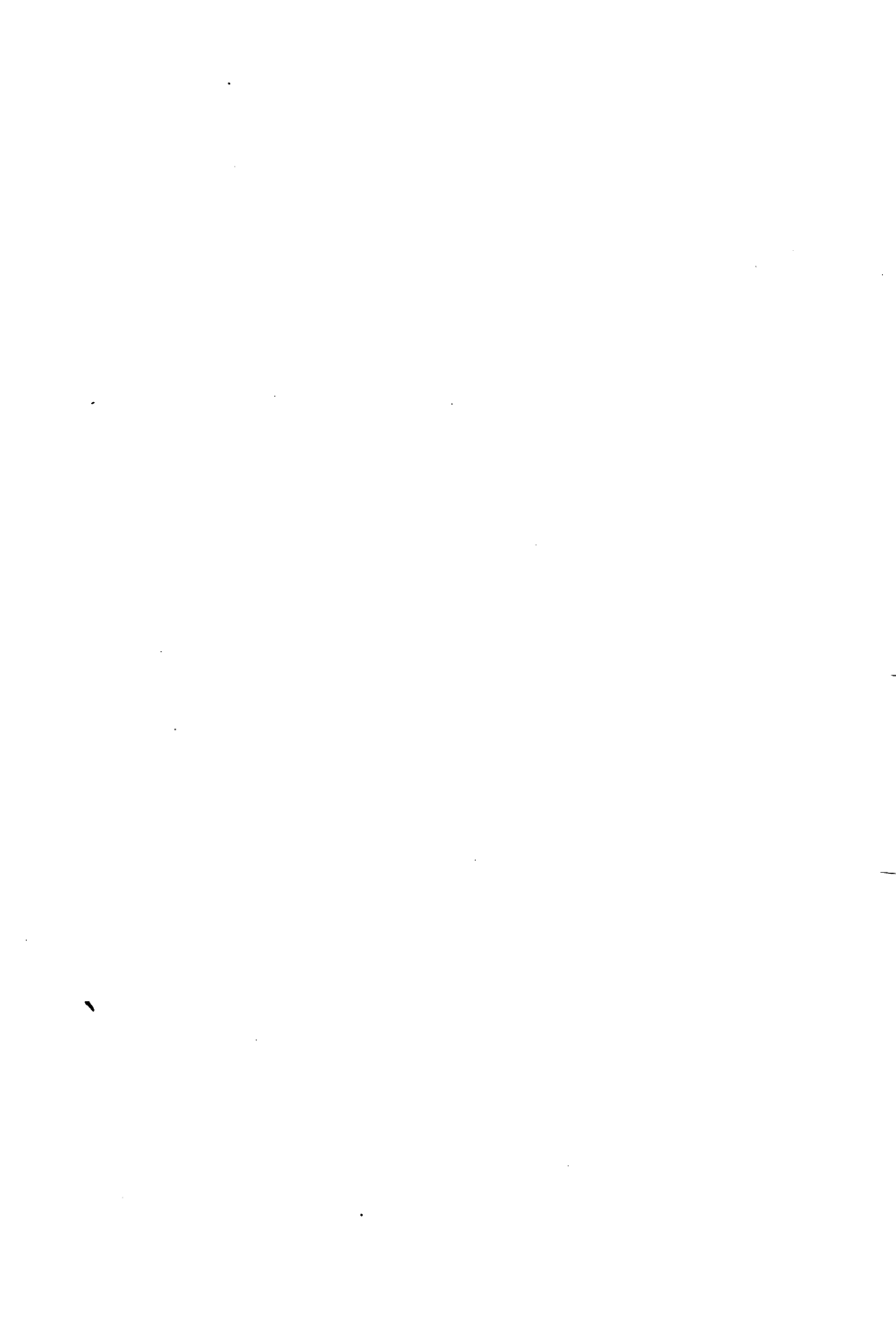
Я считаю Григорія Аветовича идеаломъ гражданина, какимъ можетъ стать въ жизни совершеннаго русскаго общества образованный инородецъ, получившій въ Россіи свое воспитаніе, скрѣпленный съ Россіей всѣми правами и обязанностями, горячо къ Россіи привязанный, сознающій себя русскимъ политически, и въ то же время не забывшій ни родного языка, ни родной вѣры, ни родного племени, чутко болѣющій сердцемъ за его судьбы, полагающій душу, дабы улучшить его положеніе, сохранить и поднять его историческія бытовыя особенности и права. Русскіе охранители полагають, что націоналистъ съ окраинъ есть антиподъ націоналиста изъ центра, что инородецъ и русскій гражданинъ—начала чуть ли не противорѣчащія, что лишь руссификація создаетъ русскихъ, и т. п. Увы! всюду, гдѣ мы примѣняли знаменитыя руссификаціонныя мѣры, Джаншіевы не выросли. Джаншіевыхъ не видать между поляками школы І. В. Гурко, не наѣзжаетъ ихъ и изъ Финляндіи. Боюсь, что перестанутъ они наѣзжать и изъ Закавказья!

Патріотъ государства и патріотъ племени,—что такъ удачно совмѣшалъ въ себѣ Григорій Аветовичъ,—отлично

уживаются между собою, когда государство и племена, имъ объединяемыя, находятся въ свободномъ и довѣрчивомъ равенствѣ, чуждомъ грозы съ одной стороны и рабскаго страха — съ другой. А только такой совмѣстный патріотизмъ и ручается государству, разноплеменному по составу населенія, что прогрессъ его будетъ идти неуклонно стопою мирною и благоуспѣшною. Спасителенъ только патріотизмъ, вѣщающій мирный трудъ въ мирномъ и твердомъ равенствѣ гражданства и народностей. Всякій иной патріотизмъ—начало гибели, потому что диктуется хвастовствомъ и угрозами силы, опирающейся на мечъ, обнаженный ими готовый обнажиться, по востребованію А— «взявши мечъ отъ меча и погибнетъ».

1900.

Д а р о ш ъ.



Ромъ. 25 (12) октября 1904 г.

Получилъ сегодня извѣстіе о смерти Германа Августовича Лароша. Человѣкъ онъ былъ уже немолодой, разрушенный, слѣдовательно, ничего неожиданнаго и необычайнаго въ извѣстіи этомъ нѣтъ и не могло быть, однако, оно подѣйствовало на меня какъ-то особенно скверно, точно всегда неправая смерть была на этотъ разъ особенно неправа. Раздумывая, вижу, что громадное чувство неудовлетворенности родится не столько изъ зрѣлица смерти, сколько изъ сознанія, что ушла изъ жизни, мало оплодотворивъ ее, огромная сила, которая, входя въ жизнь, поражала своимъ блескомъ и разнообразіемъ и общала дѣятельность изъ ряда вонъ плодотворную, — широкую, могучую, дѣятельность на вѣка.

— Да, въ нашемъ московскомъ кружкѣ было много способныхъ людей, но Ларошъ былъ самый талантливый!

Эти слова, сказанныя въ 1891 году Петромъ Ильичемъ Чайковскимъ, остались мнѣ памятными навсегда. Въ свое время аттестація казалась странною. Кружокъ, о которомъ шла рѣчь, имѣлъ во главѣ покойнаго Николая Рубинштейна, къ нему принадлежали Лаубъ, Кадмина, не говоря уже о самомъ Петрѣ Ильичѣ. Что и кто былъ въ сосѣдствѣ такихъ великолѣпныхъ талантовъ, авторъ какихъ-то отрывковъ изъ какой-то «Кармозины» — не то музыкантъ, не то литераторъ, не то ученый, не то диллетантъ? Однако, впоследствии не одинъ членъ бывшей рубинштейновой плеяды повторялъ мнѣ ту же аттестацію Чайковского,

которой я, по всѣмъ извѣстной добротѣ Петра Ильича и склонности его къ восторгамъ предъ чужими дарованіями, въ свое время, не очень-то повѣрилъ...

— Было между нами много способныхъ людей, но Ларошъ былъ самый талантливый!

И затѣмъ слѣдовало роковое «но»:

— Но и самый лѣнивый!

Онъ принадлежалъ къ числу людей, въ которыхъ лѣнь неизбежна, потому что она родится отъ «избалованности обиліемъ способностей». Я познакомился съ Ларошемъ, когда онъ былъ уже старый, преждевременно одряхлѣвъ, и сбивчивая рѣчь его часто переходила въ бормотанье, свидѣтельствуя, что «задерживающіе центры» работаютъ не слишкомъ-то исправно. То была уже развалина таланта, руина, но руина грандіозная! Въ немъ чувствовался не только музыкантъ, художникъ, литераторъ, — сказывался энциклопедистъ, ораторъ широчайшаго знанія, разнообразнѣйшихъ интересовъ, глубокаго и оригинальнаго мышленія, быстрого, причудливаго и молніеноснаго въ капризахъ своихъ, остроумія. Онъ былъ до мозга костей художникъ и до мозга костей журналистъ. Въ исторіи русской музыкальной критики онъ займетъ несомнѣнно одно изъ первыхъ мѣстъ по фундаментальному значенію въ развитіи искусства, и едва ли не первое—по литературному изяществу, по красотѣ рѣчи, классически выразительной въ изложеніяхъ, убійственно иронической въ полемикѣ. Я обо-жалъ полемическіе приемы Лароша, совершенно исключительные на русской критической аренѣ, гдѣ бой на дубинахъ искони процвѣтаетъ успѣшнѣе фехтованія на шпагахъ. А Ларошъ былъ именно фехтовальщикъ, словомъ—красивый, изящный, ловкій, смѣлый фехтовальщикъ стар-рой французской школы, необычайно благовоспитанный и безконечно учтивый къ своимъ противникамъ, которыхъ онъ закалывалъ на смерть. Читая инныя полемическія статьи его, право, переносишься въ эпоху эффектныхъ дуэлей

при Людовикѣ XIII и Ришелье, когда побѣдитель, снимая шляпу, говорилъ съ низкимъ поклономъ лежащему врагу:

— Тысяча извиненій, графъ, но, если я не ошибаюсь, я имѣлъ честь проколоть вамъ легкое?

А графъ лепеталъ помертвѣлыми устами:

— Вы не ошиблись, маркизъ: я имѣю удовольствіе быть вами убитымъ...

Какъ и во всѣхъ отрасляхъ своей капризной дѣятельности, Ларошъ небрежничалъ и въ критикѣ, и, если бы не его классическая работа о Глинкѣ, онъ остался бы и въ этой области такимъ же отрывочнымъ, фрагментарнымъ призракомъ, какъ въ музыкѣ. Писалъ онъ рѣдко, съ причудливымъ и своевольнымъ выборомъ темъ, какъ истинно вольный художникъ, не желающій считаться ни съ вкусами, ни съ модными интересами толпы. Поэтому, съ точки зрѣнія злободневности, онъ былъ сотрудникомъ и желаннымъ, и ужаснымъ для редакціи, гдѣ работалъ. У всѣхъ на устахъ какое либо новое сенсационное явленіе музыкальнаго міра,—Ларошъ послушалъ, нашелъ, что явленію—грошъ цѣна, сострилъ о немъ во всеуслышаніе какимъ нибудь каламбуромъ и—не пишетъ ни строки, вопреки всѣмъ редакціоннымъ просьбамъ и воплямъ:

— Отзовитесь же хоть какъ нибудь, Германъ Августовичъ! Хвалить, бранить — ваше дѣло, но нельзя же оставлять совсѣмъ безъ вниманія: въ городѣ сенсация, а мы молчимъ, словно и не знаемъ...

Но Германъ Августовичъ отвиливаетъ, либо пишетъ строки, столь безразличныя и двусмысленныя, что лучше не печатать: все оказывается какъ-то ужъ очень прекрасно и ужъ очень никуда не годно, звучить какъ-то чрезмѣрно вѣжливо и... невыносимо оскорбительно. И, въ то же время, вдругъ принесетъ статью строкъ въ тысячу о томъ, что гдѣ-то и кто-то прекрасно игралъ Моцарта въ присутствіи двадцати слушателей... Статья — совершенство въ своемъ

родѣ, прелесть, не напечатать ее—грѣхъ смертный, а напечатать, значить завалить ея номеръ такъ, что для текущихъ интересовъ жизни не останется и тѣснаго угла. Хватается за голову бѣдный редакторъ:

— Германъ Августовичъ! Бога вы не боитесь: ну, куда, куда, куда я всуну такого длиннаго чорта?

А Германъ Августовичъ смотритъ изумленными глазами и, хоть убей, не понимаетъ, какъ это можно такъ мало интересоваться Моцартомъ, чтобы не выгнать для него изъ номера Бюлова, Джюлиitti и Делькассе...

Познакомился я съ Ларошемъ очень поздно, но первое мое воспоминаніе о немъ, напротивъ, очень раннее и весьма курьезное. Настолько раннее, что я не могу сейчасъ даже утверждать съ отчетливостью, самъ ли былъ свидѣтелемъ того, что хочу рассказать, или только слышалъ тогда же отъ очевидцевъ. Шла въ Большомъ московскомъ театрѣ репетиція къ первому представленію «Евгенія Онѣгина». Исполнители—ученики консерваторіи. Въ извѣстномъ дуэтѣ предъ дуэлью—«Враги, давно ли другъ отъ друга васъ жажда крови отвела?»—баритона Гилева и тенора Медвѣдева режиссеръ Самаринъ поставилъ на противоположныхъ концахъ длиннѣйшей московской рампы спинами другъ къ другу, такъ что баритонъ не слышитъ тенора, теноръ—баритона. Николаю Рубинштейну этотъ сценическій реализмъ кажется опаснымъ музыкально и ужасно не нравится. Петръ Ильичъ Чайковскій настаиваетъ, находя такую сценировку необходимою по драматической ситуаціи. Пѣвцы начинаютъ дуэтъ и, не слыша другъ друга, конечно, врутъ.

— Снова!—гнусить Рубинштейнъ.

Поютъ и вдругъ.

— Снова!!

— Снова!!!

Стукъ палочкою все свирѣпѣе, носовые тоны голоса все грознѣе.

— Снова!

Наконецъ, послѣ новой неудачи, Николай Григорьевичъ обращается къ Чайковскому:

— Петруша, ты видишь, что это неисполнимо!

Но обыкновенно покладистый и уступчивый Петръ Ильичъ на этотъ разъ заупрямился.

— Да, нѣтъ же: я докажу тебѣ, что возможно...

И вотъ, онъ и Германъ Августовичъ Ларошъ, обладавшій не только замѣчательнымъ, но и такъ называемымъ «абсолютнымъ» музыкальнымъ слухомъ, поднимаются на сцену, становятся на мѣста Онѣгина и Ленскаго и затягиваютъ ужасными, «композиторскими» голосами:

— Враги, дав...

— Враги, давно ли другъ отъ др...

Страшный стукъ капельмейстерской палочки и болѣе, чѣмъ когда либо, носовой, торжествующій окрикъ Николая Рубинштейна:

— Довольно!.. Уже наврали оба!.. Профессора!.. Композиторы!..

Послѣ такой рѣшительной пробы Петръ Ильичъ,— при всеобщемъ хохотѣ и самъ, конечно, хохоча первый,— сдался и пѣвцамъ были назначены болѣе удобныя мѣста.

Какъ множество талантливыхъ людей, бойкихъ и смѣлыхъ на перѣ и въ разговорѣ небольшимъ интимнымъ кружкомъ, Ларошъ отличался невѣроятною, почти фантастическою застѣнчивостію предъ публикою, болѣлъ народобоязнью въ буквальномъ смыслѣ этого слова. Странная трусость эта помѣшала ему развить таланты капельмейстера и публичнаго лектора, которыми онъ удивлялъ знатоковъ въ тѣ рѣдкіе случаи, когда ему удавалось побѣдить себя и выступить на эстрадѣ. Въ восьмидесятыхъ годахъ съ лекціями его въ Москвѣ постоянно выходили курьезнѣйшія исторіи. Одну пришлось отмѣнить, при полномъ залѣ, потому что лекторъ совсѣмъ на нее не пріѣхалъ. Онъ говорилъ, будто позабылъ, другіе увѣряли, что испугался и спрятался. На другую пріѣхалъ чуть не часомъ

позже, за что и былъ встрѣченъ публикою недружелюбно, но — черезъ четверть часа совершенно покоришь заль своимъ блестящимъ краснорѣчіемъ. Былъ и такой случай: пріѣхалъ онъ къ лекціи во время, но, заглянувъ въ заль, увидаль множество народа, ужаснулся и пустился было, по подколесински, на утекъ. Насилу его удержали и заставили читать. Онъ вышелъ на эстраду бѣлый, какъ мѣль, извинился, что «очень отвыкъ и болѣнъ», помямилъ что-то нѣсколько минутъ, сорвался со стула, пробормоталъ:

— Нѣтъ, извините... рѣшительно не могу... ничего не могу!

И убѣжалъ, къ полному недоумѣнію публики. А и читать-то долженъ былъ не новость какую нибудь трудную, но извлеченіе изъ старой знаменитой работы своей о Глинкѣ.

Бываютъ странныя, чуть не геніально одаренныя, натуры, у которыхъ періодъ Sturm und Drang'a затягивается на всю жизнь. Къ нимъ принадлежалъ и Ларошъ. Глядя на него, я не разъ думалъ, что—вотъ предо мною послѣдній могиканъ того безпорядочно-красиваго романтизма, что въ русскомъ искусствѣ достигъ высшихъ предѣльныхъ точекъ своего развитія въ полубожественныхъ фигурахъ Глинки и Брюлова. Глинку же такъ страстно любилъ Ларошъ и такъ много писалъ о немъ, стараясь связать генезисъ основного генія нашей національной музыки съ классическими преданіями западнаго искусства! Я до сихъ поръ не забылъ, хотя читалъ Богъ знаетъ какъ давно, блестящаго доказательства Ларошемъ, что хоръ головы въ «Русланѣ» развился изъ одной фразы Глюка въ «Альцестѣ», пройдя, какъ эволюціонныя фазисы, чрезъ Моцарта въ речитативахъ Командора изъ «Донъ Жуана» и чрезъ Герольда во фразахъ Мраморной невѣсты изъ «Цампы». И Глинка, и Брюловъ были «классики романтизма» — фанатическіе, строгіе классики въ преданіяхъ и наукъ своего искусства и, въ высшей степени, «богема» въ личной

жизни. Таковъ былъ и Ларошъ. Онъ весь свой вѣкъ прожилъ цыганомъ, и превратить въ благополучно умѣреннаго буржуа не могли бы его никакіе милліоны и никакія силы въ мірѣ. Онъ вѣчно нуждался въ заработкѣ—и не работалъ. Вѣчно нуждался въ деньгахъ—и, получивъ крупный кушъ, вечеромъ оставался—съ мечтательнымъ выраженіемъ въ умныхъ, веселыхъ глазахъ и безъ грошика въ карманѣ, потому что «аржаны» уплывали куда то... а куда,—онъ и самъ не умѣлъ ни указать, ни сосчитать.

Натура гордая, аристократическая, царственно поэтическая, онъ капризно и свысока мѣнялъ свои спеціальности, занимаясь каждою, покуда она его забавляла, какъ геніальная проба пера: а вотъ, моль, я и это могу лучше, чѣмъ всѣ,—и это, если захочу, и это, и это... Онъ, когда желалъ того, являлся блестящимъ музыкальнымъ педагогомъ и двигалъ впередъ учениковъ своихъ съ быстротою почти чудотворною. Но одному изъ лучшихъ, и въ настоящее время весьма извѣстному композитору, написалъ послѣ трехмѣсячныхъ систематическихъ занятій:

— Пощадите меня,—уроки мнѣ такъ наскучили, что я боюсь, какъ бы намъ не подраться!

А другого характеризовалъ мнѣ въ 1900 году:

— Чудный парень, аккуратный, усердный парень... но глупъ, какъ пробка, и бездаренъ, какъ червякъ на пробкѣ! Изъ него выйдетъ отличный капельмейстеръ для плохой оперы, а, можетъ быть, и заслуженный профессоръ...

Никогда не могъ я говорить съ Ларошемъ безъ глубокаго сожалѣнія, зачѣмъ узналъ его такъ поздно. Въ мое время онъ производилъ впечатлѣніе какой-то пролетѣвшей бури, послѣ которой остались на небѣ разорванныя облака, и прекрасныя, и безобразныя въ то же время.... Я пригласилъ его работать въ «Россіи»! Статьи его имѣли успѣхъ огромный, хотя часто надо было въ отчаяніе придти:

— Да, позвольте! Что же дѣлаетъ Ларошъ? Началь

писать о «Карменъ», а писать о миссъ Безантъ и объ отношеніи теософіи къ женскому вопросу...

Въ капризной хаотичности его послѣднихъ писаній было что-то трогательное и увлекательное. Мысли струились изъ него беспорядочныя и глубокія, какъ у короля Лира въ степную ночь подъ бурю. Я помню, какъ одну статью Лароша,—странную до того, что я, сколько она ни нравилась лично мнѣ, не рѣшился поставить въ номеръ за свой страхъ, и позвалъ В. М. Дорошевича на совѣтъ, а тотъ прочитавъ гранки, сказалъ мнѣ мѣткою цитатою изъ «Гамлета».

— Знаете, дико, но надо печатать... Это, можетъ быть, безуміе, но—систематическое!

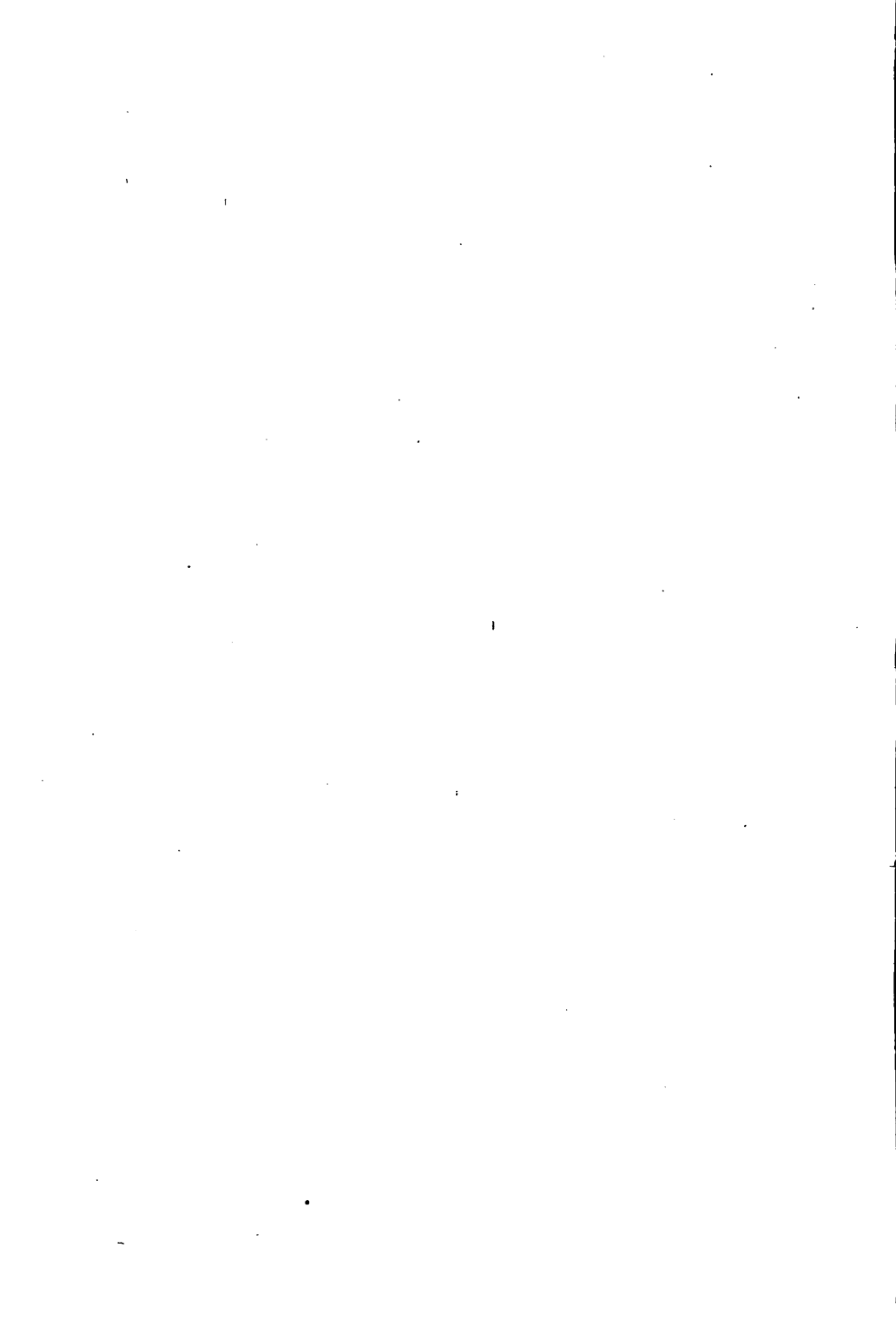
Нельзя было читать Лароша равнодушно: отъ него душа горѣла и умъ расширялся. Можно было не только не соглашаться съ нимъ, можно было имъ возмущаться, но онъ будилъ мысль, заставлялъ ее шевелиться, двигаться впередъ и, ссорясь съ вами, училъ васъ больше, чѣмъ тѣ, кого вы согласны изучать въ подобострастномъ согласіи... Этотъ поклонникъ Моцарта, одаренный юморомъ Гейне, стоялъ въ русскомъ культурномъ обществѣ такъ одиноко, оригинально, своеобразно, пожалуй, пѣсколько старомодно, такъ своенравно и внѣ счетовъ съ вѣяніями вѣка, что многія, простыя, шаблону обреченныя души, искренно не любили и побаивались его. Они угадывали въ Ларошѣ, чутьемъ мѣщанки невинной Гретхенъ, ужъ слишкомъ яркое и чуждое имъ, враждебное, начало: «vielleicht ein Genie, oder auch einen Teufel»... Задатки генія—всѣ были у этого человека. Если онъ истратилъ вѣкъ свой геніемъ безъ портфеля и умеръ почти такъ же бесплодно, какъ прототипъ всѣхъ русскихъ «геніевъ» и широкихъ натуръ, Дмитрій Николаевичъ Рудинъ,—онъ ли, полно, тому причиною? его ли въ томъ вина?

Есть русская поговорка:

— Рябина ягода нѣжная, и не со всякимъ носомъ можно клевать ее!

Было поколѣніе, когда русскіе носы не годились для клеванія нѣжной рябины, и пропадало этой полезной ягоды видимо-невидимо... Пропадали Мусоргскіе, Николаи Рубинштейны, Апухтины... Пропалъ и Ларошъ.

Пропалъ—для себя, но, конечно, не для тѣхъ, кто его зналъ и понималъ. Смѣю сказать лично о себѣ, что, при всей случайности, поверхности и краткой временности нашихъ взаимоотношеній, оригинальный образъ Германа Августовича врѣзался въ память мою неизгладимо, и каждый разъ, когда мнѣ нуженъ примѣръ чело-вѣка вдохновеннаго и геніально-одареннаго, его сѣдая голова, тонкій взглядъ, иронически улыбающіяся губы встаютъ въ воображеніи моемъ въ одну изъ первыхъ очередей.



Полемическіе листки 1904 года.



Объ „овечьихъ добродѣтеляхъ“.

Пьяный босякъ ударилъ офицера по лицу. Офицеръ застрѣлился. Смерть его вызвала большое возбужденіе въ обществѣ. Вся печать усердно обсуждала вопросъ: хорошо ли поступилъ офицеръ? Напечатанное въ «Развѣдчикѣ» мнѣніе генерала Драгомирова подбавило масла въ ея огонь. Какъ всегда, образнымъ и мѣткимъ языкомъ своимъ генераль бросилъ въ общество нѣсколько эффектныхъ лаконическихъ афоризмовъ, подхваченныхъ на лету и усердно повторяемыхъ и обсуждаемыхъ. Въ генералѣ Драгомировѣ, какъ писателѣ, характерна черта прямолинейности и невозмутимо-яснаго постоянства въ отправныхъ пунктахъ. Мыслитель строго-корпоративный, онъ чуждъ отвлеченности и не любитъ взглядовъ въ теоретическій корень. Мысль его всегда—не только практическая, но и предвзятая спеціальная. Какой бы житейскій вопросъ она ни изслѣдовала, результатомъ является прямо прикладное приспособленіе вывода къ текущей жизни, съ строго-военной точки зрѣнія. Когда генераль Драгомировъ развиваетъ ту или другую полюболившуюся ему идею, прямая цѣль его—показать, какъ можетъ воспользоваться этою идеей для дѣятельности умъ, награжденный большимъ житейскимъ опытомъ и тактомъ,—что называется, здравомысленный,—чрезвычайно острый, но застегнутый въ мундиръ со свѣтлыми пуговицами и обрѣтающій свое послѣднее рѣшительное слово въ текстѣ и

толкованіи военнаго устава. Въ соотвѣтствіи тому, и мораль журловскаго случая свелась у генерала Драгомирова къ архи-практическому фронтовому разрѣшенію: «офицеръ сталъ у насъ ужъ слишкомъ мирнымъ, а босякъ развоевывається», «офицеръ *казнилъ* себя за *ненаходчивость*», «погибъ *искупительною* жертвою, но за свою *вину*»; въ Радомѣ въ однородномъ случаѣ «офицеръ, *къ счастью*, не потерялся» и рубнулъ босяка и т. д.

Словомъ, генераль сказалъ все, что могъ сказать по предмету спора настоящій образцовый военный, какъ военный, — «вояка», — исходя изъ правилъ рыцарской чести своего сословія, — изъ «доблести военной», противопоставленной имъ «добродѣтелямъ овечьимъ».

Я оставляю покуда въ сторонѣ вопросъ о босякѣ-оскорбителѣ, который многіе, — усерднѣе прочихъ г. Меньшиковъ, — раздувають полемически въ вопросъ о босячествѣ. Явился-де на Руси такой народъ, отъ котораго не стало житья порядочнымъ людямъ: ходять по стогнамъ нѣщія Гоги и Магоги, бьютъ ни за что, ни про что встрѣчныхъ по фізіономіи, а безвинные встрѣчные потомъ — стрѣляйся! На фантастическую тему эту буржуазный страхъ, у котораго глаза велики, — инстинктивный страхъ людей, чрезмѣрно сытыхъ, предъ отчаяніемъ чело-вѣка, чрезмѣрно голоднаго, — разыгрывалъ варіаціи, которыя были бы смѣшны, если бы не были противны. Г. Меньшиковъ прямо провозгласилъ Журлова вѣстникомъ и дѣятелемъ соціальной революціи и рекомендовалъ консуламъ распорядиться, въ соотвѣтствіи съ этой аттестаціей, и съ Журловымъ въ частности, и съ босяками въ совокупности, по всей строгости законовъ, какъ съ элементомъ политически-неблагонадежнымъ. Въ сторону подобныхъ «извѣщеній» достаточно напомнить лишь, что, по авторитетному свидѣтельству слѣдователя по дѣлу о самоубійствѣ Кублицкаго-Піоттуха, босячество тутъ было

ровно не при чемъ. Охотникамъ до тенденціозныхъ обобщеній не слѣдовало бы забывать, что всего два года тому назадъ надъ Петербургомъ съ такимъ же шумомъ и грохотомъ прокатилась пресловутая клыковская исторія: офицеръ Клыковъ застрѣлилъ въ зоологическомъ саду надворнаго совѣтника Малиновскаго, который спяну оскорбилъ его дерзкими словами. Надворный совѣтникъ, кутившій въ увеселительномъ заведеніи, конечно, былъ не босякъ, что не помѣшало ему нагло привязаться къ незнакомому офицеру и получить въ отвѣтъ выстрѣлъ въ упоръ. Слѣдовательно, не въ столкновеніи рыцарской чести съ босячествомъ суть исторіи Кублицкаго-Пиоттуха и не о зловредномъ босячествѣ, по поводу ея, надо декламировать: босякъ въ ней совершенная случайность. Если обобщать въ правило наглость босяка Журлова, то почему не обобщить въ правило и наглости надворнаго совѣтника Малиновскаго? Если теперь иные вопять, будто босяки алчутъ крови и униженія военнаго сословія, то почему не вопить того же и о надворныхъ совѣтникахъ? Оно, если хотите, вышло бы даже нѣсколько правдоподобнѣе. Такъ какъ, по общественному положенію, у офицера гораздо больше шансовъ столкнуться съ пьянымъ надворнымъ совѣтникомъ, чѣмъ съ пьянымъ босякомъ. Впрочемъ, «Московскія Вѣдомости» тогда что-то именно въ этомъ родѣ и вопили, ужасно оскорбляясь на всѣхъ, кто въ столкновеніи Клыкова и Малиновскаго видѣлъ просто грубый и пьяный скандалъ, случайно—по безнравственнымъ и безумнымъ традиціямъ «военной чести»—окрашенный кровью (см. объ этомъ инцидентѣ 2-е изданіе книги моей «Житейская накипь», статью «Напрасныя смерти»).

Клыковъ застрѣлилъ Малиновскаго. Кублицкій-Пиоттухъ, оскорбленный Журловымъ, застрѣлилъ себя. Кто поступилъ лучше? Нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что съ точки зрѣнія генерала Драгомирова, одобрявшаго радомскаго

мстителя за военную честь, и тѣхъ, кто, отвѣчая генералу, наче всего старались снять съ покойнаго Кублицкаго-Піоттуха «позорящее» обвиненіе въ «ненаходчивости», — пѣтъ сомнѣнія, что съ такой точки зрѣнія находчивый Клыковъ — молодчинище и долженъ быть предпочтенъ ненаходчивому Кублицкому-Піоттуху. Съ послѣднимъ, какъ съ «виновнымъ, но заслуживающимъ снисхожденія» (за то, что «казнилъ» себя), та же точка зрѣнія раздѣлялась короткимъ и съ высока прощаніемъ: «пухомъ земля надъ нимъ!» И настолько эта точка зрѣнія увѣрена въ правдѣ своего суда, что великодушную пощадѣ Журлова Кублицкимъ-Піоттухомъ она разсматриваетъ, какъ поступокъ психопатическій... То, что одинъ человѣкъ не убилъ другого, оказывается симптомомъ безумія! А, тѣмъ же самымъ временемъ, нѣкій морской лейтенантъ, судившійся въ Петербургѣ за покушеніе въ подпитіи на жизнь оскорбившей его (какъ ему казалось) проститутки, старался доказать обвиненію, что пропоролъ этой дамѣ грудь кортикомъ въ аффектъ, по психопатическому предрасположенію. Одинъ — психопатъ, потому что не убилъ оскорбителя, другой — психопатъ, потому что пырнулъ оскорбительницу... Кто же не психопатъ?!

Я долженъ сознаться откровенно, что я — не въ восторгѣ ни отъ находчиваго «геройства» Клыкова, ни отъ ненаходчиваго «мученичества» Кублицкаго-Піоттуха. Но послѣдняго мнѣ очень жаль, потому что молодой человѣкъ этотъ умеръ слишкомъ напрасно и, до отвращенія, противъ своей воли. Мы не имѣемъ никакого основанія подозрѣвать въ неточности слова г. Дворжицкаго, слѣдователя по дѣлу о самоубійствѣ, а изъ оглашеній этихъ и еще болѣе изъ прозрачныхъ намековъ въ фельетонѣ г. Меньшикова, написаннаго на основаніи и отчасти въ опроверженіе мнѣній г. Дворжицкаго, выясняется одно: въ Петербургѣ совершилось ужасное и кровавое дѣло, именуемое корпоративною казнью (слово это генераль

Драгомировъ и употребилъ уже въ «Развѣдчикѣ»: «казнилъ себя за ненаходчивость») и, какъ въ огромномъ большинствѣ корпоративныхъ казней, «преступникъ» обязанъ былъ исполнить ее надъ собою собственною своею рукою. Казнь эта висѣла въ воздухѣ пять сутокъ, — быть можетъ, Кублицкій-Пиоттухъ не сразу-то совмѣстилъ въ умѣ своемъ, какъ это вдругъ сталъ онъ столь безъ вины виноватъ, что даже повиненъ смертной казни... Въ вѣкѣ и обществѣ, сомнѣвающихся цѣлою огромною литературою, имѣетъ ли нравственное право умерщвлять преступныхъ членовъ своихъ даже государство, корпоративная смертная казнь—явленіе безусловно отвратительное... И за что была произведена она? За то, что человѣкъ не убилъ другого!—За то, что не успѣлъ убить, какъ «извиняють» его одни,—за то, что оружіе его не было въ порядкѣ, нужномъ для убійства въ мирное время,—какъ «извиняють» другіе.

Церковь и народъ называютъ армію—«христолюбивое воинство». Оставимъ въ сторонѣ тѣ ученія, которыя находятъ званія христіанина и воина несомнѣстными вовсе, хотя я лично держусь того же мнѣнія. Будемъ стоять на исходной точкѣ господствующаго воззрѣнія, выраженнаго въ лаконическомъ опредѣленіи «христолюбиваго воинства». Изъ него, съ неопровержимою ясностью, слѣдуетъ, что христіанинъ можетъ быть воиномъ постольку, поскольку того требуетъ любовь къ Христу, то есть къ Его дѣлу и обществу. Любить Христа значить, прежде всего, знать Его ученіе, затѣмъ посильно исполнять. Нечего и говорить, что «рыцарская честь», требующая отъ воина убійствъ и самоубійствъ за личное оскорбленіе,—совершенно не христіанская сила. «Аще кто ударить въ десную твою ланиту, обрати ему другую»,—звучитъ евангельскій идеалъ. «Аще кто ударить въ десную твою ланиту, убей его на мѣстѣ»,—повелѣваетъ «рыцарская честь». Сблизить эти два контраста невозможно никакими софизмами и компромиссами.

Воинство—«христолюбивое», а рыцарская честь, навязанная ему дурнымъ обычаемъ, оспариваетъ Христа и ставитъ свой властный законъ на мѣсто Его закона.

Говорю это въ напомниманіе, а не въ судъ и осужденіе людямъ «рыцарской чести». Общество наше, ложно именующее себя христіанскимъ, отгородилось отъ Евангельской морали такимъ длиннымъ частоколомъ житейскихъ компромиссовъ, что компромиссъ «рыцарской чести»,—только капля въ ихъ морѣ. Если онъ заставляетъ говорить о себѣ чаще и громче, чѣмъ другіе, то лишь потому, что выстрѣлъ, трупъ и мозги въ потолокъ,—слишкомъ краснорѣчивые, потрясающіе свидѣтели нагляднаго разлада нашего съ любвеобильнымъ завѣтомъ, который Ренанъ нѣжно называлъ «генисаретскою идилліей». Но даже и номинальному христіанину надо выбирать одно изъ двухъ: или христолюбіе, или неограниченное себялюбіе—до предписаній обязательнаго убійства, либо самоубійства въ случаяхъ оскорбленія. Нельзя «христолюбиво» убить оскорбителя. Нельзя «христолюбиво» приказать человѣку умереть за то, что онъ не убилъ другого. Нельзя «христолюбиво» убить себя отъ раскаянія, что не убилъ другого.

Итакъ, рыцарская честь—сила и понятія не христіанскія. Но они и не языческія: по крайней мѣрѣ, родились не въ томъ умномъ и созерцательномъ языческомъ мірѣ, который положилъ основы нашей цивилизаціи и оставилъ намъ въ наслѣдіе философію и мораль Сократа, Платона, Сенеки, Плотина. «Ни греки, ни римляне, ни высокообразованные азіатскіе народы древнихъ временъ не имѣли никакого понятія объ этой чести и ея принципахъ»,—говоритъ Шопенгауэръ, гениальный, злобно насмѣшливый изслѣдователь вопроса о роковомъ предрасудкѣ, съ которымъ мы теперь считаемся. Честь гражданина въ античныхъ общинахъ и государствахъ была активная, такъ сказать, служила: она основывалась на томъ, что человѣкъ самъ дѣлалъ въ семьѣ, обществѣ и государствахъ. Честь рыцарская,

наоборотъ, пассивна: она основывается на томъ, что съ человѣкомъ дѣлають другіе люди, что онъ претерпѣваетъ отъ сосѣда. Честь грека и римлянина росла въ зависимости отъ его дѣятельной воли, изъ субъективной инициативы; честь рыцарская растетъ и гибнетъ въ исключительной и рабской зависимости отъ воли и инициативы другихъ. Послѣ Шопенгауэра трудно найти въ вопросѣ о рыцарской чести неосвѣщенный уголокъ: на всѣ ея сомнѣнія онъ отвѣтилъ съ прямолинейностью и здравомысліемъ, которыя такъ характерны для всей его практической философіи—философіи съ девизомъ: «кто ясно мыслить—ясно выражается». Среди множества доказательствъ и примѣровъ, рисующихъ превосходство въ воззрѣніяхъ на честь античной морали надъ нашею, Шопенгауэръ напоминаетъ, между прочимъ, извѣстное «бей, но выслушай» Ѳемистокла, когда спартапеецъ Эврибиадъ замахнулся на него палкою. Рассказавъ эпизодъ, великій философъ иронически замѣчаетъ:—«Какое, однако, негодованіе долженъ почувствовать при этомъ читатель изъ «людей чести», не найдя далѣе извѣстія, что корпусъ аѳинскихъ офицеровъ тотчасъ же заявилъ, что онъ не хочетъ дальше продолжать службу подъ командою такого Ѳемистокла». Я вспомнилъ этотъ случай, какъ контрастъ, перечитывая недавно сцену въ «Людахъ сороковыхъ годовъ» Писемскаго, гдѣ губернское дворянство, не зная, какъ отдѣлаться отъ негодяя-губернатора, задумываетъ наградить его публичною пощечиною, послѣ чего-де оставаться на службѣ ему будетъ нельзя, какъ человѣку, лишенному чести. Человѣкъ совершилъ всѣ безчестные поступки,—а честь его все-таки остается при немъ; человѣку влетѣла случайная оплеуха, и чести его какъ не бывало! Ѳемистоклу Эврибиадовъ «жестъ съ палкою» былъ—какъ съ гуся вода, но Мольтке и Скобелева могъ бы обезчестить и выгнать въ отставку любой пьяный и наглый фендрикъ.

Суровость Шопенгауэра къ «людямъ чести», которыхъ

онъ безъ церемоніи противопоставилъ «честнымъ людямъ», доходила до такой высоты, что онъ объявлялъ дуэль, какъ самосудъ, политическимъ преступленіемъ, бунтомъ противъ гражданскаго союза: попыткою создать государство въ государствахъ. Искоренять дуэль онъ совѣтовалъ стыдомъ: публичнымъ тѣлеснымъ наказаніемъ и дуэлянтовъ, и секундантовъ. Ожидаемые протесты предупреждалъ съ холоднымъ безстрастіемъ: «Можетъ быть, кто нибудь рыцарски мыслящій возразить мнѣ на это, что по исполненіи такого наказанія иной «человѣкъ чести» будетъ въ состояніи застрѣлиться. Я отвѣчу на это: пусть лучше такой дурень застрѣлитъ себя, чѣмъ другого».

Чуждый христіанству, чуждый греко-латинской культурѣ, чуждый разуму и гуманности, принципъ рыцарской чести — «за пощечину кинжалъ» — представляетъ собою германскій привносъ въ европейскій укладъ: латинская раса заразилась имъ сравнительно поздно, да и до сихъ поръ *vendetta* чрезъ убійство — естественный страстный актъ ненависти и въ Италіи и Южной Франціи, — популярнѣе поединка, искусственнаго и условнаго акта «возстановленія чести». Нравы, которыми мы любуемся въ *Cavalleria Rusticana*, свойственны Сициліи, гдѣ долго владычествовали норманы, и въ Испаніи, гдѣ они унаслѣдованы отъ готовъ. Въ славянствѣ дуэльный обычай до сихъ поръ, слава Богу, — чужакъ, пришлый и не почтенный гость. Даже у поляковъ, воспитанниковъ западной культуры, онъ — далеко не поощряемая случайность. Старинное шляхетское забіячество Скшетускихъ и Володыевскихъ вышло изъ моды и забылось вмѣстѣ съ кунтушами и карабелями. Ни у болгаръ, ни у сербовъ кодексъ рыцарской чести не привился вовсе. Когда, года три тому назадъ, состоялась одна болгарская дуэль, газеты княжества съ поразительнымъ единодушіемъ возстали противъ вызвавшаго, хотя онъ былъ очень оскорбленъ. Вся страна завопила: не надо намъ этой иностранщины! Не искати правды намъ у нѣмцевъ!

Стамбуловъ Савову, въ отвѣтъ на вызовъ, сказалъ:

— Если тебѣ надоѣла жизнь, пусти себѣ пулю въ лобъ самъ, а зачѣмъ же мнѣ себя беспокоить?..

Болгарскій диктаторъ безсознательно повторилъ тутъ слова Марія, который, въ подобномъ случаѣ, отвѣчалъ одному кимврскому вождю почти дословно то самое. У насъ дуэль, вопреки даже искусственной ея прививкѣ закономъ 1894 года, встрѣчаетъ повсемѣстную, твердую, убѣжденную, дѣятельную антипатію. Достаточно напомнить неудовольствіе, съ какимъ Петербургъ слѣдилъ за развязкою роковой дуэли Максимова — Витгенштейна *). Ни удѣльная, ни московская Русь, ни Новгородъ, ни казачество не знали дуэли. «Поле» и «Божій судъ» — не дуэли, но грубые юридическіе обряды первобытнаго права, перенятые у варяговъ. Умная бабушка Русь, въ сужденіи о поединкахъ, всегда держалась взглядовъ незабвенной Василисы Егоровны изъ «Капитанской дочки»:

— Ахъ, мои батюшки! На что это похоже? Какъ? что? Петръ Андреичъ! Алексѣй Иванычъ! подавайте сюда ваши шпаги, — подавайте, подавайте! Палашка! отнеси эти шпаги въ чуланъ. Петръ Андреичъ! этого я отъ тебя не ожидала, какъ тебѣ не совѣстно! Добро Алексѣй Иванычъ: онъ за душегубство и изъ гвардіи выписанъ, онъ и въ Господа Бога не вѣруетъ: а ты что? туда же лѣзешь?

Увы! добрая старуха Василиса Егоровна разсуждала въ этомъ случаѣ и лучше, и болѣе по-русски, чѣмъ самъ великій творецъ ея, положенный въ могилу пулею французскаго бреттера. Безсердечныхъ бреттеровъ-хвастуновъ западнаго типа въ русскомъ обществѣ нѣтъ, а подражатели ихъ, играющіе роли роковыхъ убійцъ изъ чести, вродѣ поручика Соленого въ «Трехъ Сестрахъ» или стариннаго тургеневскаго Авдѣя Лучкова, ведутъ невеселую одинокую

*) См. объ этой дуэли ту же статью мою „Напрасная смерти“ въ книгѣ „Житейская накипь“.

жизнь нравственных парій. Русскій дуэлистъ — нечаянный, противовольный, раскаянный: Пьеръ Безуховъ, Базаровъ, Вязовинъ... Байроническіе опыты поэтизировать пистолетныхъ забіякъ не удавались даже самымъ блестящимъ талантамъ русской литературы: Сильвіо—мелодраматическая фигура, дуэль Печорина и Грушицкаго—злая сатира, Долоховъ—актеръ, типъ отрицательный и житейски-подражательный: не столько лицо, сколько маска.

Въ изящной русской литературѣ есть замѣчательный рассказъ, анализирующій какъ разъ журловскій случай, предсказанный съ почти буквальною дословностью. Это — «Фигура», повѣсть покойнаго Лѣскова, объ офицерѣ, получившемъ случайные побои отъ мертвецки пьянаго молодого казака. Рассказъ этотъ слѣдовало бы распространять между фанатиками «рыцарской чести», предписывающей убійства и самоубійства, какъ между алкоголиками распространяють «Перваго Винокура», а въ тюрьмахъ «Доктора Ө. Гааза». Думаю, что, если бы несчастный Кублицкій-Пиоттухъ, умертвившій себя послѣ пощечины, полученной отъ безумнаго босняка, — оскорбительной, по справедливому выраженію г. Дворжицкаго, не болѣе укуса бѣшеной собаки, и которую самъ Кублицкій-Пиоттухъ въ первыя минуты оскорбленіемъ не почелъ, — если бы онъ былъ знакомъ съ этимъ прекраснымъ и глубокомысленнымъ произведеніемъ, — «Фигура», быть можетъ, помогъ бы пайти ему выходъ изъ тяжелой борьбы съ давленіемъ предразсудка и безъ пули въ лобъ. Потому что герой Лѣскова (написанный портретно, съ живого лица) прошелъ всѣ мытарства корпоративныхъ послѣдствій и осложненій дѣла, на которыя намекаетъ г. Дворжицкій, и не застрѣлился, какъ Кублицкій-Пиоттухъ, на пятый день, но, выйдя въ отставку, устроилъ себѣ очень хорошую, честную, разумную, полезную, трудовую жизнь. Ему тоже пришлось таки крѣпко и трудно постоять за свое право на человѣколюбіе. Первымъ движеніемъ оскорбленнаго Фигуры было —

«найтись» (какъ называлъ бы это генераль Драгомировъ) и зарубить казака. Но дѣло было въ самую Христову ночь: Фигура вспомнилъ, что онъ — христіанинъ и пощадилъ своего оскорбителя—запретилъ касаться его и солдатамъ, которые хотѣли было его разорвать.. Простилъ казака «христолюбивый» воинъ, а тутъ и потянула его на цугундеръ «рыцарская честь», въ лицѣ полковника и товарищей и, наконецъ, самого богомольнаго фельдмаршала Дмитрія Ерофеича Остенъ-Сакена: какъ смѣлъ простить?! И страшно многозначительны были простые и естественные отвѣты христолюбиваго воина на властные, самоувѣренные, звучащіе свысока, наскоки «рыцарской чести»:

— Подавайте въ отставку, — приказываетъ Фигурѣ полковникъ: — мнѣ васъ жалко, но пеняйте на себя и на того, кто вамъ внушилъ такія правила.

— Пенять я ни на кого не буду, — отвѣчаетъ Фигура: — а особенно на того, кто мнѣ внушилъ такія правила, потому что я взялъ себѣ эти правила изъ христіанскаго ученія.

Полковнику отвѣтъ ужасно не понравился:

— Что вы мнѣ съ христіанствомъ? Я съ васъ службу спрашиваю.

Остенъ-Сакенъ, — религіозный и богомольный, — его даже самъ знаменитый Филаретъ московскій прочилъ въ оберъ прокуроры Святѣйшаго Синода на мѣсто графа Протасова! — потребоваль, однако, отъ Фигуры:

— По крайней мѣрѣ — *покайтесь*.

Раскайся въ томъ, что поступилъ христіански, а не звѣрски — не убилъ, а простилъ оскорбившаго врага! Фигура отказался.

— Вы бы и второй разъ, пожалуй, простили?

— Во второй-то разъ оно легче.

— Вонъ какъ!.. Вонъ какъ у насъ!.. Солдатъ его по одной щекѣ ударилъ, а онъ еще и другую готовъ подставить!

Фигура подумалъ: «Цыц! не смѣй этимъ шутить!» — и «молча посмотрѣлъ на него съ таковымъ выраженіемъ». Остенъ-Сакенъ смутился.

Но смутился фельдмаршалъ потому, что въ «рыцарствѣ чести» онъ, все-таки, былъ человѣкомъ исключительнымъ, такъ какъ читалъ Писаніе и вспомнилъ, чѣмъ словами онъ легкомысленно сыгралъ, кѣмъ и какъ они были сказаны. Вспомнилъ, что «овечьи добродѣтели», надъ которыми сейчасъ подтруниваютъ иные авторитетные военные голоса, имѣютъ въ свою защиту всю книгу ученія Христова, — вспомнилъ и прикусилъ языкъ. А другой рыцарь чести, вродѣ вышеупомянутаго полковника, «почерпавшаго христіанскія правила изъ военного артикула», ничуть не смутился бы, но съ убѣжденіемъ нравственнаго долга повторилъ бы Фигурѣ:

— Что вы мнѣ съ христіанствомъ? я съ васъ службу спрашиваю.

Такъ точно вѣдь и истинно рыцарскій и справедливо прославленный своею фронтовою гуманностью, генералъ Драгомировъ, въ сущности, отвѣчаетъ теперь по журловскому дѣлу, когда скорбитъ о ненаходчивости Кублицкаго-Піоттуха и о томъ, что у офицеровъ недостаточно остро оттачиваются шашки на случай столкновенія съ непріателемъ въ мирное время; когда онъ снисходительно объявляетъ, что вина Кублицкаго-Піоттуха, за которую тотъ казнилъ себя, есть не столько его вина, сколько чужая: юношу, такъ сказать, среда заѣла, — офицеры отъ долгаго мира распустились настолько, что разучились рубить людей, и мысль рубить поздно приходитъ имъ въ голову. Бруть, конечно, — честный человѣкъ, а М. И. Драгомировъ, конечно, — человѣколюбивѣйшій генералъ, по правиламъ человѣколюбія онъ почерпаетъ, все-таки, не глубже, какъ изъ военнаго артикула.

Остенъ-Сакенъ стыдитъ Фигуру отсутствіемъ «благо-

родной гордости, которая возвышает человѣка». Спокойный отвѣтъ Фигуры:

— Я ни про какую благородную гордость ничего въ Евангеліи не встрѣчалъ, а читалъ про одну только гордость сатаны, которая противна Богу.

Другой авторъ-философъ, уже совсѣмъ великій писатель русской земли, и, какъ называлъ его Вл. С. Соловьевъ, «почти пророкъ», — О. М. Достоевскій, описалъ намъ подобное же поразительное и мгновенное превращеніе офицера и «рыцаря чести» въ христіански мыслящаго человѣка, въ «христіолюбиваго, воина» на барьеръ поединка: внезапно озаренный свѣтомъ человѣчности, какъ новый Савль предъ Дамаскомъ, дуэлистъ, выдержавъ выстрѣлъ противника, крикнулъ:

— Слава Богу! Не убили человѣка!

Бросилъ заряженный пистолетъ и извинился.

— Да что вы? Какъ же это? Нельзя!—протестуютъ секунданты. Даже противникъ возражаетъ:

— Какъ же вы вчера-то?

— Вчера я былъ глупъ, а сегодня поумнѣлъ.

Этотъ офицеръ сдѣлался въпослѣдствіи старцемъ Зосимомъ.

— Вчера я былъ глупъ, а сегодня поумнѣлъ,—тѣмъ и заключилъ свои счеты съ претензіями рыцарской чести христіанскій неопитъ, исходя изъ откровенія евангельскаго. Теперь послушаемъ опять суроваго, насмѣшливаго, менѣе всего христіанскаго Шопенгауэра, разбиившаго тотъ же предразсудокъ съ точки зрѣнія античнаго здравомыслія. Онъ привелъ мнѣнія Марія, Платона, Сократа, Цицерона, Демосоена, Музонія Руфа, Кратеса, Діогена, Сенеки... И вдругъ—крутой, столь свойственный его стилю, поворотъ и убійственный выстрѣлъ:

— Да,—воскликнете вы:—то были мудрецы!

— А вы развѣ глупцы?—Согласенъ!

Два полюса философскаго міровоззрѣнія—Достоевскій

въ старцѣ Зосимѣ и Шопенгауэрѣ—сошлись въ отвращеніи къ институту и ритуалу рыцарской чести даже до одинаковой рѣзкости выраженій. Носитель русско-византійскаго православія и германскій новый язычникъ равно казнили ея произволь силою убѣжденнаго, обоюдоостраго анализа. Порабощаются ею слабость и недомысліе. Крѣпкій разумъ и просвѣщенная воля ее презрительно отмечаютъ. Всюду одинаково: и въ кельѣ монаха Зосимы, и въ кабинетѣ франкфуртскаго мудреца...

О хулиганахъ.

«Во что вѣришь, то и есть»,—говорить Максимъ Горькій устами Луки въ «На днѣ». Афоризмъ хорошій не только для отвлеченныхъ идей, но и для многихъ общественныхъ явленій. Имѣется и въ числѣ послѣднихъ особая категорія, существованіе которой длится лишь до тѣхъ поръ, покуда вы въ него вѣрите: а какъ перестали вѣрить,—глядь, и стерлась категорія; никакого общественного явленія нѣтъ и не было. Былъ общественный миѳъ, въ который всѣ вѣрили, и который растаялъ весь безъ слѣда, какъ скоро его провѣрили.

Сколько ни читаю и ни слышу я о пресловутыхъ хулиганахъ, преступныхъ подросткахъ и малолѣткахъ, якобы корпоративно негодяйствующихъ на улицахъ русскихъ большихъ городовъ, исторія ихъ представляется мнѣ подобною исторіи мидянъ: она темна и баснословна. А профессиональное хулиганство, какъ корпоративная идея, такъ сказать, рисуется именно тѣмъ общественнымъ бѣдствіемъ, въ которое если вѣрить—оно есть, а если въ него не вѣрить, то его и нѣту. Печать по этому вопросу крайне сомнительна. До сихъ поръ не рѣшенъ даже вопросъ, миѳичны или дѣйствительны прославленные хулиганскія организации. Я читалъ во «Всемирномъ Вѣстникѣ» интересную статью, доказывающую, что организации существуютъ, и, будто бы, въ одномъ уже Петербургѣ, число хулиганствующей молодежи достигаетъ 6,000 мальчишекъ.

раздѣленныхъ на полки: «Гайды», «Рощи», «Линейцевъ», «Петергофцевъ» и имъ. подобныхъ «развратныхъ молодыхъ людей, въ послѣдствіи разбойниковъ»,—какъ опредѣлялъ товарищей Карла Моора Михаилъ Достоевскій, русскій переводчикъ Шиллера. Я не смѣю отрицать этихъ свѣдѣній, потому что я давно не былъ въ Петербургѣ, да и ни въ какомъ крупномъ русскомъ центрѣ. Очень можетъ быть, что теперь народились и «Гайды», и «Рощи», и «Линейцы». Но за то смѣю увѣрить почтеннѣйшую публику, что разбойничій миѳъ о «Гайдѣ» и «Роцѣ» ходилъ по городу и усиленно повторялся страхомъ, у котораго глаза велики, еще въ то время, когда фактически никакихъ «Гайдъ» и «Роцъ» не было и въ поминѣ, чтó и выяснили въ свое время, вызванныя общественнымъ перепугомъ, дознанія (какъ полицейское, такъ и репортерское). Я тогда редактировалъ большую петербургскую газету, располагавшую хорошими средствами, и очень интересовался нарождавшимся столичнымъ вопросомъ о тайныхъ организаціяхъ хулиганства. Но, несмотря на крупныя предложенія и траты, опредѣленныхъ свѣдѣній никакихъ не могъ получить, а то, что выдавалось за таковыя, пахло выдумкою и тою ненужною, романтическою таинственностью, которая, въ рассказѣ о сомнительномъ фактѣ,—лучшая показательница его небытія. Ужасы были какіе-то расплывчатые, мѣсто и время дѣйствія устанавливались плохо, личности—еще хуже. Страшной легенды—сколько хочешь, а исторія оставалась мидянской: была темна и баснословна. Самъ я жилъ тогда на Петербургской сторонѣ, въ двухъ шагахъ отъ Большаго проспекта и Петровскаго парка, слѣдовательно, какъ разъ въ предполагаемомъ районѣ дѣятельности грозныхъ «Рощи» и «Гайды». Возвращаться домой приходилось каждый день поздно—изъ редакціи, изъ театровъ, въ полночь и за полночь, «когда все доброе ложится и все недоброе встаетъ». И—хоть бы разокозъ послалъ мнѣ Богъ на встрѣчу удалыхъ добрыхъ молодцевъ

«Рощи» и «Гайды». Они были для меня—вродѣ духовъ на спиритическомъ сеансѣ: какъ извѣстно, вѣрующимъ духи очень скоро начинаютъ и стучать, и столомъ вертѣть, и карандашомъ писать, и на гармоникѣ играть; но если въ компанію сеанса замѣшался скептикъ, готовый безцеремонно ухватить медиума за стучащую ногу или пишущую руку, то духи считаютъ болѣе благоразумнымъ съ такимъ дурнымъ обществомъ не заигрывать. Всѣ эти наблюденія, неудачи и провѣрки привели меня къ заключенію, что никакихъ «Рощи» и «Гайды» на Петербургской сторонѣ въ мое время не было, и нелѣпыя общества эти родились, розничной продажи ради, въ воображеніи репортажа уличныхъ газетъ. Послѣднія очень успѣшно торговали «Рощею» и «Гайдою», когда выдыхались странникъ Антоній, блаженъ мужъ Иванушка и гадалка Матридія, а все, что онѣ повѣствовали о страшныхъ хулиганскихъ корпораціяхъ, необычайно напоминало содержаніе романовъ покойныхъ Животова и Цѣхановича: превращались въ дѣйствительность страницы «Пирата Власа» и «Макарки-Душегуба». Повторяю: я не отрицаю, что народились впоследствии какія нибудь «Роща» и «Гайда», но лишь не вѣрю, что онѣ существовали раньше распространившейся о нихъ легенды. Эпосъ «Гайды» и «Рощи» предшествовалъ ея исторіи. Dichtung шло хронологически впереди Wahrheit. Полиція, въ официальномъ заявленіи градоначальника, держалась тогда, помнится, того же мнѣнія, что «Гайда» и «Роща»—мишѣ мелкой печати, газетныя утки. Большая печать писала по вопросу этому очень осторожно и обходила его ни въ да, ни въ нѣтъ. Кстати, для историковъ русскаго языка: словомъ «хулиганъ» первый обогатилъ его, если не ошибаюсь, петербургскій хроникеръ А. П. Юрьевъ.

Однако, нельзя спорить, даже и отрицая преступныя хулиганскія корпораціи, что въ концѣ девяностыхъ годовъ Петербургъ въ нѣкоторыхъ уголкахъ своихъ сдѣлался го-

родомъ не безопаснымъ по вечерамъ, потому что по улицамъ его, дѣйствительно, стали шататься невѣсть откуда появившіеся пьяные подростки, производя всевозможныя безобразія. Прежде этого не было — по крайней мѣрѣ, такъ часто и въ такихъ рѣзкихъ размѣрахъ. Внезапный численный и качественный ростъ уличныхъ скандаловъ, производимыхъ подростками, конечно, и подалъ смущенной обывательской и услужливой репортерской фантазіи поводъ вообразить и сочинить цѣлыя скандалящія корпорации, пьяныя шайки въ заговорѣ противъ общественнаго спокойствія и тишины. Между тѣмъ, дѣло объяснялось гораздо проще, безъ всякаго фразеологізма: въ городѣ была введена, привилась и развилась винная монополія. Однимъ изъ основныхъ мѣропріятій ея было уничтоженіе распивочнаго пьянства: винная лавка торгуетъ только на выносъ, а выпить купленную двадцатку пьяница ухитрится, гдѣ можешь. Мѣропріятіе это выгнало на улицу пьянство, которое прежде ютилось по кабакамъ и злачнымъ мѣстамъ, имъ подобнымъ. Панели городскихъ окраинъ устѣялись скитающимися въ полпьяна алкоголиками. Прежде они пили и безобразничали въ четырехъ стѣнахъ питейнаго дома, и теперь пьютъ и безобразничаютъ, разгуливая по улицамъ. Явились «бродячіе кабаки» и тому подобныя прелести, а на ряду съ ними и скандалы хулиганства. Почему скандалы производились и производятся преимущественно подростками и молотѣтками? Потому что подростокъ легче поддается алкоголю, и отравленіе спиртомъ въ молодомъ организмѣ сказывается почти всегда большимъ буйствомъ, заносчивостью, наглостью, жестокостью, гнѣвливостью, вспыльчивостью. Пьяный мальчикъ—очень опасное существо. Напоить мальчика до пьяна—проступокъ не только противъ его здоровья, но и противъ благополучія общественнаго. Изъ пьяныхъ взрослыхъ задоръ челоѣконенавистнической удалы родится, можетъ быть, въ одномъ на десять; пьяные подростки почти всѣ отвратительно задорны. Мо-

нополія наводнила улицы полупьяными мальчиками, наливающимися водкою на ходу: вотъ секретъ и корень внезапно вспыхнувшего хулиганства. Достаточно вспомнить для аналогіи таблицу доктора Н. И. Григорьева («Алкоголизмъ и преступленія въ г. С.-Петербургѣ»), составленную наканунѣ введенія монополіи и показывающую, что изъ числа 15,000 лѣчившихся алкоголиковъ Петербурга почти 2.000 были моложе 26 лѣтъ, и около 500 моложе 20 лѣтъ. Судите же по этимъ отношеніямъ объ алкоголикахъ не лѣчившихся! Если имѣть терпѣніе прослѣдить исторію распространенія хулиганства въ большихъ городахъ (Одесса, Ростовъ, Кіевъ, Нижній, Ярославль), то причинная связь между монополіей на выносъ и хулиганствомъ устанавливается легко. Хулиганскія мнимыя корпорации, всѣ, хронологически лишь на нѣсколько мѣсяцевъ моложе введенія монополіи. Талантливый беллетристъ публицистическаго типа, г. С. Юшкевичъ, открыто и справедливо указалъ на эту причинную связь въ своемъ «Человѣкъ» трагическимъ рассказомъ о зимнихъ бѣдствіяхъ одесскаго порта, сдѣлавшихся невыносимыми для рабочаго-босняка со введеніемъ монополіи и упраздненіемъ тепла распивочныхъ заведеній. Кабакъ російскій былъ гнуснѣйшая мерзость, и очень хорошо, что онъ исчезъ съ лица нашего отечества, какъ лопнувшій прыщъ. Но надо носить въ себѣ великое кабинетное *prude*'ство, чтобы увидеть въ словахъ г. Юшкевича «скорбь по кабаку» и наброситься за то на молодого автора съ ругательствами, какъ то сдѣлалъ г. Н. Энгельгардтъ. Не устроивъ «шлющемуса народу» (помните,—у Островскаго въ «Самозванцѣ» Шуйскій говоритъ: «велика сила—шлющійся народъ!»), новаго чистаго тепла, погасили тепло старое, грязное, вонючее. Выморозили таракановъ изъ запечья,—они и расплозились. А расплозились, дебоширять, такъ какъ нищета и безпріютность—плохіе совѣтчики. Въ той же добросовѣстной и безпристрастной книгѣ Григорьева оказывается, что

ребята, держись крѣпко другъ за друга! Помните: товарищество—все! Это—въ какомъ хотите романѣ уголовномъ: что Рокамболь, что «Пиратъ-Власъ» только товариществомъ и держались...

Дѣти поклялись въ товариществѣ на жизнь и смерть. По возвращеніи изъ Одессы, они озадачили петербургскую полицію, забравшись въ запустѣлое Шувалово на холодную, заколоченную къ зимѣ, дачу, гдѣ жили и дрогли нѣсколько дней. Зачѣмъ? Оказывается: въ молодья, фантастически настроенныя головы влѣзла романическая идея устроить «притонъ», откуда они будутъ таинственно выходить на роковой промыселъ, и гдѣ, возвращаясь съ добычею, они будутъ дувать дуванить. Учитель ихъ въ это время бросилъ, и идею притона мальчишки разрабатывали уже своимъ умомъ, чтò и замѣтно, такъ какъ врядъ ли когда либо какому либо преступнику-бѣглецу приходила идея глупѣе, чѣмъ прятаться въ брошенномъ на зиму дачномъ поселкѣ и уже тѣмъ самымъ привлекать на себя вниманіе полиціи: чтò, молъ, за чудачи такіе? Съ чего имъ пришла охота мерзнуть въ нетопленныхъ срубкахъ?!

Гекъ Финнъ и Томъ Сойеръ—незабвенные и поразительно вѣрные дѣтскіе типы, созданные Маркомъ Твэномъ,—начитавшись лубочныхъ книжекъ о разбойникахъ и пиратахъ, сыграли въ пиратовъ съ ничуть не меньшею серьезностью, чѣмъ питерскіе два подростка, о которыхъ я рассказывалъ, сыграли въ Рокамболя и его развеселую мошенническую жизнь. Кто изъ насъ въ раннемъ возрастѣ не зачитывался Эмаромъ и Майнъ-Ридомъ до страстныхъ мечтаній бѣжать въ Америку, чтобы кочевать по преріямъ, охотиться за бизонами, скальпировать индѣйцевъ, и т. д., и т. д.? А иные и бѣгали! Дѣло въ томъ, чьи руки наложить свои пальцы на юные, еле зачавшіе сознательную работу, мозги, чье впечатлѣніе и вліяніе отразятся на мальчикѣ въ ту пору, когда ему становится мало быть безгласнымъ свидѣтелемъ текущей жизни, а

тянетъ участвовать въ ней «по взрослому». Всякая игра есть зеркало того идеала, который зароняють въ смутное сознание ребенка впечатлѣнія жизни взрослыхъ. Тотъ мальчикъ, что въ сказкахъ «Тысячи и одной ночи» разсудилъ, играя съ товарищами, дѣло о золотѣ украденномъ изъ отданныхъ на храненіе оливокъ, — дѣло, оказавшееся не по силамъ мудрому и справедливому Гарунъ-аль-Рашиду, — тотъ смысленный, наблюдательный мальчикъ не умеръ и не умретъ никогда. Онъ играетъ на парижскихъ улицахъ въ Комба и монаховъ, на площадяхъ Мадрида — въ бой быка съ тореадоромъ Лагаотихо, на римской Piazza di Montecitorio — въ потасовку депутатовъ, въ Минусинскѣ — въ допросъ съ пристрастіемъ пойманнаго бродяги, или въ грабежъ степной заимки, на Сахалинѣ — въ сожителей, которые «пришиваютъ» своихъ сожительницъ и т. д. Общество имѣетъ такихъ дѣтей, какихъ оно достойно... Дѣти — предательское зеркало вѣка взрослыхъ: они смотрятъ въ зеркало, надѣясь видѣть свое отраженіе, но, вмѣсто того, находятъ уморительныхъ обезьянокъ, часто смѣшныхъ, еще чаще скорбныхъ. Дѣтей ли то вина? Когда люди сердятся на испорченныхъ дѣтей, они на самихъ себя сердятся; когда родители въ ужасѣ отъ своего ребенка, это — фикція: на самомъ-то дѣлѣ имъ надо быть въ ужасѣ отъ самихъ себя.

О преступныхъ дѣтяхъ исписаны цѣлые томы. Я мало вѣрю въ возможность дѣтей, прирожденно порочныхъ, — есть только дѣти, загубленные воспитаніемъ и средою. Порочный поступокъ, даже рядъ порочныхъ поступковъ, еще далеко не доказываетъ порочной натуры ребенка или подростка. Ознакомленный съ порокомъ, да еще въ формѣ удалства и молодчества, мальчикъ начинаетъ играть въ него совершенно по тому же образцу, какъ, въ болѣе счастливыхъ условіяхъ, его товарищи играютъ въ подвиги добра и доблести душевной. Въ старинномъ русскомъ подвижничествѣ, да и по сейчасъ въ старообрядчествѣ, есть извинительная этическая формула, что сей, молъ, грѣхъ не грѣхъ,

но токмо паденіе. Говоря о молодыхъ преступникахъ, я искренно желалъ бы, чтобы снисходительная формула эта, какъ можно чаще, вспоминалась ихъ судьямъ и строгимъ описателямъ. Грѣхъ ихъ—почти постоянно не грѣхъ, но только паденіе,—паденіе случайное, подражательное, по чужому вліянію человѣка или книги, *по игръ*. Молодой преступникъ сыгралъ въ грѣхъ, и былъ въ моментъ этой игры опасенъ для общества. Но игра прекратилась, и участникъ ея безопасенъ на будущее время, по всей вѣроятности, на всю жизнь. Съ этимъ очень надо считаться при раздѣлкѣ общества съ молодымъ преступникомъ, а считаются, правду сказать, ужасно мало. Въ принципѣ наши наказанія малолѣтнихъ—исправительныя, но на дѣлѣ они приняли совершенно карательныя формы и, какъ карательныя, понижаются и разсматриваются инстинктомъ народнымъ. Оттого-то они мало кого исправляютъ. Исправлять значить воспитывать. Вопросъ исправленія, слѣдовательно, — не въ томъ, чтобы наказать мальчишку за скверную и преступную игру, а въ томъ, чтобы лишить его охоты къ ней, внушить ему вредность и мерзость, напущенной имъ на себя, забавы. Бѣда и опасность для общества отъ молодого преступника наступаютъ уже много позже—въ дѣющейся привычкѣ къ игрѣ, когда она, съ возрастомъ, переходитъ изъ игры въ потребность, изъ внѣшняго наслоенія—во вторую натуру. Все по тому же дѣлу о двухъ воришкахъ, ограбившихъ чадолубивую старуху, разговаривалъ я съ однимъ весьма почтеннымъ представителемъ петербургской адвокатуры. Я тогда еще не вовсе сбросилъ съ себя увлекательныя пути, моднаго въ моей молодости, ломброзіанства и въ вопросахъ о фатальной уголовщинѣ, прирожденной порочности, преступной расѣ иногда сбивался на старую, привычную стезю, а потому и очень любилъ, когда меня на ней авторитетно разбивали, теоретическимъ ли доказательствомъ, живымъ ли примѣромъ. На этотъ разъ, мой собесѣдникъ возразилъ мнѣ эпизодомъ изъ собственного прошлаго.

— Вы считаете меня честнымъ человѣкомъ?

— Еще бы!

— Чертъ прирожденной порочности во мнѣ не замѣчаете?

— Не вижу!

— Признаковъ вырожденія? Осмотрите мочки ушей, родимыя пятна, толщину волосъ, обратите вниманіе на лицевой уголь...

— Все въ порядкѣ, кажется... Какъ въ паспортахъ пишутъ: «ротъ и носъ—обыкновенные, особыхъ примѣтъ не имѣть»...

— Сверхъ того, могу васъ завѣрить,—что я—законный сынъ своихъ родителей, и въ роду нашемъ не было пьяницъ, сумасшедшихъ, эпилептиковъ...

— Съ чѣмъ васъ и поздравляю!

— А представьте себѣ: при этакой счастливой организации, я, въ тринадцать лѣтъ, все-таки ровно цѣлую недѣлю занимался воровствомъ книжекъ изъ одной петербургской бібліотеки!

— Зачѣмъ?

— А спросите!—и самъ не знаю, зачѣмъ. Вѣдь, я—сынъ богатыхъ родителей: только попроси,—книгъ явилось бы сколько угодно! Просто: спортъ такой завели! Попалъ къ намъ въ классъ дрянъ-мальчишка: стали мы съ нимъ водиться; какъ-то разъ отправились вмѣстѣ съ нимъ въ бібліотеку мѣнять книги. Выходимъ на улицу, а онъ хохочетъ и показываетъ мнѣ изъ-подъ полы: цѣлую кипу стащилъ!.. А такъ какъ въ семъ дивномъ отрокѣ мнѣ въ то время все казалось очаровательнымъ и достойнымъ подражанія, то какъ же было мнѣ не послѣдовать его примѣру, не отличиться такою же удачею? На другой же день пошелъ опять въ бібліотеку и, когда приказчица зазѣвалась, «спѣрь»!!.. какъ сейчасъ помню, Стенли о Ливингстонѣ!.. И пошло: станемъ, а потомъ хохочемъ, какіе мы ловкіе прохвосты!

— Чѣмъ же кончилось?

— Да, слава Богу, кражѣ этакъ на шестой попались. Библиотекаръ,—оказывается, былъ уже не въ первый разъ въ подобной передѣлкѣ—безъ всякой церемоніи отколотилъ насъ обоихъ линейкою, по чему попало, и свезъ къ родителямъ, а у меня отецъ былъ старикъ мудрый и суровый... Ну, тутъ я постигъ, что шутка шуткѣ рознь, и «не укради» не токмо на скрижаляхъ Моисеевыхъ для теоріи писано, но должно примѣняться и къ практикѣ житейской. А иначе, пожалуй, и втянулся бы... и теперь не я бы защищалъ, но меня бы другіе защищали!

Продолжительная игра втягиваетъ ребятъ въ куреніе, школьный проступокъ, болѣе условный, формальный, дисциплинарный, чѣмъ существенный: нельзя относиться къ куренію слишкомъ отрицательно, при страшномъ переутомленіи гимназистовъ въ старшихъ классахъ; очень многіе педагоги, которые сами, безъ папирсы, не въ состояніи были бы справляться съ горами ученическихъ тетрадокъ, понимаютъ это и смотрятъ на гимназическое куреніе сквозь пальцы. Подражательная игра втягиваетъ въ выпивку, въ развратъ, что уже весьма существенно. Припоминаю гимназическое время. У насъ были цѣлые классы, гдѣ ни одинъ ученикъ не ругался дурными словами и не зналъ тайнаго порока,—и, наоборотъ, были классы, гдѣ все это считалось необходимымъ, чтобы «не быть бабою». Были выпуски поголовно трезвые и, наоборотъ, прославленные кутежомъ чуть не съ четвертаго класса. Прошелъ цѣлый рядъ выпусковъ дѣвственныхъ или, по крайней мѣрѣ, нравственныхъ, но вотъ—въ одинъ шестой классъ ввалились два сокровища, изгнанныя изъ закрытаго привилегированнаго заведенія, и началось въ классѣ чортъ знаетъ что! Хвастались, что спятъ на урокахъ, потому что не успѣли, будто бы, протрезвиться «со вчерашняго», хвастались (врали!), будто приходятъ въ гимназію прямо изъ «заведенія». Курсъ провонялъ разговорами о дѣвкахъ, барковщиною, скверными фотографіями и т. д. Большинство, ко-

нечно, нагнали на себя, чтобы не отстать от других и не уронить себя во мнѣнїи товарищей. Старшіе смотрѣли на этотъ курсъ съ презрѣніемъ, но младшіе находили, что «молодцы», и усиленно подражали. А игра въ нарочную дерзость съ начальствомъ? Вѣдь, это же постоянный спортъ гимназистовъ на переходѣ изъ младшихъ классовъ въ старшіе, — спортъ, ничѣмъ, кромѣ игры въ молодечество, необъяснимый, потому что дерзять и съ причиною, и безъ причины, и ненавистнымъ преподавателямъ, и любимымъ: съ первыми — воинственно грубы, со вторыми — непріятно фамиліарны. Педагоги глупые и грубые, бурбоны и формалисты, мстятъ за это «исторіями», до исключеній и волчьихъ паспортовъ включительно. Но никакія «отметанія» паршивыхъ овецъ, дабы не испортили стада, не уничтожаютъ хроническаго порока, неоднократно признаннаго и министерскими циркулярами. Между тѣмъ, педагогъ мягкій, умный, съ тактомъ и умѣніемъ выжидать, выправляетъ распущенный и дерзкій классъ даже безъ особенныхъ съ тому усилій. Отбросивъ мелкое самолюбіе, готовое раздражаться каждымъ булавочнымъ уколомъ, онъ умѣетъ иную выходку проглотить, будто ея и не было, за другую ловко оборвать и высмѣять самого «дерзилу», докажетъ бессмыслицу и неблагородство третьей, за четвертую строго отчитаетъ, говоря, «какъ власть имущій», цѣлый классъ и т. д. Подросли мальчики, перешли изъ среднихъ классовъ въ старшіе, — глядь, дѣло обошлось безъ всякихъ исключеній и волчьихъ паспортовъ, само собою: игра въ дерзость прошла безслѣдно, на смѣну ей пришла какая-либо другая по возрасту и по времени.

Разбирая исторіи о дѣтяхъ-преступникахъ, многіе отмѣчали — и я не буду отрицать! — оттѣнокъ крайне холодной, иногда даже излишней, какъ бы аффектированной жестокости въ актѣ преступленія, щегольства имъ, и — весьма часто — отсутствіе раскаянія. У Дриля вы можете найти коллекцію подобныхъ ужасовъ. Эти дѣтскія безобразія часто

цитируются и ставятся на видъ, какъ показатели преждевременнаго порочнаго развитія, ранняго разумѣнія и глубокой неисправимой испорченности прирожденно преступныхъ натуръ. Я же, наоборотъ, думаю, что здѣсь, именно, отражается вліяніе поставленнаго и проводимаго мною принципа: дѣти—никогда не злодѣи, но лишь играютъ въ злодѣевъ и, заигрываясь, не вѣдаютъ, что творять. Міръ не видалъ въ дѣйствительности ни одного изверга рода человеческого страшнѣе тѣхъ бандитовъ и предателей, которыхъ ежедневно представляютъ актеры на подмосткахъ мелодрамы. А дѣти—усердные и постоянные актеры. Каждая дѣвочка, играя съ куклою, очень добросовѣстно исполняетъ отъ ея имени ежедневно, по крайней мѣрѣ, десятокъ житейскихъ ролей. Каждый мальчишка, играя въ солдаты, успѣваетъ побывать на дню нѣсколько разъ и рядовымъ, и офицеромъ, и туркомъ, и Кутузовымъ и даже пушкою, — и все это строго, чинно, аккуратно, съ усиліями, чтобы выдержать роль въ лучшемъ видѣ: скорѣе пересолить, чѣмъ не досолить. Настоящій Кутузовъ, во время Бородинскаго сраженія, навѣрное, не былъ такъ серьезенъ, какъ десятилѣтній генераль, командующій русскою арміею въ игрѣ въ Бородинское сраженіе. Одинъ мальчикъ играетъ Кутузова, а другого лукавый уговорилъ сыграть Рокамболя. И оба стараются изобразить своихъ героевъ, одинъ — доблестнаго, другой — порочнаго, какъ можно сходнѣе. Рокамболь блисталъ въ мошенничествахъ своихъ рѣдкимъ хладнокровіемъ,—ну, стало быть, и подражателямъ его надо блеснуть адскою находчивостью и закоснѣлостью въ порокъ! Юный народъ—первобытный, лубочный: ему нужны яркія краски и густыя тѣни! Такія краски и тѣни дѣти и кладутъ на всякую игру свою, заимствованную изъ житейскаго репертуара. Рѣшающій вопросъ, значить, — въ руки какого режиссера дитя попадетъ, и какую роль отъ него получить къ исполненію... Если ребенокъ избираетъ героемъ рыцаря, то это будетъ Баярдъ, безъ страха и

упрека: если же, по несчастію, онъ увлечется разбойничьимъ идеаломъ, выхваченнымъ изъ какого-нибудь романа, то приложить всѣ усилія, чтобы перелодить самого Картуша и Фра-Діаволо! Въ Галиціи, когда печатался романъ Эмиля Францоza «Борьба за право», дѣти воображали себя Тарасами и гайдамачили, казня въ играхъ своихъ житейскую несправедливость и обманныя богатства и помогая обиженной нищетѣ. Польскія дѣти играютъ охотнѣе всего въ Володыевскаго, Скшетускаго, Подбипенту, Заглобу, изъ романовъ Сенкевича. Что же удивительнаго, если русскія дѣти подваловъ и чулановъ, до которыхъ литература доходитъ только въ образѣ «Пирата-Власа» и въ подобіи «Макарки-Душегуба», мечтаютъ о «Рощахъ» и «Гайдахъ»? Дѣтская фантазія—еще разъ скажу—зеркало и только зеркало, и... «на зеркало неча пенять, если рожа крива»!

Японія и еврейство.

I.

Въ воскресенье, 15 февраля 1904 года, Россія была оповѣщена о новомъ и совершенно неожиданномъ политическомъ бѣдствіи, ея постигшемъ: фельетонистъ газеты «Новое Время», г. Меньшиковъ, проникательно разоблачилъ секретъ русской войны съ Японіей, при чемъ обнаружилъ, что войны съ Японіей, собственно говоря, у насъ не было и нѣтъ, а есть несравненно опаснѣйшая война съ евреями, которые суть японцы, или, —если вамъ больше нравится обратный поворотъ фразы,—хотя и есть война съ японцами, однако, японцы суть евреи. Словомъ, напишите на бумагѣ «Японія», и выйдетъ—«жиды». Нѣчто подобное уже возвѣщалось когда-то русской публикѣ въ небызвѣстной повѣсти, герой которой настаивалъ, во-первыхъ, на томъ, будто Китай есть анаграмма Испаніи, а, во-вторыхъ, на томъ, что его, героя, зовутъ не Авксентіемъ Ивановымъ Поприщичнымъ, но Фердинандомъ Восьмымъ, королемъ испанскимъ. На престолъ испанскій г. Меньшиковъ, покуда, претензій не представляетъ, но анаграмматическія претензіи покойнаго Авксентія Ивановича расширилъ весьма значительно. Такъ что, отнынѣ — напишите «Японія», и выйдетъ «жиды».

Г. Меньшиковъ выплылъ въ своей удивительной статьѣ за Геркулесовы столбы народоненависти. Дѣло дошло до

прямыхъ утвержденій, что японская война есть расплата евреевъ за кишиневскій погромъ, за непринятіе русскимъ правительствомъ американской ноты объ евреяхъ, и даже— за высылку изъ Россіи г. Брагама, корреспондента англійскихъ газетъ. Я слишкомъ уважаю своего читателя, чтобы думать, что ему нужны опроверженія и серьезные споры о подобныхъ даже ужъ и не благо, но злоглупостяхъ. Если бы государства,—хотя бы и лишь «государства въ государствахъ», какимъ почитаютъ и величаютъ русское еврейство меньшекибообразные политики,—если бы государства объявляли другъ другу войны за высылки корреспондентовъ, то, во-первыхъ, они такъ бы никогда и не переставали воевать, а во-вторыхъ, и безъ того уже повсемѣстно толстый и рослый, военный бюджетъ поглотилъ бы тогда въ свое ненасытное брюхо рѣшительно всѣ деньги на всей поверхности земного шара!

Отечество наше переживаетъ сейчасъ очень серьезныя и трудныя минуты лицомъ къ лицу съ внѣшнимъ врагомъ, оказавшимся гораздо сильнѣе, чѣмъ ожидалось. Весьма вѣроятно, что за спиной этого врага стоятъ еще и еще внѣшніе враги, съ ними ждетъ насъ еще и еще борьба. Отъ Россіи требуется грозное и долгое напряженіе на мощную самозащиту. Всѣми мышцами своего гигантскаго организма должна она противостать мышцамъ другихъ государственныхъ организмовъ, извнѣ на нее напирающихъ. Организмъ Россіи—сложный; его части разнообразны по расѣ, языку, вѣрѣ, нравамъ, но онѣ связаны въ крѣпкое единство государственнымъ символомъ «Всея Россіи» и надеждами, что въ этомъ огромномъ историческомъ символѣ и союзъ—залогъ ихъ будущаго благополучія. Мирная совокупность частей составляетъ цѣлое. Цѣлое, возстающее на свои части и ихъ отлетающее, уже не будетъ цѣлымъ: оно застрянетъ въ переходномъ состояніи болѣе или менѣе крупной дроби. Однако, именно, проповѣдью превращенія цѣлага Россіи въ крупную дробь находить удобнымъ заняться меньшекибообразная

политика какъ разъ въ то время, когда нашему отечеству особенно важно и чувствовать, и сознавать себя крѣпкимъ, нераздѣльнымъ, надежно слитымъ *цѣлымъ*. Для того, чтобы съ достоинствомъ и энергіей противостоять нападенію внѣшняго врага, мы, прежде всего, должны имѣть и охранять полный миръ внутри государства. Плохо воюетъ витязь, будь онъ хоть семи пядей во лбу и какіе ни надѣнь на него доспѣхи, ежели во время боя одолѣваетъ его острый кишечный катарръ или какой-либо туберкулезный процессъ. А, между тѣмъ, меньшикообразная политика какъ разъ то и внушаетъ, чтобы, выходя на рать, мы обзавелись одновременно острымъ кишечнымъ катарромъ и туберкулезомъ. Бросается въ массу народную, даже не намекомъ, но прямымъ обвиненіемъ, совѣтъ и призывъ самой болѣзненной внутренней распри. Толпѣ, напуганной и исторически предубѣжденной, внушаютъ съ большимъ апломбомъ и не безъ авторитета: воюя съ японцами, ты воюешь съ евреями; евреи объявили тебѣ войну, чтобы избить тебя руками японцевъ за то, что ты била ихъ, евреевъ, въ Кишиневѣ; око за око и зубъ за зубъ: ты евреямъ—Кишиневъ, а евреи тебѣ—«Варяга», «Корейца» и тому подобныя пріятности... воть, молъ, ты и смекай!.. Сѣрая, нервная, довѣрчивая, смущенная, гнѣвная, полуинтеллигентная масса читаетъ и смекаетъ... Семь миллионовъ изъ ста пятидесяти, двадцатая часть имперскаго населенія ни съ того, ни съ сего объявляются предъ нею во всеуслышаніе подозрительнѣйшими носителями государственной и военной измѣны!.. Да, что же это такое? По какому праву? На какихъ основаніяхъ? Зачѣмъ? Что г. Меньшикову, въ самомъ дѣлѣ, второго Кишинева, что-ли, хочется?

Помню изъ дѣтства своего. Жили мы на дачѣ подъ Москвою, и вдругъ, ночью, набатъ;—въ ближней деревнѣ пожаръ. Побѣжали мы туда и нашли у пламени толпу, удрученную, страшно возбужденную, но занятую не столько тѣмъ, чтобы тушить огонь, сколько бѣшенными поисками:

кто поджегъ? Больше всего ревѣли о какомъ-то странникѣ, проходившемъ якобы деревнею наканунѣ ввечеру. И вотъ, пока люди, освѣщенные багровыми облесками пожара, подъ краснымъ отъ зарева небомъ, ругались, выли, галдѣли, махали руками, кто то крикнулъ:

— Братцы! Да вотъ онъ—странникъ-отъ!.. Поджигатель!.. Бей его, шельму!.. Еще смотрѣть пришелъ на свое паскудство!..

А затѣмъ толпа, съ звѣринымъ ревомъ, бросилась, какъ одинъ человѣкъ, бить и топтать тщедушнаго монашка въ подрясникѣ и скуфейкѣ. Урядникъ, поддержанный нѣсколькими студентами изъ дачниковъ, едва могъ вырвать у разъяреннаго народа этого бѣднягу чуть живымъ, и потомъ монашекъ померъ въ земской больницѣ. А по слѣдствію о пожарѣ оказалось, что: 1) изувѣченный странникъ былъ совсѣмъ не тотъ странникъ, котораго заподозрили въ поджогѣ толпа, но простой зѣвака, притянутый, какъ и всѣ мы, изъ сосѣдняго поселка, любопытствомъ къ ночному пожару; 2) что и тотъ-то странникъ, попавшій въ подозрѣніе у толпы, никакъ не могъ поджечь деревни, потому что проходилъ совсѣмъ не наканунѣ ввечеру, но тремя сутками ранѣе; 3) что, вообще, никакого поджога не было, а пожаръ начался отъ папиросы, оплошно брошенной однимъ дачникомъ въ кучу соломы; 4) что, покуда били мнимаго поджигателя, пожаръ усилился такъ, что не остановить, и огнемъ вымело цѣлую улицу... Пожаръ разорилъ деревню, а избитый монашекъ неповинно померъ въ больницѣ. Кто его убилъ? Думаю, что не тѣ, которые били, а тотъ, кто со слѣпа ткнулъ на него перстомъ и, не разсуждая, рванулся:

— Братцы! нашель! Вотъ онъ, поджигатель! Луи! Дери! Бей!

Г. Меньшиковъ тоже изобрѣлъ своего «поджигателя» и тоже тычетъ на него пальцемъ «къ серьезному соображенію», какъ онъ деликатно выразился... «Азіаты по крови,

уроженцы ближняго Востока, евреи первый ударъ Россіи наносятъ изъ Азіи же, съ Востока Дальняго». Это тыканье перстомъ пишется со спокойною совѣстью въ то смутное время, когда русское общество, огорченное не успѣхами нашего оружія на театрѣ военныхъ дѣйствій, хмурится, кипитъ, чувствуетъ себя нервно взвинченнымъ не лучше толпы на пожарѣ! «Цѣлыя сто лѣтъ мы откладываемъ еврейскій вопросъ, и вотъ *внутренняя* зараза выступаетъ уже какъ злокачественная *наружная* сыпь». Ну, вотъ и договорились!.. Извнѣ горить, — стало быть, бей внутренняго «поджигателя!..» вмѣсто Китая читай Испанію, вмѣсто Японіи жидовъ, вмѣсто Портъ-Артура—Кишиневъ или Гомель!.. Боже мой! Выдержало же перо и вытерпѣла же бумага!

Я не вѣрю и не повѣрю, чтобы г. Меньшиковъ дѣйствительно былъ убѣжденъ, что Японія тождественна жидамъ и Портъ-Артуръ сыграетъ роль реванша за Кишиневъ и Гомель. Для этого не только ему, бывшему проповѣднику гуманизма и толкователю Льва Толстого, но и вообще всякому просвѣщенному человѣку, надо быть, въ самомъ дѣлѣ, въ трансѣ Фердинанда Восьмого. Но для чего захотѣлось ему, какая цѣль притворяться убѣжденнымъ и проповѣдывать злоглупое quasi-убѣжденіе? Было время, и очень недавнее, когда являть себя яримъ антисемитомъ — значило держать своего рода публичный экзаменъ патріота своего отечества. Но сейчасъ, вѣдь, даже и этотъ странный спортъ псевдо-патріотизма, кажется мнѣ, замеръ, приглушенный, повидимому, именно первыми выстрѣлами на Дальнемъ Востокѣ, возвѣстившими русскому обществу, что теперь ему время соединяться, а не разъединяться, и дружить, а не враждовать. Обществу русскому сейчасъ, предъ лицомъ многочисленныхъ возможныхъ внѣшнихъ враговъ его, нужна цѣльность, сплоченность, слитность, единство. Все, что вызываетъ къ раздору между народами нашего имперскаго состава, подъ объе-

диняющимъ интересы ихъ громомъ войны, врядъ ли явится подвигомъ патріотизма даже въ глазахъ членовъ архи-націоналистическаго Русскаго Собранія. Въ рядахъ русской арміи нѣсколько десятковъ тысячъ солдатъ евреевъ, несущихъ военную страду наравнѣ съ великороссомъ, малороссомъ, полякомъ, татаринномъ, армяниномъ. За что оскорбилъ г. Меньшиковъ эти десятки тысячъ солдатъ прямымъ плевромъ въ ихъ націю, какъ повинную, по его фантастическому слѣдствію, въ государственной и военной измѣнѣ? Евреи много читаютъ, — слово г. Меньшикова дойдетъ до этихъ десятковъ тысячъ евреевъ подъ ружьемъ... съ какимъ чувствомъ узнаютъ они, воюющіе за Россію, что Петербургъ, устами довольно извѣстнаго фельетониста распространенной газеты, безъ церемоніи шельмуетъ ихъ, какъ предателей родины и тайныхъ союзниковъ Японіи? Съ какимъ чувствомъ читалъ бы строки г. Меньшикова, напримѣръ, старикъ Гейманъ, покойный покоритель Карса, любимый народный герой прошедшей турецкой войны?.. Деньги—нервъ войны. Антисемиты прожужжали Европѣ уши, что «всѣ деньги—въ рукахъ у жидовъ». Если всѣ деньги у жидовъ, то безъ жидовъ мудрено и воевать, и, если безъ жидовъ мудрено воевать, то, подъ военнымъ громомъ, намъ тоже совсѣмъ не время пугать евреевъ, рекомендуя къ чтенію «жида» вмѣсто «Японіи». И потомъ: вчитавшись въ фельетонъ г. Меньшикова, я убѣдился, что его «еврейская мелодія» — лишь первая пѣсенка, которую онъ, зардѣвшись, поетъ, а впереди предвидятся еще и еще пѣсни: начались ламентачіи объявленіемъ внутренней войны съ евреями, а кончатся—гдѣ Богъ пошлетъ... Въ заключеніи своей статьи г. Меньшиковъ уже сулитъ намъ опасность отъ «юдаизма, ислама и восточнаго безбожія (?), т. е. культа предковъ (?)». — Если прибавить къ этому вражду съ нами англосаксонской расы, то, право, выходитъ, что ненавидятъ насъ и хотятъ насъ уничтожить, — какъ писалось старинными рекламистами, — «во всей все-

ленной и еще въ нѣсколькихъ мѣстахъ». И ужъ Богъ съ ними, съ англо-саксами! Они враги внѣшніе, съ ними какъ нибудь, по привычкѣ покорять подъ ноги всякаго врага и супостата, мы, авось, справимся... А вотъ юдаизмъ-то, исламъ и восточное безбожіе, т. е. культъ предковъ, коими угрожаетъ г. Меньшиковъ?! Вѣдь эти-то оказываются врагами и съ лица, и на изнанку, и внѣшними, и внутренними. Вѣдь, если о нихъ г. Меньшикову повѣрить, то этакъ выходитъ, что мы, бѣдная Русь, только и безопасны въ предѣлахъ до Волги на востокъ и до Здолбунова на западъ, ибо за Волгою уже свирѣпствуютъ, въ весьма изрядномъ количествѣ, исламъ и восточное безбожіе, т. е. культъ предковъ, а за Здолбуновымъ начинается царство юдаизма, именуемое въ просторѣчїи чертою еврейской осѣдлости. Магометанъ въ Россіи живетъ до 16 милліоновъ, евреевъ около семи, язычниковъ наберется до милліона. Итого, страшно подумать! двадцать четыре милліона кандидатовъ въ измѣнники, не считая поляковъ, армянъ, финновъ и прочихъ «сепаратистовъ», которыхъ меньшекибообразная политика рекомендуетъ «къ серьезному соображенію», что въ старину переводилось словами «взять за клинъ», а Любимъ Торцовъ называлъ — «взять подъ сумленіе». Двадцать четыре милліона! Одна шестая имперскаго населенія! Каждый пять человѣкъ въ государствѣ такимъ образомъ, обрекаются г. Меньшиковымъ полицейски смотрѣть въ оба и дрожать, какъ бы шестой не продалъ и не измѣнилъ! Да, вѣдь, это же какой-то бредъ, наконецъ! Это не политика, а тридцать третье марта, шишка подъ носомъ алжирскаго бея!

Внушать основной государственной націи принципіальную вражду къ націямъ, ея соуправляемымъ, вообще — нехорошее дѣло, но сейчасъ, когда государству не легко, нехорошее въ особенности. Мы переживаемъ трудный англо-японскій экзамень не однимъ Петербургомъ и Москвою, а всюю русскою громадою. Всѣ въ отвѣтъ: и

голова, и сердце, и рука, и колѣно. Возбуждать въ государствѣ племенную рознь въ военное время—все равно, что уговаривать витязя на бою: ахъ, витязь! съ врагомъ ты управишься, врага ты не бойся, врагъ для тебя—тьфу! а вотъ колѣно у тебя безобразное, и надо тебѣ отдѣлаться отъ этого некрасиваго колѣна... ну ка, Господи благослови! рубани по колѣну мечомъ! не жалѣй! валяй, умница!..

Русскій витязь выступилъ теперь въ долгій и грозный бой. Всѣ подвластныя племена снабдили его оружіемъ, деньгами, равно напутствуютъ благословеніями и пожеланіями. Онъ закованъ въ броню именно *всенароднаго* подъема, съ которымъ можно дѣлать чудеса, и мы вѣримъ, что онъ сотворить чудеса, которыя спасутъ его внѣшнюю цѣлость, освѣжать и освящать усталую внутреннюю жизнь. Просыпается полуутраченное сознание распатаннаго единства, крѣпнеть ослабѣвшее взаимоуваженіе народностей и сословій, заговорилъ долго молчавшій гражданскій паѳосъ... Интересныя, сильныя, красивыя возрожденія! Россія настроена высоко, настроена хорошо... И г. Меншиковъ чувствуетъ эту высоту и силу момента. Но, чувствуя,—по вновь благопріобрѣтенной имъ абераціи душевной, — въ состояніи формулировать его лишь помышленіемъ:

— Съ такимъ энтузіазмомъ—да хорошую бы жидотрепочку... Господи, ты, Боже мой! Что же бы это за объѣденье?!

Нѣтъ сомнѣнія, что война, какъ бы жутко ни было нести ея бремя, выучитъ насъ многому дѣльному и полезному, воскресивъ своими жестокими уроками многія «забытыя слова», по которымъ не напрасно грустить въ послѣдніе годы русскій гражданскій идеализмъ. И—да воскреснетъ первымъ изъ нихъ то мирное самосознаніе «отечества», которое сказывается гордымъ спокойствіемъ за себя, при внѣшней бѣдѣ, и уваженіемъ къ живущимъ съ тобою въ одной странѣ-фамиліи, въ одномъ государственномъ домѣ! Высшее несчастье для отца семейства жить безъ довѣрія и

уваженія къ своей женѣ, къ чадамъ и домочадцамъ, испытывая ихъ, какъ тайныхъ враговъ, интригами слугъ, сплетнями знакомыхъ. Высшее несчастье для народа, первенствующаго въ семьѣ сложно-національнаго государства, если «доносъ на народности» овладѣваетъ его огромнымъ чувствомъ, бросаетъ его на путь мрачныхъ и жесткихъ заблужденій и оставляетъ ими на его совѣсти пятна и угрызения, неизгладимыя десятилѣтіями. Да спасетъ насъ отъ такой бѣды Богъ!

II.

Г. Меньшиковъ, фельетонистъ газеты «Новое Время», напечаталъ въ ней весьма дикую статью, ни съ того, ни съ сего обвинивъ еврейство русское и иностранное въ авторствѣ японской войны, нашимъ отечествомъ переживаемой: японская война — еврейская-де расплата съ Россіей за кишиневскій погромъ. Я отозвался на статью г. Меньшикова «Листками», въ которыхъ указывалъ всю неумѣстность подобнаго подстрекательства къ расовой распрѣ—особенно въ такое горячее время, какъ теперь, когда томительная война взвинтила ожиданіями своими нервы патріотически возбужденнаго народа. Я говорилъ и скажу, что навязывать полуинтеллигентной и сѣрой массѣ столь безобразныя идеи значить — по расчету или недомыслию — желать повторенія кишиневского погрома. Нельзя бросать курящихся панирость близъ порохового погреба! Все это, казалось бы, столь прямолинейно и очевидно, столь удобно познается и постигается простымъ глазомъ, что спорить тутъ не о чемъ. Не легко далась точка опоры къ спору и г. Меньшикову, чтобы не сказать: не далась вовсе. Онъ готовилъ свое возраженіе мнѣ десять дней, занялъ имъ въ «Новомъ Времени» около 1.000 строкъ и... не возразилъ ровно ничего и ни на что. Только возбудилъ

во мнѣ глубочайшее изумленіе предъ совершенно исключительною способностью г. Меньшикова точить изъ себя слова, слова и слова, притомъ, слова, изъ коихъ добрая треть ругательныхъ, другая треть лживыхъ, а остальная треть—совершенно пустыхъ, испускаемыхъ г. Меньшиковымъ сотрясенія воздушнаго и стилистическихъ потребностей ради. Прочитавъ бранную, бѣшеную статью г. Меньшикова, я, при всей ея злобной наглости, при всемъ желаніи г. Меньшикова меня оскорбить, получилъ даже нѣкоторое утѣшеніе. Все-таки своими «Листками» я, значить, нѣсколько достигъ цѣли, разъ привелъ человѣка къ такому злему стыду предъ тѣмъ, что онъ говорилъ, и вызвалъ въ немъ такую острую потребность публичнаго самооправданія, — къ сожалѣнію, крайне неудачнаго, да и-врядъ ли возможнаго. Правда, г. Меньшиковъ, что называется, еще «шебаршитъ» и бросается съ пѣною у рта на тѣхъ, кто обличительнымъ словомъ навелъ его на дорожку угрызений совѣсти, но это все равно: угрызения уже чувствуются, стыдъ уже приснился г. Меньшикову, какъ щедринскому Глумову, стыдъ уже есть. Шебарша, г. Меньшиковъ, въ процессѣ самооправданія, прибѣгаетъ къ старому, наивному и очень некрасивому способу кругомъ виноватыхъ, но дерзкихъ людей: онъ кричитъ, что не говорилъ того, за что его обвиняютъ, что я его оклеветалъ, что я копаюсь въ его душѣ «съ ревностью, которая сдѣлала бы честь присяжному сыщику»... Parlez pour vous, cher maître!.. За всѣ таковыя свои злохудожества, я, въ свою очередь, обвиняюсь г. Меньшиковымъ: 1) Въ «журнальной провокаціи, для возбужденія и безъ того крайне раздраженнаго еврейскаго читателя», 2) въ радикальномъ «горланствѣ», которымъ я угождаю либеральному лагерю, 3) въ преступномъ популяричаніи, которое выражается тѣмъ, что я «точно по программѣ, вооружился за хулигановъ, нападающихъ на офицеровъ, ополчился за евреевъ, нападающихъ на Россію» и даже—о, ужась!—«вновь воспѣлъ г. Горькаго».

Съ тѣмъ себя и поздравляю. Ахъ, г. Меньшиковъ! г. Меньшиковъ!

Видока тѣнь тебя усыновила,
Булгаринымъ изъ гроба назвала!..
На ябеду, любя, благословила
И ревностью къ Іудушкѣ зажгла!

Защищаться противъ г. Меньшикова въ томъ, что онъ обо мнѣ священно-ябедничаетъ и доносить, я не намѣренъ. Я, дѣйствительно, писалъ о дѣлѣ жалкаго Журлова, рѣзко расходясь съ тѣми, кто, какъ Меньшиковъ, убѣждали видѣть въ этомъ голодномъ и пьяномъ нищемъ глашатая соціальной революціи и рекомендовали подвергнуть его военному суду съ «разстрѣломъ на двадцать лѣтъ», какъ выражалась одна горбуновская старуха. Я, дѣйствительно, сказалъ нѣсколько прямыхъ и рѣзкихъ словъ въ защиту еврейства, когда г. Меньшиковъ ткнулъ въ его сторону указательнымъ перстомъ: люди добрые! смотрите: вотъ они, виновники японской войны! Я, дѣйствительно, страстно люблю великолѣпный талантъ М. Горькаго,—и однимъ изъ немногихъ публицистическихъ дѣлъ своихъ, о которыхъ вспоминаю съ гордостью, почитаю то, что я едва ли не первый въ русской печати написалъ о Горькомъ, какъ о великой надеждѣ русскаго слова, еще въ тѣ времена, когда Горькій былъ величиною, совершенно неизвѣстною и чуть начавшею опредѣляться. Г. Меньшиковъ, если хочетъ, можетъ и это «политическое преступленіе» мое включить въ свой обвинительный актъ. И пусть Видока тѣнь его усыновляетъ и зоветъ изъ гроба Булгаринымъ!

Не имѣя надобности объясняться съ г. Меньшиковымъ, я считаю нужнымъ объяснить съ публикою, меня читающею, по поводу болѣе, чѣмъ непривычнаго мнѣ, обвиненія въ клеветѣ и искаженіи фактовъ. За многіе годы своей публицистической работы мнѣ приходилось принимать на свою голову много невольныхъ и полувольныхъ грѣховъ, а въ иныхъ изъ нихъ и подѣломъ, съ от-

кровенностью каяться. Но въ клеветѣ на невиннаго человека, тѣмъ паче литератора, меня никогда и никто еще не обвинялъ, да и никогда не обвинить доказательно. Возстановлю факты полемики, и пусть публика судить, невинно ли оговорилъ я г. Меньшикова, какъ разжигателя расовой ненависти, уськающаго читательскую массу «Новаго Времени» на еврейство въ очень тяжелое и смѣтное время настроеній чуткихъ и острыхъ.

Вотъ — дословный текстъ изъ фельетона г. Меншикова, давшій мнѣ поводъ высказать свое мнѣніе о его некрасивомъ подстрекательствѣ.

«Теперешняя вражда американцевъ открыла еще сюрпризъ: оказывается, эта вражда есть въ значительной степени дѣло евреевъ и какъ таковое является отраженіемъ одного изъ нашихъ собственныхъ большихъ вопросовъ, который мы до сихъ поръ не собрались рѣшить. *Вся нынѣшняя война, намъ нагло навязанная, есть чуть не прямое слѣдствіе еврейской агитаціи въ тѣхъ странахъ, гдѣ печать и биржа въ рукахъ евреевъ. Нѣтъ сомнѣнія, безъ обезпеченія Америки и Англіи Японія не сунулась бы съ нами въ войну, это же обезпеченіе вызвано настойчивымъ и яростнымъ походомъ противъ Россіи англо-американской печати. Кишиневскій погромъ, высылка Брагама (корреспондента «Times»), непринятіе американской ноты о евреяхъ — все это раздражило до крайности и внутреннее наше, и внѣшнее еврейство. Въ то время, какъ внутреннее плететъ политическую смуту, внѣшнее плело войну, и въ петлю послѣдней мы уже попались Азіаты по крови, уроженцы ближняго Востока, евреи первый ударъ Россіи наносятъ изъ Азіи же, съ Востока Дальняго. Цѣлая сто лѣтъ мы откладываемъ еврейскій вопросъ, и вотъ внутренняя зараза выступаетъ уже какъ злокачественная наружная сыпь. Выходцы изъ Россіи собираютъ противъ насъ коалиціи, устраиваютъ нашимъ врагамъ*

займы, подносятъ японскому императору броненосецъ—въ видѣ подарка. Эта роль еврейства новая, ее слѣдуетъ принять къ серьезному соображенію

Слишкомъ, наконецъ, ясно, что Японія лишь охотничья собака, натравленная на насъ болѣе серьезными врагами, возбуждаемыми и своею собственно, и *еврейской ненавистью*».

Вотъ что писалъ г. Меньшиковъ двѣ недѣли тому назадъ. Въ настоящее время, онъ увѣряетъ, будто бы я скрылъ отъ публики «его подлинныя слова», хитро рассчитывая, что, молъ, «кто же помнить». Это *ложь* г. Меньшикова, ложь въ глаза, потому что въ статьѣ моей были дословно цитированныя напечатаны курсивомъ выше строки, за исключеніемъ басни о броненосцѣ. О ней же я промолчалъ потому, что мнѣ слѣлалось прямо совѣстно, что перо русскаго журналиста поднялось распространять такую жалкую сплетню. Отсутствіе легенды о броненосцѣ въ моихъ «Листкахъ», конечно, не къ вреду г. Меньшикова, но скорѣе къ профиту его послужило: я замолчалъ одно изъ самыхъ грубыхъ и наглядныхъ свидѣтельствъ противъ него... Этимъ что ли пропускомъ недоволенъ г. Меньшиковъ? Извините! Извольте! Теперь ваше произведеніе перепечатано уже въ совершенной цѣльности и неприкосновенности: можете упиваться имъ во всей его дѣвственной прелести.

Итакъ, г. Меньшиковъ безцеремонно солгалъ, увѣряя, будто я хулилъ его антисемитскій товаръ, хитро скрывъ самый товаръ отъ публики, чтобы она не могла видѣть его якобы непріятной мнѣ доброты. А вотъ —какъ назвать поступокъ г. Меньшикова, когда онъ, ругая меня чуть не въ тысячѣ строкъ, не пожелалъ ни въ одной изъ нихъ указать газету, гдѣ помѣщена статья моя, за которую онъ на меня обрушился?.. Читателю преподнесена отборнѣйшая ру-

гань противъ «довольно извѣстнаго фельетониста Амфитеатрова», но для провѣрки, заслуживаетъ ли довольно извѣстный фельетонистъ Амфитеатровъ ругани этой, любопытствующій читатель долженъ рыскать по дебрямъ российской журналистики самъ. «Г. Амфитеатровъ и его теперешніе товарищи»... Позвольте! Да—кто же они, эти мои теперешніе товарищи? Гдѣ ихъ читателю искать? Рыцарскій противникъ мой не даетъ ему ни названія газеты, ни числа, ни номера, куда онъ можетъ обратиться за справкою. Красиво!.. Нечего сказать, хорошъ учитель газетной чести! Изъ какихъ бушменскихъ нравовъ заимствовалъ г. Меньшиковъ свой кодексъ газетной порядочности?..

По поводу вышеприведенныхъ строкъ г. Меньшикова, я и спрашивалъ: понимаетъ ли г. Меньшиковъ, что дѣлаетъ ими? понимаетъ ли, что, объясняя читательской массѣ японскую войну еврейскимъ мщеніемъ за кишиневскій погромъ, онъ готовитъ почву для новаго озлобленія противъ «жидовъ», для новыхъ погромовъ? понимаетъ ли онъ, что эти его строки суть обвиненіе въ военной и государственной измѣнѣ народности, живущей въ Россіи семью милліонами своихъ представителей? Понимаетъ ли онъ, что этотъ плевокъ гадкихъ подозрѣній, пущенный въ расу, попадаетъ и въ десятки тысячъ еврейскихъ солдатъ, стоящихъ подъ русскими знаменами?

Теперь оказывается, что г. Меньшиковъ ровно ничего не понимаетъ. Онъ обзываетъ прямые выводы изъ его точныхъ словъ «клеветою». Изъ его словъ нельзя дѣлать прямыхъ выводовъ. Его слова — это его слова, они — «такъ», сами по себѣ. Остается спросить: Зачѣмъ же вы ихъ пишете и печатаете? Строки, которые пишутся «такъ», въ пространство, безъ задачъ и цѣлей, создаются графоманами, а не писателями, а, какъ ни унижаетъ себя г. Меньшиковъ, держа свои еженовскресные экзамены на злобность и рѣзвость, все-таки, онъ какъ будто писатель, а не графоманъ. Онъ ровно ничего не понимаетъ и не желаетъ

понимать. Вопя, будто его оболгали, онъ самъ повторяетъ теперь въ своемъ возраженіи тѣ же дурныя строки (съ милою прибавочкою, что высланный Брагамъ—«судя по фамилии, еврей», хотя «Times» и засвидѣтельствовалъ шотландское происхожденіе своего сотрудника), — и затѣмъ, съ наивными глазами, изумляется:

— Да что же тутъ особеннаго? гдѣ же я говорилъ о погромѣ? гдѣ же я нанесъ смертельное оскорбленіе еврейству? гдѣ же я говорю объ еврейскихъ солдатахъ? гдѣ же я плюнулъ на весь еврейскій народъ?

Ахъ, Sainte Nitouche! Sainte Nitouche! Вотъ Sainte Nitouche! Такая Sainte Nitouche, что—если бы настоящую Нитушъ побрачить съ стариннымъ подъячимъ, то и тогда врядъ ли получился бы плодъ, достойный помѣряться съ г. Меньшиковымъ въ искусствѣ полезительной наивности и игры въ прятки за слова, крюки и заковыки.

Оставляя г. Меньшикова при словахъ, крюкахъ и заковыкахъ, скажу краткую притчу.

Нѣкто, купивъ потребное количество самовоспламеняющагося вещества, въ глухую ночь вымазалъ имъ сосѣдскій заборъ. Взошло солнце, и, при первыхъ лучахъ его, пошло драть пожаромъ сосѣдскую усадьбу. Кто поджигатель усадьбы? По нашему скромному мнѣнію, согласному съ общечеловѣческимъ здравымъ смысломъ, тотъ, кто вымазалъ сосѣдній заборъ самовоспламеняющимся веществомъ. А вотъ г. Меньшиковъ скажетъ, что поджигатель—солнце,—вольно же было ему всходить!—а этотъ милый парень съ воспламеняющимся веществомъ совсѣмъ не поджигатель усадьбы, ибо пожары бывають отъ огня, а огня въ рукахъ у парня никто не видалъ, и онъ только мазалъ, да и то лишь заборъ, а не цѣлую усадьбу.. Онъ только мазалъ. Только мажетъ и г. Меньшиковъ и тоже,—теперь клянется онъ въ этомъ,—лишь заборъ, а не цѣлую усадьбу. Только мажетъ и ужасно возмущается какъ это за его только мазанье его называютъ поджига-

телемъ. Онъ теперь увѣряетъ, что обвинялъ въ созданіи японской войны только «еврейскую биржу и печать», а евреямъ онъ вовсе не врагъ и евреевъ даже любить. Впрочемъ, при условіи, что еврей будетъ Рубинштейномъ, Антокольскимъ, Куинджи (который, къ слову сказать, кровный русскій!), Левитаномъ.

Что слова эти — жалкая поправка человѣка, трусившаго собственной нелѣпой выходки и ощутившаго большой и болѣзненный стыдъ, который онъ тщательно хочетъ заглушить въ себѣ крикомъ и шипомъ Видока, достаточно ясно при первомъ же взглядѣ на цитату выше. Распространялся г. Меньшиковъ не только объ еврейской печати и биржѣ, а повторялъ и подчеркивалъ мнимое японофильство и внѣшняго, и *внутренняго* еврейства до тѣхъ поръ, пока договорился до подарка японскому императору броненосца «выходцами изъ Россіи». Это хорошо, что г. Меньшиковъ сконфузился и теперь пытается сократить размѣры своей клеветы на еврейскую народность и перевести инсинуацію изъ общей въ частную. Только и тутъ онъ не выдержалъ характера и прорвался таки тирадами о вредномъ и свирѣпомъ еврейскомъ націонализмѣ, который, по г. Меньшикову, теперь уже провинился и еще въ одномъ грѣхѣ, пожалуй, пострашнѣе для обвиняемыхъ и самой японской войны: «еврейскіе націоналисты вызвали революціонное броженіе въ Западномъ Краѣ; изъ арестованныхъ за политическіе безпорядки въ этомъ краѣ 90 проц. евреевъ». Резюме всей этой удивительной меньшиковской любви къ евреямъ:

«Правъ ли я, однако, въ томъ, что евреи, раздраженные за кишиневскій погромъ, въ видъ мести старались навлечь на насъ нынѣшнюю войну? Я счелъ бы прямо за счастье оказаться неправымъ и съ величайшей охотою извинился бы за ошибку. Но я рѣшительно не могу изъ тѣхъ наблюдений, какія мнѣ доступны, сдѣлать много вывода, кромѣ единственнаго, какой сдѣлалъ».

О чемъ же было тогда и бобы разводить, г. Меньшиковъ, для чего городить огородъ въ тысячу строкъ? Шенбарша и не желая гласно признаться съ тайнымъ стыдомъ уже понятой винѣ, вы, стало быть, послѣ сотни объѣздовъ и экивоковъ, стоите при своемъ тезисѣ, какъ и стояли: «японская война — месть еврейства за кишиневскій погромъ». Въ чемъ же вы были оклеветаны? за что же вы ругаете и проклинаете меня, какъ человѣка, васъ умышленно оболгавшаго? въ чемъ моя ложь?

Изъ массы зловреднаго еврейства, будто бы мстящаго намъ японскою войною за кишиневскій погромъ, г. Меньшиковъ исключаетъ, кромѣ Рубинштейновъ, русскаго Куинджи, Антокольскихъ и Левитановъ, еще «бѣдныхъ стекольщиковъ, мѣдниковъ, торгашей, чернорабочихъ, которые составляютъ массу еврейскаго населенія», и которымъ не до политики. Я тоже думаю, что не до политики. Но кишиневскій погромъ, какъ и всякій еврейскій погромъ, поразилъ именно эту массу еврейскаго населенія: грабили и убивали именно этихъ беззащитныхъ стекольщиковъ, мѣдниковъ, торгашей, чернорабочихъ; они приняли весь ужасъ злодѣянія на свои тощія тѣла. Этимъ же стекольщикамъ, мѣдникамъ, чернорабочимъ и проч. пришлось расхлебывать кашу, если бы — не дай Богъ! — вспыхнули заборы, исподволь намазываемые гг. Меньшиковыми и К^о. Имъ, жертвамъ не разбирающаго правыхъ и виноватыхъ народнаго бѣшенства и придется заплатить своею кровью и достояніемъ, если любвеобильная меньшекообразная политика успѣетъ внушить массѣ ту коварную клевету, тотъ ужасный доносъ на еврейство, которые она проводить съ такимъ усердіемъ и постоянствомъ, хотя теперь уже какъ будто и зардѣвшись нѣсколько, и стараясь вуалировать свои человѣконенавистныя черты.

— Помилуйте! — вопіетъ г. Меньшиковъ, — Амфитеатровъ такъ повернулъ, будто бы я на всѣхъ евреевъ призываю гнѣвъ правительства!

А что же вы дѣлаете? Милость и любовь что ли правительства хотите вы склонить къ еврейству хотя бы такимъ нашептываніемъ:

«Кишиневскій погромъ былъ каплей, переполнившей чашу еврейскаго гнѣва. По оффиціальному сообщенію, самъ погромъ былъ вызванъ общимъ подъемомъ еврейскаго раздраженія въ послѣдніе годы. Какъ выяснилось изъ го-мельскаго антипогрома, изъ рѣчи мѣстнаго губернатора и показанія другихъ властей, евреи давно уже изъ обороны перешли въ наступленіе, они вооружаются револьверами, кастетами и пр., держатъ себя до такой степени вызывающе, что какъ бы сами напрашиваются на репрессіи. Если вы читали заграничныя изданія, вы знаете, до какого сумасшествія доходили евреи въ своихъ проклятіяхъ къ Россіи за кишиневскій погромъ. Мудрено ли, что самая крайняя, самая впечатлительная часть еврейства—еврейскіе журналисты, въ рукахъ которыхъ почти вся печать Запада,—мудрено ли, что они объявили русской государственности войну не на животь, а на смерть? *Честные евреи вовсе этого не скрываютъ. Они открыто провозглашаютъ, что теперешній порядокъ вещей въ Россіи нестерпимъ для еврейства и долженъ быть разрушенъ, путемъ ли революціи, или военнымъ разгромомъ. Что-жъ тутъ удивительнаго, и, наоборотъ, не вполне ли это естественно?»*

Вѣдь это читать жутко!.. Этакихъ вещей и въ полицейскомъ протоколѣ съ пристрастіемъ не сыщешь!.. Или г. Меньшиковъ, дѣйствительно, какъ въ старинныхъ водевиляхъ это ампула называлось—Агнесса, которая отъ наивности собственныхъ своихъ словъ не понимаетъ, или—какъ же онъ морочить своего читателя, съ какимъ невозмутимымъ великолѣпіемъ лжетъ онъ теперь прямо въ глаза своимъ «я—не я!»

Г. Меньшиковъ обвиняетъ меня въ клеветѣ за то, что я напомнилъ ему, какъ тяжело будетъ читать его клеветы

еврейскимъ солдатамъ русской арміи, — и тутъ же спѣшить успокоить свою совѣсть и своего читателя: еврейскій солдатъ, все равно, никуда не годится! Доходить до того, что отнимаетъ у еврейства покойнаго Геймана и даже отрицаетъ его дѣятельность и громкую популярность... Не смѣйте считать Геймана евреемъ: онъ «отрекся отъ еврейства!» То есть — былъ крещеный? Такъ — зачѣмъ же вы ставите мнѣ въ примѣръ желательныхъ вамъ евреевъ — Рубинштейна? Онъ былъ тоже крещеный, значитъ, тоже «отрекся отъ еврейства»: однако, видно, есть что-то скрѣплявшее его съ еврействомъ, и помимо религіи, такъ тѣсно, что даже у васъ не поднялась рука отнять Рубинштейна у еврейства!.. Вы больше еврей, чѣмъ Гейманъ! — увѣряетъ меня г. Меньшиковъ, — потому что онъ проливалъ кровь за Россію, а вы проливаете чернила за евреевъ...

Видока тѣнь тебя благословила,
Булгаринымъ изъ гроба назвала!

Г. Меньшиковъ — у насъ писатель не голословный! онъ не безъ авторитетовъ живетъ! Чтобы поразить меня таковыми, онъ призвалъ подъ свое сокрушительное знамя гг. Тверского, Кассили и даже... знаменитаго въ своемъ родѣ кишиневскаго голову Степанова! Почему же нѣтъ еще Шмакова? Ужъ заодно бы!.. Фельетонистъ «Новаго Времени» оправдываетъ себя цитатами изъ «Новаго Времени» (корреспонденція Тверского)!

Такъ Селестень есть Флоридоръ,
А Флоридоръ есть Селестень...

Опять скажу: о, Sainte Nitouche! Sainte Nitouche!.. Даже и пѣсенка-то о Селестенѣ и Флоридорѣ, впрочемъ, именно изъ этой оперетки ..

Засимъ я могъ бы разстаться съ г. Меньшиковымъ, ибо проповѣдывать ему духъ кротости и правды — кажется, совершенно напрасный трудъ, да и не мое это дѣло, а лжи его и нечестная попытка перевалить

вину свою съ больной головы на здоровую, думаю, теперь достаточно выяснены по всѣмъ пунктамъ. Остановлюсь, однако, на одной потребности,—*pro domo sua*. Г. Меньшиковъ не позабылъ предъявить ко мнѣ обвиненіе, что когда-то я самъ былъ антисемитомъ и рѣзко писалъ объ еврействѣ. До тона, который г. Меньшиковъ мнѣ приписываетъ, я не помню, чтобы опускался, но противъ еврейства писалъ: былъ у меня періодъ такого увлеченія, что, прочитавъ «Шулханъ-Арухъ» и его русскаго толкователя, я, до тѣхъ поръ къ еврейскому вопросу совершенно равнодушный, подъ нѣкоторыми антисемитическими вліяніями, сталъ относиться къ еврейству недоброжелательно и подозрительно. Это настроеніе держалось во мнѣ болѣе года и отразилось въ нѣсколькихъ статьяхъ, отъ которыхъ я въ послѣдствіи съ удовольствіемъ бы отказался, какъ отъ грѣха неустановившейся и со стороны навѣянной мысли.

Было это семь лѣтъ тому назадъ—въ 1897—1898 г. Такъ что г. Меньшиковъ можетъ ликовать: земской давности моему «антисемитизму» не вышло, и покивать на меня перстомъ и главою онъ можетъ съ полнымъ подъяческимъ правомъ и успѣхомъ. Ну, — что же? Когда я былъ молодъ—мало ли о чемъ я разсуждалъ и говорилъ, какъ распушенный, влюбленный въ парадоксы мальчишка. Когда я сталъ взрослымъ, я говорю и думаю, какъ взрослый человѣкъ. Съ г. Меньшиковымъ—совершенно обратная эволюція. Когда-то онъ умѣлъ говорить языкомъ взрослого и самостоятельнаго человѣка, но, чѣмъ дѣлается старше, тѣмъ болѣе рѣчи его становятся рѣчами, надутыми съ вѣтра и мальчишески. И нехорошаго мальчишки: задорнаго, ябедника и лгуна.

Между временемъ, которое счелъ нужнымъ воскресить г. Меньшиковъ въ памяти, вѣроятно, специально еврейскихъ моихъ читателей, и настоящими днями—легла долгая полоса моей *самостоятельной* публицистической работы, когда

я разобрался гласно со множеством общественных вопросовъ, мучившихъ меня ранѣ своею неясностью, въ томъ числѣ и въ еврейскомъ. Ему я не мало посвятилъ статей въ «Россіи» покойной, въ «Спб. Вѣдомостяхъ», въ провинціальной печати. Было много читано, много писано, много говорено, да и много видано—включительно до новыхъ, глубоко интересныхъ и важныхъ еврейскихъ знакомствъ, между прочимъ, и въ ссыльной глуши, пребываніемъ въ которой съ такимъ бушменскимъ тактомъ не преминулъ укорить меня г. Меньшиковъ. Взглядъ мой на еврейскій вопросъ выясненъ совершенно опредѣленно, а—вѣрить г. Меньшиковъ въ мою искренность, или нѣтъ, мнѣ безразлично. Мой читатель, который знаетъ меня искреннимъ и въ своихъ ошибкахъ, и въ своихъ раскаяніяхъ, мнѣ вѣрить, ибо знаетъ, что я переживалъ свою эволюцію нутромъ: тяжело и мучительно, а не потому, что закрылся одинъ журналъ, и редакторъ газеты противоположнаго направленія пригласилъ: бойкое перо! къ намъ пожалуйста! Знаетъ читатель и то, что умѣю я грѣшить—умѣю и каяться... А, что до антисемитизма восьмилѣтней давности, то... въ дѣтствѣ я разорялъ птичьи гнѣзда. Полагаю, это не причина, чтобъ взрослымъ чело-вѣкомъ я не имѣлъ права писать о вредѣ этой жестокой шалости и воевать съ нею!

Состязаться съ г. Меньшиковымъ въ ругательствахъ рѣшительно не вижу надобности и отказываюсь. Въ началѣ своего фельетона онъ изображаетъ меня въ видѣ горлана на сельскомъ сходѣ литературы, который отталкиваетъ степенныхъ «стариковъ», зычно ругаетъ ихъ, и даже,—о, ужасъ!—способенъ, въ случаѣ надобности, дать имъ въ «морду». Если читатель потрудится сравнить тонъ какимъ я говорилъ о г. Меньшиковѣ въ прошлой моей статьѣ, да и теперь, съ тономъ, какимъ г. Меньшиковъ позволяетъ себѣ говорить обо мнѣ, то онъ самъ увидитъ ясно, на чью голову должно упасть обвиненіе въ горланствѣ. О

горланахъ же и степенныхъ «старикахъ» скажу вотъ что. Горланство—худое дѣло и, какъ бы ни увѣрялъ г. Меньшиковъ, горланамъ я не сочувствую. Но, если на сельскомъ сходѣ заводятся среди степенныхъ стариковъ елей-ненькіе и медорѣчивые Іудушки-міроѣдушки, которые сладкимъ голоскомъ шипятъ и «подкалдыкиваютъ», натавливая сосѣдушекъ другъ на дружку, мѣтя своими подмаргиваніями, намеками, сплетнями и доносами тихую и мирную деревню, то, право, и горлана можно поблагодарить, буде онъ скажетъ такому Іудушкѣ-міроѣдушкѣ во всеуслышаніе вполнѣ заслуженное крѣпкое слово и оттолкнетъ его плечомъ отъ схода, какъ смутьяна-ябедника и ловца рыбы въ мутной водѣ. И, если даже таковой Іудушка-міроѣдушка получить при семъ, выражаясь словами г. Меньшикова, въ «морду», то и эта прискорбная случайность, при всей незаконности своей, врядъ ли кого огорчить и едва ли кому покажется удивительною. Ибо, какъ говорить Достоевскій, на котораго г. Меньшиковъ охотникъ сослаться:

— Въ обыкновенныхъ случаяхъ жизни мордасы запрещены по закону, и всѣ перестали бить, ну, а въ отличительныхъ случаяхъ жизни, такъ не то, что у насъ, а и на всемъ свѣтѣ будь хотя бы самая полная французская республика...

Не надо превращать свою роль на сходѣ въ «отличный случай жизни». Такъ-то, г. Меньшиковъ!

Молоярви.
1 марта.

Портъ-Артуръ и Севастополь.

Въ воскресномъ фельетонѣ г. С. Сыромятникова я прочелъ властный,—въ обычной манерѣ этого журналиста: онъ всегда пишетъ властно,—окрикъ противъ всѣхъ, кто, во время войны, не перестаетъ болѣть душою и не отрывается мыслью отъ нашихъ внутреннихъ неустройствъ. Совершенно оставляя въ сторонѣ траги-комическій и едва ли не легендарный поводъ *), который, какъ видно изъ намековъ почтеннаго фельетониста, далъ ему частный толчокъ къ его принципиальнымъ обобщеніямъ, я позволю себѣ выразить сомнѣнія въ основательности и полезности самого, подлежащаго обсужденію, тезиса. Ни война, ни иная внѣшняя сила не въ состояніи остановить внутренней жизни государства, со всѣми ея радостями, со всѣми горями, а, разъ продолжаются эти радости и горя, какъ же могутъ быть позабыты и отставлены на задній планъ создающіе ихъ интересы? Если бы война была какимъ то цѣлебнымъ пластыремъ, посредствомъ котораго возможно приглушать боли внутреннихъ недуговъ и отвлекать общественный интересъ отъ собственныхъ нуждъ,—какъ было бы легко каждому государству создать себѣ иллюзію благоденствія: объявить войну сосѣду,—и вся недолга!

*) Слухи объ японофильскихъ протестахъ учащейся молодежи. (1905).

Мы, молъ, воюемъ, а куда воюемъ, потребности нутра отмѣняются, считаются не существующими въ природѣ, и да молчить о нихъ всякая тварь человѣча! Но, къ сожалѣнію, эта странная панацея общественныхъ нуждъ, оптимистически предполагающая двойственность организма государственнаго, — что, когда у Еремы чирей, у Θомы не болить, — къ сожалѣнію, она рѣшительно нигдѣ и никогда себя не оправдала, да и не могла оправдать: отъ того, что ваша кожа покрывается ранами отъ непріятельскаго меча, не пройдетъ у васъ ракъ желудка! Нельзя сказать обществу: по случаю болѣзни внѣшней, всѣ внутреннія упраздняются! На фиктивныхъ отмѣнахъ этого рода провалился римскій и французскій псевдомократическій цезаризмъ: Юліи, Флавіи, Наполеоны. Къ чему же намъ влюбляться въ такіе безрадостные прецеденты? Русское государство никогда еще не вело войнъ со спеціальною цѣлью оттянуть ими общественное вниманіе отъ внутреннихъ государственныхъ задачъ, и военные громы на дальнихъ окраинахъ никогда не препятствовали русской жизни идти и развиваться своимъ чередомъ, устраивая и упорядочивая домъ свой. Да и какъ быть иначе? Жизнь полна срочными запросами, а война — сила, работающая безъ срока. Мы болѣе пятидесяти лѣтъ вели тяжелую Кавказскую войну. Что же? Было полвѣка спать Россіи, питаясь только рѣдкими реляціями изъ Дагестана и Чечни? Крестьянская реформа назрѣвала подъ громъ Гуниба. Шведская и турецкая войны не помѣшали Петру Великому, а помогли провести его реформы. Наша судебная реформа развилась подъ молніями польскаго возстанія... да мало ли примѣровъ! Если не хватить въ Россіи, можно занять на западѣ, углубляясь даже до римской древности, какъ дѣлаетъ и г. Сыромятниковъ.

Г. Сыромятниковъ — человѣкъ очень хорошаго образованія. Поэтому мнѣ было пѣсколько удивительно прочитать въ его фельетонѣ, будто «въ народовластномъ, но

глубоко понимавшемъ науку войны Римѣ, во время войны умолкали мирныя власти и назначался *dictator rei gerendae causa*, повелитель для веденія войны (?). Это, очевидно, опять предумышленное публицистическое обобщеніе, съ намѣренно чрезчуръ широкимъ распространеніемъ понятія о диктатурѣ, ибо учреждалась она совсѣмъ не во время войны вообще, но лишь *in asperioribus bellis aut in civili motu difficiliore*, т. е. при особенно тяжелыхъ войнахъ, либо въ самое смутное время гражданской неурядицы. Ливій и Цезарь одинаково характеризуютъ диктатуру, какъ послѣднее средство республики (*ultimum consilium, extremum*), и обращалась республика къ ней вовсе не такъ обязательно и охотно, какъ полагаетъ г. Сыромятниковъ. Напротивъ, институтъ былъ очень непопуляренъ и потерпѣлъ полное крушеніе въ Ганнибаловой войнѣ, разрушившей его авторитетъ, такъ что затѣмъ, въ теченіе 120 лѣтъ (552—672 римской эры) предъ Суллою, Римъ не прибѣгалъ къ диктатурѣ вовсе, хотя въ этомъ перерывѣ онъ велъ постоянныя войны и пережилъ грозныя аграрныя бури. Согласитесь, что нельзя же Россіи причислять къ *asperiora bella* японскую войну, какъ бы ни была она непріятна для нашего кармана и самолюбія. Что изъ нея разгорится,—это въ рукахъ Божіихъ, а куда—приравнивать ее къ крайнимъ бѣдствіямъ, при которыхъ Римъ учреждалъ диктатуру и заставлялъ молчать мирныя власти (и то нужна поправка: финансовое управленіе изъ безусловнаго подчиненія диктатору выдѣлялось),—это, какъ хотите, японцамъ чести много! Равнымъ образомъ, врядъ ли взываетъ о крайностяхъ диктатуры и можетъ быть разсматриваемъ, какъ симптомъ *motus civilis difficilioris*, единичный японофильскій протестъ (если еще онъ и былъ то?), о которомъ такъ усердно распространился г. Сыромятниковъ... Тутъ много бури въ стаканѣ воды и пальбы изъ пушекъ по воробьямъ!

Пальбу эту производить не одинъ г. С. Сыромятни-

ковъ. Вчера и третьяго дня газеты были полны торжественныхъ приглашеній:

— Покорнѣйше просятъ почтеннѣйшую публику не смѣшивать Портъ-Артура съ Севастополемъ!

Приглашенія эти возглашаются полемическимъ тономъ, въ которомъ врядъ ли есть необходимость по логическимъ и естественнымъ условіямъ эпохи.

Сыръ-боръ загорѣлся съ того, что въ Россіи, будто бы, существуютъ патріоты особаго порядка, которые желаютъ, чтобы Портъ-Артуръ сталъ новымъ Севастополемъ, такъ какъ пораженія извнѣ иногда влекутъ за собою періоды ярко выраженнаго общественнаго самосознанія, порождающаго прекрасныя внутреннія реформы, какъ, на примѣръ, за Севастополемъ послѣдовало 19 февраля. Идея прогрессировать, претерпѣвая пораженія, конечно, обидна, и возмущаетъ патріотическій инстинктъ. Какъ прямолинейная теорія, и эта мысль, что «за битаго двухъ небитыхъ дають», имѣетъ, однако, нѣкоторое историческое оправданіе. Многимъ народамъ пораженія политически шли больше въ прокъ, чѣмъ побѣды,—и, на примѣръ, если ужъ вспоминать Севастополь, то, конечно, мы, побѣжденные, извлекли изъ этого грознаго урока судьбы гораздо больше нравственныхъ и политическихъ выгодъ въ будущемъ, чѣмъ наша побѣдительница, Франція Наполеона III. Франція, въ свою очередь,—какъ бы ни свирѣпствовалъ въ ней недугъ реванша,—должна, наединѣ съ своей душой, сознаться, что кровю и деньгопусканіе, прописанныя ей Бисмаркомъ, были не къ смерти, но къ славѣ Божіей, и что Франція 1872—1904 годовъ, хотя и пораженная,—куда болѣе отрадная, благоустроенная, сильная и богатая политическая величина, чѣмъ Франція 1852—1872 гг., хотя та Франція и не знала поражений. Итакъ, теоретически, въ разсужденіяхъ этихъ нѣтъ ровно ничего ужаснаго; неловкость ихъ сводится развѣ лишь къ тому, что они сейчасъ непрактичны: когда борются два атлета, не резонъ

пугать своего фаворита причитаніями, что ты, молъ, проигралъ однажды прежде,— берегись: можешь проиграть и теперь!

Въ существованіе такихъ людей, которые мысленно вождельютъ: пошли, Аллахъ, чтобы насъ отдули, какъ сидоровыхъ козъ!— я плохо вѣрю. Что за государственный «мазохизмъ» такой? Откуда вдругъ влеченіе, родъ недуга, къ принятію на тѣло свое бичей и скорпіоновъ? Если и водятся на Руси такіе «мазохисты», то—какъ единицы, крайне рѣдкія, болѣзненные и безсильныя, о которыхъ никакъ нельзя говорить обобщающими филиппиками, направленными противъ русскаго культурнаго слоя... Фразы о Севастополѣ, заставляющія журналистовъ истерически восклицать, будто «интеллигентъ желаетъ разгрома!», должно перевести на общую, простую рѣчь гораздо болѣе естественнымъ и понятнымъ упованіемъ. Грозныя вѣхи войнъ въ исторіи народовъ ставятся не даромъ; онѣ направляютъ ее, послѣ страшнаго экзамена на военную и гражданскую зрѣлость, по новымъ путямъ мирнаго развитія, общественнаго прозрѣнія внутрь себя, національнаго подъема къ самосовершенствованію. У насъ, въ Россіи, такой періодъ наступилъ и выразился съ особенно подчеркнутой яркостью послѣ неудачной, севастопольской кампаніи, которою исторія наша вправѣ гордиться больше, чѣмъ иною побѣдою: такъ хорошо и сильно высказалось тогда русское самосознаніе! Періодъ этотъ у всѣхъ—на свѣжей памяти, и врядъ ли кто, кромѣ двухъ, трехъ ярыхъ крѣпостниковъ, поминаетъ его лихомъ. Но для «послѣ севастопольскихъ» настроеній и дѣяній совсѣмъ не надо Севастополя, совсѣмъ не необходимо быть побитыми. Подобные же отрадные періоды имѣла Россія и послѣ нѣкоторыхъ своихъ побѣдоносныхъ войнъ,—наша европейская реформа утверждена Полтавою, наше политическое и общественное западничество получили мы въ завоеванномъ Парижѣ. Эти старыя исторіи уже забылись, аналогическія послѣдствія Се-

вастополя хорошо памятни. Потому о Севастополѣ и говорить. Никто не желаетъ, чтобы Россія получила севастопольское увѣчье, но найдутся миллионы уповающихъ, что война, которою судьба наказываетъ наше отечество, вызоветъ во внутреннемъ укладѣ его живую полосу такой же энергической переоцѣнки своихъ цѣнностей, такой же бодрый и властный пересмотръ назрѣвшихъ потребностей государственнаго организма, какими ознаменовался послѣ-севастопольскій періодъ русской исторіи. 1855—1865 г.— конечно, самая блистательная эпоха нашей гражданственности, и желать ея повторенія не значитъ желать зла Россіи. Я глубоко вѣрю, что, каковъ бы ни былъ исходъ войны, она поставитъ наше отечество на благую и умную дорогу. Мы ли побѣдимъ, насъ ли побѣдятъ, — наша побѣда, все равно, съ нами: она не извнѣ, а внутри насъ. Самодовольные ли побѣдою, оскорбленные ли поражениемъ, мы, все равно, должны видѣть въ наступившемъ историческомъ урокѣ призывъ къ самоисслѣдованію и совершенствованію, — и, если мы преуспѣемъ въ этихъ похвальныхъ занятіяхъ, какъ преуспѣли въ послѣ севастопольскіе годы, то тѣмъ красивѣе заблестятъ наши побѣды, тѣмъ болѣе утѣшенія сохранится намъ на случай неудачъ. Не о севастопольскомъ разгромѣ Россіи «мечтаетъ интеллигентъ», обличаемый патріотическою горячностью, но о послѣ-севастопольскомъ зиждательствѣ, не объ ослабленіи государственнаго организма внѣшнею болѣзнію, но объ укрѣпленіи его чрезъ упорядоченіе разстроенныхъ фیزیологическихъ отправленій, чрезъ оздоровленіе и очищеніе его «внутреннихъ скляницъ и блюдецъ»...

Россія никогда не вела «войны для войны»: это всѣмъ не въ нашемъ національномъ характерѣ: мы — пахари, Микулы Селяниновичи, и воинъ, рыщущій по свѣту въ призваніи воевать, — варягъ Вольга богатырь остановился въ раздуміи предъ нашею мужицкою сошкой, оказавшейся куда тяжелѣе его побѣдоноснаго меча... И съ

тѣхъ поръ, какъ бы ни гремѣлъ нашъ побѣдоносный мечъ, его звонъ никогда не могъ заглушить отъ русскаго уха другихъ постоянныхъ и близкихъ ему звуковъ—что «ореть въ полѣ оратай, покрикиваетъ, его сошка о камешки поскрипываетъ, его сивая кобылка пофыркиваетъ». Отъ судьбы этой сошки, влекомой сивою кобылкою, не можетъ отвлечь русскаго вниманія никакой японецъ, ибо даже вопросъ о томъ, какъ мы управимся съ японцемъ, по всему существу своему, сводится къ тому же вопросу, вывезетъ ли сивая кобылка, хромая по скрипучимъ камешкамъ, свою сошку или застрянетъ на скрипучихъ камешкахъ? Судьбы сошки—судьбы Россіи. Русскій мечъ въ 1876—78 годахъ былъ чрезвычайно побѣдоносенъ, но сошка не вывезла по скрипучимъ камешкамъ, и, стоя у вратъ Константинополя, мы получили аффронтъ Берлинскаго конгресса. Въ судьбахъ сошки самый счастливый и желанный переломъ случился въ послѣ-севастопольскіе годы, и диво ли, что воображеніе всѣхъ, кто любитъ сошку, обращается съ ласкою и благодарностью къ этому времени, когда наросла крестьянская реформа?

Севастопольскаго разгрома не желаетъ и не можетъ желать Россіи никакой «интеллигентъ»,—это напраслина,—и вредная.

Но послѣ-севастопольскихъ вѣяній и духа желаютъ всѣ, не отравленные закоснѣлымъ крѣпостничествомъ. Эпоха реформъ Царя-Освободителя—любимая эпоха всѣхъ русскихъ, сознательно любящихъ русскій народъ. За что же укорять тѣхъ, кто, памятуя золотой вѣкъ, желаетъ потомству:

— Дай Богъ и вамъ пожить въ золотомъ вѣкѣ!

О сибирскомъ земствѣ.

Владѣя Сибирью слишкомъ триста лѣтъ, мы, «римляне изъ Рима», «русскіе изъ Россіи», кажется, ни одну изъ нашихъ «окраинъ» не знаемъ такъ слабо, ни одну не интересуемся такъ мало, ни объ одной изъ нихъ не имѣемъ столь смутныхъ и зыбкихъ представленій, какъ объ этой громадинѣ, которую даже на картахъ принято чертить въ уменьшенныхъ масштабахъ, ради единства атласнаго формата. Не одинъ сибирякъ признавался мнѣ, что его приводятъ въ негодованіе глупенькіе и легкомысленные вопросы благополучныхъ россиянь:

— Ну, какъ у васъ, тамъ, въ Сибири?

Словно спрашиваютъ:

— Ну, какъ у васъ, въ Псковской губерніи?

Любопытно, что наивныхъ представленій этихъ не просвѣтилъ даже великій сибирскій путь, хотя объ огромныхъ размѣрахъ его дистанцій писано, казалось бы, болѣе, чѣмъ достаточно и вотъ уже около десятилѣтія, что «на ста языкахъ сто пѣвцовъ» воспѣваютъ ихъ, эти размѣры, какъ нѣкую гордую красавицу, которую мы любовію и златомъ своимъ побѣдили. Когда барышня въ свѣтскомъ салонѣ экзаменуетъ пріѣзжаго изъ Кузнецкаго или Канскаго уѣздовъ, правда ли, что «у васъ въ Сибири ѣздятъ на оленяхъ и собакахъ», это еще куда ни шло: отъ такой дѣвственной географіи никому ни тепло, ни холодно,—она при барышнѣ и останется. Но, блуждая по Петербургу и

родъ бѣденъ. Въ Сибири, особенно восточной, это положеніе выворачивается наизнанку: мужикъ-чалдонъ, въ одиночку, богатъ, но край, какъ неустроенная совокупность мужиковъ-чалдоновъ, дикъ, унылъ и на культурную потребность нищенски-бѣденъ. Кипящая война имѣетъ въ своемъ тылу этотъ нищенски-бѣдный, малолюдный край, должна на него опираться, какъ на ближайшую продовольственную, фуражную и вспомогательную рабочую силу. Я не позволю себѣ и не хочу сомнѣваться въ надежности этой опоры, но не могу и не указать на то, что, если бы наци сегодня не перекладывались на завтра, то она, опора эта, могла бы создаться и гораздо прочнѣе, и надежнѣе, и богаче, и проще. Сейчасъ ея устоями являются: нравственнымъ — патріотизмъ, экономическимъ — результаты административнаго хозяйства, повсемѣстно въ Сибири, какъ выяснилось совѣщаніями 1902 года, весьма неважные. Что касается патріотизма, то, при всей его плодотворной энергіи, онъ, даже въ стихійныхъ размѣрахъ, все-таки, остается силою индивидуальною, психическою, а, слѣдовательно, условною и зыбкою, и, какъ говорится, цыплятъ его по осени считаютъ. Въ Сибири, при полномъ отсутствіи коллегіальныхъ учреждений, группирующихъ и объединяющихъ населеніе, приучающихъ его къ массовой самодѣятельности, особняческій характеръ патріотическихъ организацій сказывается по преимуществу: дѣло обывательской помощи, которое могло бы и должно бы быть земскимъ дѣломъ,—и всѣ это отлично тамъ понимаютъ и того желаютъ,—вершится по случайной инициативѣ и случайными усиліями отдѣльныхъ кружковъ и лицъ. «Масса» осталась въ сторонѣ. Ея усердію негдѣ высказаться, у нея нѣтъ организаціи, вокругъ которой ей міромъ собраться. Сибирякъ — скептикъ. Онъ потомокъ Васьки Буслаева, который не вѣровалъ ни въ сонъ, ни въ чохъ, а вѣровалъ въ свой червленнѣйшій вязъ: въ свое личное чутье, въ свою сметку, въ свою энергію и силу. Чиновникъ для него —

исконный историческій врагъ, богатый городской обыватель, купецъ,—такой же исконный грабитель. Ни тому, ни другому онъ не повѣритъ, ни своего чувства, ни своихъ денегъ, ибо и тѣмъ, и другими,—замкнутый, умный, энергичный,—привыкъ распоряжаться по хозяйски, самъ. Изъ своего хозяйства его выводятъ лишь подать и повинность. Сбывъ ихъ, онъ—въ своемъ дворѣ воевода, во всей силѣ и во всемъ безсиліи зажиточнаго одиночества...

Забайкалье—край богатого, стараго крестьянства, съ большими хлѣбными залежами. Однако, мнѣ лично пришлось слышать рассказы участниковъ отступленія въ 1901 году изъ Цицикара, которые говорили:

— Худо было въ походѣ, но настоящая-то бѣда къ намъ въ Забайкальи пришла... Тутъ по золотому за каравай хлѣба платили. Негдѣ было взять: только что прошли на войну наши войска,—ну, и все пріѣли... Отощали мы до того, что даже всѣ сдѣлались совершенно похожи другъ на друга: знаете, какъ на картинкахъ — «Голодъ въ Индіи»... Подойдешь, бывало, къ тебѣ этакій какой, смотришь на него: не то Владиміровъ? А, можетъ, и не Владиміровъ,—всю путину вмѣстѣ сдѣлали, а трудно признать... Все равно, какъ скелеты: всѣ на одно лицо.

Такимъ образомъ, въ тылу у пропавшаго на востокъ войска оказалась самая настоящая голодовка, среди которой съ трудомъ двигался на западъ, теряя десятками мертвыхъ, больныхъ и отсталыхъ, встрѣчный отощалый караванъ въ пятьсотъ человекъ, съ женщинами и дѣтьми: онъ оказался уже въ тягость краю и не могъ себя прокормить, представляя собою пятьсотъ неожиданныхъ лишнихъ ртовъ, на которые администрація не рассчитывала, а личная инициатива ихъ прозѣвала или полѣнилась организовать имъ помощь.

Просматривая благотворительные отчеты и проекты, появляющіеся въ газетахъ, я замѣчаю въ нихъ одну общую и, казалось бы, странную черту, о которой, однако, не

слышно даже и разговоровъ: рѣшительно всѣ они предполагаютъ всю заготовку военной помощи организовать въ Европейской Россіи, и, по мѣрѣ накопленія, весь матеріалъ перебрасывать черезъ многія тысячи верстъ въ Манчжуріи. Сибири при этомъ, какъ будто, нѣтъ на свѣтѣ. Очевидно, на Сибирь плохо расчитываютъ. Почему? Разумѣется, не по недостатку вѣры, что Сибирь окажется менѣе участливою къ обще-русской военной страдѣ, чѣмъ другія части имперіи, а просто по инстинкту, подсказывающему, что край, столь неуклюже огромный, разнородный во всѣхъ отношеніяхъ и неупорядоченный во внутреннемъ своемъ хозяйствѣ, не можетъ оказаться на высотѣ положенія въ дѣлѣ, требующемъ стройной, общественной, всѣмъ міромъ. работы на внѣшнюю помощь государственной нуждѣ; что колоссальный, но пустынный и не устроенный край находится въ слишкомъ первобытномъ состояніи, чтобы оказаться полезнымъ въ моментъ такого «культурнаго экзамена», какъ война на сосѣдней окраинѣ.

Давнымъ давно въ одинъ голосъ зоветъ Сибирь о введеніи въ ея губерніяхъ земскаго самоуправления. Пишутъ о томъ ея публицисты, вздыхаютъ сибиряки,—и не только «интеллигенты», но и сѣрая масса, отъ городскихъ тузовъ-милліонеровъ до чалдона въ просторной, завѣшанной сытинскими картинками, избѣ,—искренно желаетъ того, въ откровенныхъ разговорахъ по душамъ, даже та мелкая по чинамъ, но могущественная по мѣстному значенію администрація, что поставлена имѣть постоянное и непосредственное общеніе съ этими уѣздами, величиною въ четыре Бельгіи, съ этими округами, въ границы которыхъ укладывается вся Германія. До тѣхъ поръ, пока сибирякъ не получитъ возможности самъ заботиться о хозяйствѣ своего мѣстнаго общегитія, до тѣхъ поръ край развиваться не можетъ и не будетъ, потому что обслуживать уѣзды-герцогства и губерніи-королевства усиліями административнаго хозяйства,—въ тѣхъ размѣрахъ, какъ эти уѣзды и

губерніи того требуютъ,—не по силамъ никакой государственной казнѣ. А въ тѣхъ размѣрахъ, какъ существуетъ и можетъ существовать въ Сибири административное хозяйство, не обременяя государственнаго бюджета, оно всегда останется фиктивнымъ и безсильнымъ, способнымъ лишь прозябать, но не развиваться и процвѣтать. Сибирякъ сейчасъ очень хорошо сознаетъ, что сперва скваттерскій, потомъ усадебный, займочный, періоды хозяйства для него миновали, что наступилъ періодъ объединиться въ обществѣнскихъ интересахъ съ сосѣдями, создать міръ и то хозяйство выборными отъ міра, которое выразилось на Руси земствомъ. Сотни тысячъ людей ждутъ земской реформы для Сибири, чая вложить въ земское дѣло свою энергію. Десятки миллионовъ сибирскаго капитала, недо-вѣрчиво молчаливаго при административныхъ начинаніяхъ къ благоустройству края, готовы отозваться на земскую инициативу и оживить мертвенные нынѣ берега Енисея, какъ спящую царевну.

Нечего и говорить, что земство сибирское будетъ чисто мужицкимъ земствомъ: дворянинъ и купецъ тамъ—въ слишкомъ жалкомъ меньшинствѣ. Это, къ слову сказать, одно изъ главныхъ возраженій, выставляемыхъ противъ возможности сибирскаго земства его врагами*). Но мужикъ-то сибирскій, чалдонъ этотъ—совсѣмъ особенный. Этотъ мужикъ, никогда не знавшій крѣпостной зависимости, лаптя и пустыхъ щей, самъ за интеллигента отвѣтитъ. По практической сметкѣ, смысленности, по ясному сознанію своихъ нуждъ и пониманію наличныхъ средствъ къ ихъ удовлетворенію, по энергіи, чувству собственного достоинства, по крѣпости въ устояхъ своего вѣкового быта и, въ то же время, по легкости, съ которою онъ воспринимаетъ новшества, провѣренныя и одобренныя его личнымъ опытомъ и здравомысленною критикою, сибирскій мужикъ, даже

*) См. мои „Сибирскіе этюды“.

при безграмотствѣ,—интеллектуальная сила, заслуживающая удивленія и уваженія. Это—люди взрослые, быть можетъ, изъ самыхъ взрослыхъ людей въ Россіи, — и снять съ нихъ дѣтскія помочи, позволивъ имъ самимъ устроиться въ своей хатѣ, значить дать краю твердое и устойчивое, исправное хозяйство, полное пониманія мѣстныхъ потребностей и быстрой на нихъ отзывчивости,—хозяйство общественнаго самоуправленія въ лучшемъ смыслѣ этого слова. Сейчасъ такого общественнаго хозяйства тамъ страшно недостаетъ и не можетъ не доставать. Не достаетъ не только краю, какъ краю, — для себя самого, но и какъ части всероссійскаго организма. Потому что, всплывающія подъ вихремъ войны на поверхность, общественныя нужды требуютъ, на откликъ, и *общественной* инициативы, и *общественной* организаціи.

Имѣй Сибирь земскую реформу, намъ не пришлось бы сейчасъ безнадежно зачеркивать ея гигантскую площадь,—какъ нѣкое бездорожное и безхозяйное пустопорожнее мѣсто, черезъ которое надо перескочить, чтобы попасть на настоящія «жирныя мѣста»,—изъ-за нихъ же и идетъ война. Военною помощью государству была бы не узенькая ленточка района великой сибирской дороги, но вся богатая, но нынѣ безсильная полоса, насквозь ею прoderнутая. Земская группировка населенія обезпечила бы государству энергическую, дружную, постоянную, мѣстную помощь, продовольственную и рабочую, которой правильного и отчетливаго механизма не въ состояніи замѣнить никакіе единичные патріотическіе порывы, никакія административныя и eo ipso формально-требовательныя усилія. Но, что не сдѣлано, то не ушло и... *mieux tard que jamais*: что не успѣло сбыться до войны, пусть не задерживаетъ того война.

II.

«Рѣчи консерватора» въ № 20 «Гражданина» (1904 г.), направленные противъ земской реформы въ Сибири, встрѣчены въ столичной печати весьма дружнымъ презрѣніемъ, а одною изъ газетъ, притомъ отнюдь не либеральнаго лагеря, характеризованы даже, какъ «глупыя» и «безстыдныя». Благодаря столь правильной и точной оцѣнкѣ удивительнаго произведенія кн. Мещерскаго чужими словами, мнѣ нѣтъ надобности добавлять къ ней новыхъ эпитетовъ отъ себя, кромѣ одного: глупыя и безстыдныя слова, сказанныя кн. Мещерскимъ о Сибири, еще и слова невѣжественныя, свидѣтельствующія совершенное незнаніе кн. Мещерскимъ предмета, о которомъ онъ пишетъ, и полное незнаніе его съ краемъ, судьбы котораго онъ взялся судить и рядить, съ обыкновенною своею заносчивостью и претензіями на авторитетъ. Это слова вполне необразованнаго человѣка.

«Нельзя же серьезно думать»,—воскликаетъ кн. Мещерскій,— «что господа Санкюлотовы, рекомендуя земство для возрожденія Сибири, не знаютъ, что другихъ элементовъ для составленія земства въ Сибири, какъ политическихъ ссыльныхъ и обогатившихся казнокрадовъ и воровъ, не имѣется, и что отдавать всю экономическую и умственную жизнь народа въ Сибири такому земству равносильно духовному смертному надъ ними приговору».

Прежде, чѣмъ заняться сими ошеломляющими строками, подобныхъ которымъ, кажется, еще не появлялось изъ-подъ пера даже російскихъ лже-охранительныхъ публицистовъ, по крайней мѣрѣ, предполагаемыхъ въ твер-

домъ умѣ и трезвой памяти, я позволю себѣ маленькое *aparte*. Знаете ли вы, господа, какое впечатлѣніе самымъ острымъ врѣзывается въ душу при зрѣлищѣ нашей лжеохранительной печати, если наблюдать ее послѣ двухлѣтняго антракта? Впечатлѣніе невеселое: печать эта совершенно *одичала*. Одичала, какъ на необитаемомъ островѣ, какъ въ изоляторѣ лѣчебницы для душевно-больныхъ. Она потеряла первое и основное мѣрило способности къ общественной дѣятельности — уваженіе къ самой себѣ и къ человѣческому достоинству своихъ ближнихъ. Дикости и свирѣпыхъ мыслей было въ ней и прежде болѣе, чѣмъ достаточно, но сейчасъ съ ея столбцовъ раздаются прямо нечеловѣческіе вои какіе-то: подумаешь, ея редакціи — дебри Жюль-Вернова «Таинственнаго острова», населенныя голодными Айртонами, алчущими повыточить свѣжей кровушки изъ перваго случайнаго странника! Чувствуешь себя въ жуткой обстановкѣ глубокой ночи, въ которой, какъ сильно и хорошо сказалъ когда то Некрасовъ, —

Свободно рыщетъ дикій звѣрь,
А человѣкъ бредетъ пугливо...

Звѣриная жестокость и звѣриное легкомысліе! Одинъ, какъ ни въ чемъ не бывало, тычетъ пальцемъ на цѣлыя народности и религіи, въ зломъ капризѣ объявляя ихъ опасными для государственнаго строя. Другому «ничего не составляетъ» плюнуть въ цѣлый, уже совершенно русскій, быть можетъ, изъ всѣхъ русскихъ краевъ самый русскій, край обвиненіемъ, что въ его населеніи на роль выборныхъ, по старинному, лучшихъ людей страны некого взять, кромѣ воровъ и казнокрадовъ!.. Развязно — и именно по звѣриному: даже безъ слѣда работы задерживающихъ центровъ! Хищная мысль сразу перешла въ хищное рыканіе и вылилась на бумагу скверною, хищною клеветою, совершенно беззаботною насчетъ послѣдствій. Нѣтъ, какъ хотите, прежде охранители были умнѣе и хоть что-нибудь читали, должно быть, — если ужъ не желали знакомиться съ неприятными

имъ сторонами русской жизни собственными глазами и перстомъ невѣрнаго Оомы.

Политическіе ссыльные приведены кн. Мещерскимъ единственно для «красоты слога», для вящаго устрашенія круговъ, мало знакомыхъ съ дѣйствительнымъ положеніемъ Сибири, и для доноса въ обычномъ мещерскомъ духѣ: вотъ-де что и кто плѣняютъ «господъ Санкюлотовыхъ», рекомендующихъ къ скорому исполненію земскую реформу въ Сибири. Всѣ эти милые цѣли и замыслы пусть при кн. Мещерскомъ и останутся. Никому не трудно взять съ полки томъ свода законовъ и ознакомиться въ немъ съ положеніемъ о политической (административной) ссылкѣ, изъ котораго совершенно ясно и опредѣленно явствуется, что административно-ссылный и состоящій подъ гласнымъ надзоромъ не имѣютъ правъ ни на какую общественную дѣятельность, не только выборную, но даже, напримѣръ, на судебное ходатайство иначе, какъ по своимъ собственнымъ дѣламъ. Это извѣстно всякому не только грамотному, но и безграмотному человѣку въ Сибири. За кого же принимаетъ свою публику, если таковая у него имѣется, г. Мещерскій, когда запугиваетъ ее политическими ссыльными, какъ возможнымъ элементомъ сибирскаго земства? Надо совершенно не уважать того, съ кѣмъ говоришь, надо быть увѣреннымъ въ его кругломъ невѣжествѣ, чтобы имѣть дерзость говорить прямо въ глаза такую завѣдомую ложь. Завѣдомую, — потому что я не могу предположить, чтобы публицистъ, работающій перомъ, какъ кн. Мещерскій, чуть не сорокъ лѣтъ, не зналъ, что безправное по закону положеніе русскихъ политическихъ ссыльныхъ не только не допускаетъ ихъ къ какой-либо общественной дѣятельности, но весьма строго ограничиваетъ и кругъ дѣятельности личной. Договариться до политическихъ ссыльныхъ въ роли земскихъ дѣятелей, при дѣйствующемъ законодательствѣ, въ состояніи только круглый неучъ или злонамѣренный инсинуаторъ, у котораго, при одномъ словѣ «земство», зеленѣетъ

въ глазахъ, и, чтобы потопить земство, ему всё средства хороши.

Итакъ, политическихъ ссыльныхъ, поставленныхъ г. Мещерскимъ въ строку жупела и металла ради, приходится совершенно устранить изъ вопроса: тутъ «Гражданинъ», какъ говорится, «не въ тотъ дубъ попалъ». Въ старыя, до-реформенныя времена политическими ссыльными,—до Бакунина включительно,—правительство и мѣстная администрація находили возможность пользоваться, какъ интеллигентною силою, прикомандировавъ ихъ къ губернскимъ правленіямъ и инымъ административнымъ учрежденіямъ, въ качествѣ подневольныхъ чинѣвниковъ. Черезъ этотъ искъ (къ слову сказать, превосходно изображенный Писемскимъ въ его «Людахъ сороковыхъ годовъ») прошли сотни русскихъ образованныхъ людей, впоследствии очень знаменитыхъ: даже вѣрнѣе сказать будетъ,—многіе ли не прошли? Но—то времена давно прошедшія. Съ шестидесятихъ годовъ, политическій ссыльный отрѣзанъ отъ возможности служить обществу до такой степени, что, напримѣръ, опредѣленіе выдающагося этнографа Кона на мѣсто вольнонаемнаго письмоводителя при минусинскомъ мировомъ судѣ состоялось лишь по спеціальному разрѣшенію двухъ министерствъ: юстиціи и внутреннихъ дѣлъ. Таково грозное положеніе «элемента», которымъ кн. Мещерскій вздумалъ отпугивать земскую реформу отъ Сибири!

Обращаясь къ «ворамъ и казнокрадамъ», которыми населенно воображаетъ Сибирь кн. Мещерскій, наслушавшійся съ дѣтства легендъ и сказокъ, что Сибирь — «страна изгнанія» и не умѣющий иначе представить ее, какъ тюрьмою, населенною шестью милліонами изверговъ естества. Если бы кн. Мещерскій потрудился прочитать какое-либо хоть самое простое и прямолинейное изслѣдованіе о сибирской уголовной ссылкѣ, — не говорю уже самому побывать въ ея полосахъ,—то, при всей смѣлости

и безапелляционности своихъ сужденій, онъ, я полагаю, покраснѣлъ бы за свою легкомысленную выходку: она была бы клеветою уже три четверти вѣка тому назадъ! «Не думай и не позволяй себѣ думать, чтобы Сибирь населена была ссыльными и преступниками. Число ихъ капля въ морѣ, ихъ почти не видно, кромѣ нѣкоторыхъ публичныхъ работъ. Невѣроятно, какъ вообще число ихъ мало-важно. По самымъ достовѣрнымъ свѣдѣніямъ, они едва составляютъ до 21 тысячи въ годъ». Это писалъ еще Сперанскій! Съ 1823 по 1888 годъ ссылка увела въ Сибирь всего лишь 784.901 человекъ! Весь девятнадцатый вѣкъ поселилъ въ Сибири не болѣе милліона преступниковъ, которыми попрекаетъ окраину кн. Мещерскій, то есть— девятнадцатый вѣкъ *далъ бы* Сибири не болѣе $\frac{1}{6}$ ея па-стоящаго населенія даже въ томъ случаѣ, если бы милліонъ этотъ преступный находился весь въ Сибири. Но,— справедливо говорить Ядринцевъ, — «наличное ссыльное населеніе въ Сибири составляетъ громадную разницу съ числомъ высланныхъ сюда и числомъ приписанныхъ къ волостямъ. Мы видимъ, что кромѣ числа вымирающихъ по дорогѣ, бѣгущихъ съ пути, оно уменьшается противъ приписки немедленно по прибытіи отъ какихъ-то причинъ на $\frac{2}{3}$ и даже $\frac{4}{5}$. Такимъ образомъ, изъ 200.000 (NB: собственно 202.854, официально приписанныхъ къ волостямъ, ссыльныхъ, въ началѣ послѣдняго десятилѣтія XIX вѣка) мы вправѣ считать наличными едва 40 и 60.000 остающихся въ мѣстахъ ссылки, а вмѣсто указываемыхъ 500.000 ссыльныхъ (NB: дошедшихъ) во весь періодъ и милліона, выросшаго путемъ народоженія, намъ представляется 400.000 потеряннаго и неизвѣстно куда дѣвшагося народа, умершаго или погибшаго въ бѣгахъ». Каждая административная провѣрка ссыльныхъ находила ихъ въ мѣстахъ приписки не болѣе, какъ въ $\frac{1}{5}$, въ $\frac{1}{3}$ должнаго количества. Анучинъ, Гагемейстеръ (официальный статистикъ), генералъ Шалашниковъ, рядъ докладовъ енисейскаго, томскаго,

иркутскаго губернаторовъ свидѣтельствовали, что ежегодный пригонъ ссыльныхъ въ Сибирь ничуть не увеличиваетъ ея населенія и уменьшаетъ благосостояніе, такъ какъ ссыльные—почти сплошь нищіе, часто вынужденные даже предаться кочевому образу жизни. Изъ 100 ссыльныхъ въ Томской губерніи только 13 устраивались земледѣльческимъ хозяйствомъ! И этого-то элемента боится кн. Мещерскій для земства, забывая, что 1) до выборныхъ должностей земскихъ — ссыльно-поселенцу, съ отбытіемъ сроковъ полного возстановленія въ гражданскихъ правахъ, надо ждать чуть не двадцать лѣтъ, что, при установленномъ статистикою среднемъ возрастѣ ссыльно-поселенцевъ на 30—50 лѣтъ, отсылаетъ ихъ опасное земское честолюбіе на шестой и восьмой десятокъ, когда и самъ князь Мещерскій, къ слову сказать, попалъ въ гласные; 2) что земство требуетъ отъ выборныхъ своихъ земельного ценза, котораго у ссыльно-поселенца почти никогда нѣтъ, а, если и есть, то онъ тонетъ въ морѣ чалдонскихъ и новосельскихъ хозяйствъ.

— Позвольте!— возразить кн. Мещерскій.—Вы подмѣнили вопросъ. Я говорилъ не о всей массѣ ссыльныхъ, но о разжившихся въ ссылкѣ казнокрадахъ и ворахъ...

Легенды о разжившихся казнокрадахъ и ворахъ, якобы процвѣтающихъ въ сибирской ссылкѣ, пора бы, въ очень значительной степени, передать въ область міеологіи. Объ Юханцевѣ ходили питерскіе слухи, будто онъ въ Сибири цыганокъ шампанскимъ моетъ, а онъ еле-еле кормилъ себя, служа писцомъ у адвоката, да и цыганокъ-то въ Сибири не водится. Исѣвъ бился, какъ рыба объ ледъ, точно великую милость Божію, сохраняя жалкое мѣстечко, только что не стрѣлочника, на одной станціи подѣ Томскомъ. Рыковъ попалъ въ село, гдѣ, на бѣду его, батюшка оказался изъ вкладчиковъ скопинскаго банка и потому систематически палагалъ аресты на весьма скудные крохи, которыя бывшій хищникъ получалъ изъ Россіи. Разжившихся и

хорошо устроившихся людей этой категоріи надо считать единицами, не допускающими обобщеній, а тѣмъ паче обобщающихъ выводовъ. Сибирякъ, по естественной, вѣковой, исторической антипатіи къ ссыльно-поселенцу, не помощникъ ему въ наживѣ, а лютый врагъ, часто не различающій средствъ, лишь бы разрушить нарастающее благосостояніе ссыльно-поселенца. Да, наконецъ, изъ богатыхъ ссыльно-поселенцевъ, возвратившихъ себѣ гражданское полноправіе, очень рѣдкіе остаются въ Сибири: огромное большинство сѣшпуть назадъ, къ своимъ російскимъ мѣстамъ—доживать вѣкъ подъ родными липами. Смѣшно и нелѣпо воображать земскими кандидатами въ Сибиріи Юханцевыхъ, Рыковыхъ, Исѣвыхъ! Если даже вообразить нѣчто невысказанное и совсѣмъ нежелательное,—что сибирское земство будетъ капиталистическимъ по принципу и купеческимъ по составу, то, и въ такомъ плачевномъ случаѣ, все же на каждый капиталъ, составленный «навознымъ» изъ Россіи, Сибирь въ состояніи отвѣтить десятками своихъ Трапезниковыхъ, Базилевскихъ, Иваницкихъ, Кузнецовыхъ, Юдиныхъ, Гадаловыхъ, Сибиряковыхъ, Пашенныхъ и т. д. «Навозный», новый капиталъ останется совершенно безсиленъ въ этой мощной конкуренціи, даже еслибы онъ существовалъ въ дѣйствительности, а не въ воображеніи лишь кн. Мещерскаго.

Князь Мещерскій задаетъ «господамъ Санкюлотовымъ» провокаторскій вопросъ: какого земства они желаютъ? съ дворянами? И самъ отвѣчаетъ за «господъ Санкюлотовыхъ»: «да, если эти дворяне будутъ Шиповы и Петрункевичи»... Оцѣнка дѣятельности гг. Шипова и Петрункевича не входитъ въ задачи настоящей моей статьи. Но я не думаю, чтобы «господа Санкюлотовы» были настолько безтактны—отвѣчать на общій вопросъ частными примѣрами. Они скорѣе отвѣтятъ: земство сложится, какъ и всюду слагается, изъ тѣхъ мѣстныхъ элементовъ, которые удовлетворяютъ законнымъ требованіямъ ценза и правоспособности, означен-

нымъ въ земскомъ положеніи. Гдѣ найдутся въ Сибири дворяне, — конечно, земство не обойдетъ ихъ, тѣмъ охотнѣе, что въ Сибири интеллигентнаго кандидата «черныя сотни» не душатъ, а, напротивъ, хватаются за него обѣими руками. Но, такъ какъ въ Сибири дворянъ мало, то, по всему праву и по всей вѣроятности, надо ожидать, что главнымъ элементомъ сибирскихъ земствъ будетъ богатый, смысленный, самостоятельный и, — пусть кн. Мещерскій не трепещетъ за отечество! — въ высшей степени спокойный, здравомысленный и консервативный сибирскій мужикъ, пресловутый «чалдонъ». А за нимъ — купецъ, выбравшійся въ купцы изъ такихъ же чалдоновъ, но, какъ чалдонъ, — не чета, по интеллектуальному вѣсу, великорусскому мужику, такъ и сибирскіе «Наполеоны тайги», «американцы» и пр. своею энергіей и умѣніемъ понимать и дѣлать прогрессъ родного края далеко оставляютъ за собою купеческія земства русскаго центра. Изъ фамилій, перечисленныхъ мною выше, каждая ознаменована какою-либо жертвою на дѣло просвѣщенія и благосостоянія своей страны, изъ нѣдръ которой извлечено ихъ богатство. Было бы земство, а людей для земства въ Сибири — сколько угодно, и хорошихъ людей, благожелательныхъ, не запятанныхъ. Зачѣмъ Сибири занимать своихъ земцевъ у уголовной ссылки? Она сама, триста лѣтъ живя землею, богата настоящимъ земскимъ умомъ.

Г. Мещерскій другимъ провокаторскимъ вопросомъ своимъ предлагаетъ отвѣтить: «отчего русскій человѣкъ, когда онъ по духовному міру демагогъ (!!!), скорѣе совсѣмъ рехнется, чѣмъ подумаетъ о томъ, не слѣдуетъ ли въ Сибири отъ правительственной власти, усиленной и улучшенной, ожидать улучшенія Сибири?» Знаете ли что, князь? Рехнуться-то кто-то рехнулся, только, повидимому, не «русскій человѣкъ, который по духовному міру демагогъ», а нѣкто, его будто бы обличающій совсѣмъ фантастическими допросами. Да что же въ Сибири земство — само, что ли,

изъ земли вырастетъ? Развѣ не отъ правительства зависитъ создать его? Развѣ не правительству принадлежитъ контроль надъ земскимъ самоуправленіемъ? Развѣ не правительства санкціей осуществляется дѣятельность земствъ? Развѣ не правительство утверждаетъ земскіе выборы? Развѣ не къ правительству взываетъ о земствѣ Сибирь, указывая на лекарство это, какъ на самое вѣроятное къ своему излеченію? Развѣ не представители правительства — суровый иркутскій генераль-губернаторъ Кутайсовъ и множество болѣе мелкихъ административныхъ чиновъ, пришедшихъ однако нынѣ къ дружному, постоянно и всюду въ Сибири повторяемому, убѣжденію, что безъ земства сибирякамъ становится жить очень трудно и жутко, а управленіе краемъ все дорожаетъ и слабѣетъ? О чемъ вы, князь? Откуда вы взяли это противопоставленіе сибирскаго земства дѣятельности правительства?!

Если князю Мещерскому угодно превращать обиняками своими общее въ частное и на мѣстѣ правительства въ статьѣ его, какъ въ нѣкой алгебраической задачѣ, надо подставить величину, подъ названіемъ «усиленная и улучшенная мѣстная администрація», то, во-первыхъ, подстановки подобныя врядъ ли умѣстны, и идея князя совсѣмъ неловко выражена. А, во-вторыхъ, отвѣтъ, почему усиленная и усиленная администрація не въ состояніи замѣнить для народнаго хозяйства въ Сибири земскаго самоуправления, очень простъ, помимо даже всѣхъ общихъ доводовъ и принципиальныхъ доказательствъ. Кто знакомъ съ пространствами Сибири, хозяйства которыхъ кн. Мещерскій рассчитываетъ обслужить административно, и съ насущными нуждами ея, тотъ очень хорошо знаетъ, что дать ей администрацію въ размѣрахъ потребности невозможно, такъ какъ, прежде всего, это значило бы мобилизовать для Сибири цѣлыя арміи чиновничества, непосильно дорогія для нашей казны. Сибирь, какъ богатство Россіи, — очень двусмысленное и далеко не такое щедрое достояніе,

какъ, по старой памяти, воображаютъ. Когда она живетъ по просту, сама въ себя, своими соками, она становится полнокровна и питаетъ своимъ избыткомъ Россію. Когда съ нею начинаютъ административно мудрить, она «не оку-паетъ расходовъ», быстро оскудѣваетъ и, въ захирѣніи своемъ, начинаетъ сосать обратно соки Россіи. Не забудемъ, что Сибирь звѣропромышленная давно умерла отъ истощенія, Сибирь горнопромышленная также, золото-промышленная тяжело болѣетъ, а земледѣльская похварывается,—такъ что—С. Ю. Витте, проѣхавъ ея по-лосу, уже поставилъ ей неутѣшительный діагнозъ, съ пред-сказаніемъ спѣшной необходимости создавать пятый фазисъ Сибири—Сибирь торговопромышленную. Устройство Си-бири и излеченіе ея недуговъ административными сред-ствами изсосутъ казну,—даже безъ всякихъ злоупотреб-леній! — и тяжело переложатся на весь русскій народъ, тогда какъ своимъ домашнимъ земскимъ хозяйствомъ си-биряки разберутся у себя въ дѣлахъ своихъ легко, бы-стро и дешево, за свой собственный сибирскій счетъ. Вы говорите, что земство—грѣхъ? Очень хорошо! Сибирь будетъ въ земскомъ грѣхѣ,—значить, Сибирь и въ отвѣтѣ.

Недавно я писалъ о благой роли, которую Сибирь, при существованіи земскаго благоустройства, могла бы сыграть въ тылу театра войны. Можете бранить земство, сидя въ своемъ кабинетѣ, сколько угодно, но—при уча-стіи земскихъ организацій, мы теперь не считались бы съ безобразными фактами вродѣ иркутскихъ войлоковъ по 70 к. аршинъ, амурскаго укрывательства хлѣбныхъ запа-совъ, ачинской стачки мясниковъ, либо плачевныхъ со-общеній, о самомъ жалкомъ и уныломъ состояніи восточно-сибирской деревни, отпустившей на войну свою рабочую молодежь и очутившейся теперь, за отсутствіемъ рабочей и возовой силы, совсѣмъ на мели и съ самыми мрачны-ми предчувствіями на ближайшее будущее...

Не разстроить, а устроить Сибирь въ ея всероссій-

скомъ соглашеніи хотять путемъ земства тѣ, кого г. Мещерскій величаетъ ругательно «господами Санкюлотовыми», а доносительно—«демагогами по духовному міру». Зачѣмъ Россіи тратитъ свои силы, напрягаясь трудно и дорого толкать впередъ тяжелую телѣжку сибирскаго развитія, когда Сибирь жаждетъ везти ее своею земскою тягою? Зачѣмъ покупать ребенку дорого стоящій станокъ съ помочами, когда онъ въ состояніи уже ходить самъ?!

А, что касается «демагоговъ по духовному міру»,— вотъ что слѣдовало бы сообразить князю Мещерскому. Вдругъ, какой нибудь «господинъ Санкюлотовъ», возьметъ, да невѣсткѣ на отместку, и отпечатаетъ князю Мещерскому, прямо въ глаза:—Есть въ Петербургѣ журналъ, который, повидимому, изъ силъ бьется, чтобы создать въ обществѣ демагогическіе инстинкты. Можно было бы даже подумать, что онъ издается именно съ этою цѣлью. По крайней мѣрѣ отчаянные демагоги должны бы поставить ему и группѣ, его издающей, памятникъ за оказанныя имъ услуги. Не этотъ ли журналъ стремится возвести крупное землевладѣніе въ политическую силу? Не онъ ли постоянно и неутомимо проповѣдуетъ объ абсолютной неправомерности всѣхъ лицъ гражданскаго общества, объ абсолютной привилегированности однихъ и объ «илотствѣ» другихъ? Не онъ ли, этотъ журналъ или его группа, постоянно твердитъ о какихъ-то «демократическихъ тенденціяхъ» и своими собственными аристократическими тенденціями вызываетъ въ Россіи тенденціи ультра-демократическія? Не онъ ли постоянно представляетъ нашъ разумный, добрый, мирный народъ какимъ-то пугаломъ общественнаго спокойствія, напоминая ни къ селу, ни къ городу только что не Пугачева и Стеньку Разина»...

При такихъ грозныхъ выраженіяхъ, кн. Мещерскій, подобно Милонову въ «Лѣсѣ», пожалуй, запищитъ:

— Но позвольте! За такія слова можно и отвѣтить. .

И, конечно, найдеть много проходимцевъ Булановыхъ, готовыхъ ему радостно поддакнуть.

— Да чево тамъ—къ отвѣту?

Прямо—къ становому! Мы всѣ свидѣтели!

Но тогда непочтительный «господинъ Санкюлотовъ» скажетъ, въ свою очередь, вынимая, какъ Несчастливцевъ, книгу изъ кармана:

— Меня? Ошибаешься! Смотри: напечатано! Одобряется къ тисненію!

И, вода по книгѣ перстомъ, прочтетъ князю:

— Сочиненія И. С. Аксакова, томъ второй, страница 340—341, о нѣкоторой газетѣ «Вѣсть», коей органъ вашего сіятельства есть прямое и очень плохое продолженіе...

Система общественнаго запугиванія дикимъ крикомъ, вопомъ и конскимъ топомъ наобумъ, практикуемая княземъ Мещерскимъ, черезчуръ устарѣла и рѣдко кого устрашаетъ. А кто и пугается, то—безъ малѣйшаго уваженія къ крикуну, лишь по слабонервности, стихійно. Людей же съ болѣе крѣпкими нервами и болѣе отчетливыхъ въ своемъ сомосознаніи невѣжественный и капризный крикъ Мещерскаго лишь безконечно изумляетъ, — нетерпѣливыхъ же и раздражительныхъ безъ нужды озлобляетъ. И въ охранительствѣ есть свои хорошіе, искренніе, благонамѣренные люди, рядомъ съ которыми охотно и съ уваженіемъ могли бы работать многія вполне прогрессивныя группы общества. Но, когда глашатаемъ охранительства дѣлается кн. Мещерскій, оно сразу становится злобнымъ, антипатичнымъ и непопулярнымъ повсемѣстно, потому что рѣдко публицистъ обладалъ большимъ талантомъ компрометтировать свое дѣло и отвращать отъ него общество.

Изъ записокъ напраснаго молодого человѣка.

Давненько я, напрасный молодой человѣкъ не бесѣдовалъ съ почтеннѣйшею публикою. Даже и не вспомню — когда въ послѣдній разъ? То ли, когда вызывались добровольцы ѣхать въ Таліенванъ? То ли, когда гремѣлъ бобровскій инцидентъ? То ли, когда другъ мой Миша Бишкинъ, возревновавъ къ лаврамъ андреевской балалайки, основалъ общество камерной музыки на полицейскомъ свисткѣ и мечталъ оною возродить отечество? *) Таліенванъ, балалайка... какая сѣдая, доисторическая древность! Кто помнитъ теперь, гдѣ онъ лежитъ Таліенванъ и зачѣмъ намъ, напраснымъ молодымъ людямъ, надо было и рекомендовалось туда ѣхать?! Балалайка, все-таки, сохранилась нѣсколько лучше. Правда, ее упорно выводятъ изъ порядочнаго оркестра, но — *tiens!* такова судьба всѣхъ, ходящихъ въ русскомъ платьѣ: ихъ удаляютъ изъ всѣхъ мѣстъ, предназначенныхъ для коллективнаго вкушенія плодовъ цивилизаціи! Балалайка — инструментъ въ паневѣ: вотъ все его несчастье. Это — провиденція. Въ то время, какъ скрипка, віолончель и контрбасъ, инструменты во фракахъ и пеплумахъ *Empire*, наслаждаются Бетховенами, Вагнерами и Чайковскими, злополучная паневница-балалайка осуждена глазѣть на господское веселье изъ-за оркестро-

*) Зри о всѣхъ, событіяхъ, ровно какъ и о прежнемъ бытіи Напраснаго Молодого Человѣка сборникъ мой „Столичная Бездна“.

вой загородки, щелкать подсолнухи «промежъ себя» и визжать о томъ, «какъ поѣхалъ Ванька въ Питеръ, я не буду его ждать»...

Какъ видите изъ распушенной мною язвительности въ высшемъ и благороднѣйшемъ стилѣ, я, напрасный молодой человѣкъ, крѣпко заступаюсь за балалайку. Многие заступаются. И мнѣ кажется: такъ оно и быть должно, оно въ природѣ вещей. Я часто думаю, что, заступаясь за балалайку, и я, напрасный молодой человѣкъ, и другие, мнѣ подобные, полублагополучные россияне, заступаемся за самихъ себя, за собственную душу, въ коей искони дребезжить и трепещетъ сей національный инструментъ, несложнымъ, но за то и незлобивымъ, треньканьемъ своимъ выражая все наше внутреннее содержаніе. Во время оно мы нѣсколько конфузились своего балалаечного нутра, воображая по предразсудку, будто балалайка всегда бываетъ безструнная. За то — какъ мы обрадовались, когда намъ доказали: нѣтъ! безструнная балалайка,—это превратное мнѣніе клеветниковъ Россіи! Это — унижительный миеъ, созданный завистью тлетворнаго Запада къ русской самобытности, миеъ, который русскому человѣку давно пора забыть, а русской цензурѣ—вычеркивать изъ книгъ, брошюръ и журналовъ! Настоящая, національная балалайка, таящаяся въ благополучной російской душѣ, не безструнная, но — вотъ она какова, голубушка!!!... И показали намъ нѣкій *chef d'oeuvre* изъ полисандроваго дерева, со стальными струнами, такой красоты и съ такимъ гулкимъ пустозвономъ, что каждому изъ насъ стало ясно, что носить въ себѣ балалайку вмѣсто—души отнюдь не въ срамъ, но въ честь и радость. И вотъ—день за днемъ, годъ за годомъ мы дребезжимъ, дребезжимъ, гордые познаніемъ, что торчитъ въ насъ не какая-нибудь, но полисандровая балалайка,—двоюродная сестра мандолины и, съ лѣвой стороны, племянница арфы.

Но, въ концѣ концовъ, чортъ съ нею — и съ душою, и съ балалайкою! Неужели я, напрасный молодой человѣкъ, возобновилъ свои записки только за тѣмъ, чтобы рассуждать о балалайкѣ?! Это не я рассуждаю, — это дребезжать «задерживающіе центры»... Богъ ихъ знаетъ, эти центры, какъ странно устроены они у нашего брата! Мысль въ головѣ прыгаетъ, какъ испугнутый заяцъ, слова льются съ языка, какъ изъ жолоба, а толка и дѣйствія ровно никакого. Нѣтъ другой страны, гдѣ, какъ въ Россіи, говорилось бы столько словъ и пролеживалось бы столько дивановъ! Я не могу похвалиться собою, чтобы дѣйствовалъ хотя бы пальцемъ въ разрѣшеніи какихъ либо общественныхъ вопросовъ, но съ гордостью могу сказать, что каждый изъ нихъ стоитъ мнѣ дивана: такъ вращала и перевертывала меня съ бока на бокъ гражданская скорбь. Взять хотя бы эпоху бурской войны, когда я весь былъ порывъ, и пружины подо мною стонали такъ жалобно, что, казалось, вотъ-вотъ я сейчасъ встану и куда-то пойду, пойду... А только и вышло, что вмѣсто «талиенванца» стали дразнить меня «трансваальцемъ»! А тутъ подоспѣла «желтая опасность», и мнѣ пришлось купить новый диванъ, чтобы обдумывать, какъ бы я съ нею распорядился, если бы имѣлъ власть и волю. И---знаете ли? На каждый вопросъ — по дивану, — это кусается, наконецъ! Положимъ, за военнымъ временемъ въ мебельномъ дѣлѣ сейчасъ страшный застой и диваны достаются дешево (особенно, или, на всякій случай закупать оптомъ), но — сколько же и вопросовъ! И хоть бы одинъ рѣшилъ путемъ!.. Только вертись-вертись, пружины стонутъ-стонутъ, бока помяты-натружены... а ни тпру, ни ну!.. Новоявленный другъ мой, босякъ Константинъ Сатинъ, увѣряетъ, будто все это — именно отъ перемѣщенія задерживающихъ центровъ: въ головномъ мозгу — ау! ихъ не стало! и, слѣдовательно, мели, Емеля, твоя недѣля, вали все въ кузовъ, послѣ разберемъ! а руки-ноги — какъ

оловянныя, и лѣнь сойти съ дивана, такая удручающая тоскою лѣнь, что, кажется, просто ужъ лучше умереть!.. За это благородное бездѣйствіе я долгое время называлъ самъ себя Гамлетомъ, покуда другіе не начали звать меня оболтусомъ.

Ругаться легко. Обругать всякій можетъ, а вотъ вы наставьте! Знаете ли? Иногда мнѣ, напрасному человѣку, становится страшно... Гдѣ я? на что я? почему я? Я начинаю сомнѣваться въ самомъ себѣ: — Да, полно,—молодъ ли я? напрасенъ ли я? и—даже—человѣкъ ли я? Я читалъ въ какомъ-то путешествіи на луну, будто ея обитатели всѣмъ тѣломъ перерождаются въ тотъ органъ, которымъ функционировать предназначаетъ ихъ житейскій укладъ: ученый—весь мозгъ, кузнецъ—весь мускулистая рука и т. д. Мнѣ иногда представляется, что и я—житель луны, весь ушедшій въ собственные бока. Огромные бока—и ничего болѣе! Боками отдуваюсь отъ жизни и только боками жизнь чувствую! Я наминаю бока о пружины дивана,—эмоція: больно! я негодую всѣми ребрами, зачѣмъ лежу, когда мнѣ лежать больно, и льются самобичующія слова, слова, слова... Хлещетъ по бокамъ чей-нибудь жгутъ,—эмоція: больно! я негодую всѣми ребрами, зачѣмъ меня хлещутъ, когда я лежу и никого не трогаю, и льются слова, слова, слова обличительныя... Подоткнеть кто-нибудь подъ бокъ подушку,—станетъ тепло и мягко: льются слова благодарныя и признательныя! Лежу и думаю: вонъ оно, какъ я благоустроился.. жуа-де-вивръ такой, что не продуть!.. Ну, и, значить, того...

Въ надеждѣ славы и добра
Впередъ гляжу я безъ боязни!

И сплю... Отчего я такъ много сплю? Словно сонъ-травы объѣлся, либо держу подъ подушкою «Проблемы идеализма» и «Основы реалистическаго міросозерцанія?»... Сплю, сплю... Прежде хотя сны видѣлъ и потомъ, вы-

спавшись, умѣлъ о нихъ разсказывать. А теперь и снова нѣтъ! ничего! нирвана!.. А если и забрежить, замаячить слишкомъ, замерзжить,—не въ радость: дикое и предвѣчное что-то грезится—хаосъ не хаосъ, чуланъ не чуланъ, яма не яма... Пусто, темно и въ темнотѣ кто-то чавкаетъ... То ли упырь упокойника доѣдаетъ, то ли князь Мещерскій о земствѣ статью пишетъ... Ну ихъ! Лучше и впрямь ничего, чѣмъ этокое...

Ругаться легко, а вы наставьте! Дѣятельности вамъ? дѣятельности? А гдѣ для меня, напраснаго молодого человѣка, дѣятельность? Вы думаете, я самъ не мечтаю о дѣятельности? Ошибаетесь! Чтобы найти себѣ дѣятельность, я нѣкогда собирался съ Миклухою Маклаемъ колонизовать Новую Гвинею! Я мечталъ ѣхать въ Талиенванъ, чтобы, путемъ смѣшанныхъ браковъ, созидать тамъ желторусскую расу и, если не попалъ туда, то лишь оттого, что позабылъ, гдѣ онъ, Талиенванъ,—то же ли это, что Сахалинъ, или то же, что Мадагаскаръ? Я потому только не поѣхалъ къ бурамъ, что боялся не доѣхать въ Трансвааль, такъ какъ путь-дорога—на Марсель, а тутъ рукою подать до Монтекарло! Въ 1901 г. очень думалъ ринуться на театръ военныхъ дѣйствій въ Китаѣ, но — тогда какъ разъ возвращающихся воиновъ хлопнули таможеню на Байкалѣ и .. и... для какого же бы лѣшаго понесло меня нюхать китайскія фанзы, разъ всегда легко и портативно содержимое оныхъ стало возможно ввозить въ Россію лишь съ преогромною пошлиною?! Я чуть-чуть не устремился къ Борису Сарафову освобождать Македонію отъ турецкаго ига, и если сіе не состоялось, то единственно по винѣ самого Бориса, приславшаго мнѣ по телеграфу пижеслѣдующій и престранный рескриптъ:

Въ Петербургъ. На почитаемый господинъ Напрасный
Молодой Человѣкъ.

Денъгата нимата. Болваната требата, да учемо век-
селитѣ.

Борись І,

лже-вождь.

Послѣ чего энтузіазмъ мой значительно охладѣлъ — тѣмъ болѣе, что свои волонтерскія предложенія я адресовалъ въ дебри Охриды, а отвѣтъ былъ почему - то датированъ все тѣмъ же фатальнымъ Монтекарло, которымъ, по странному стеченію обстоятельствъ, завершается большинство порывовъ славянскаго патріотизма.

Въ настоящее время я съ удовольствіемъ отдалъ бы себя со всею моею напрасностью въ распоряженіе Краснаго Креста, но — не смѣю. Говорю искренно: хотѣлъ и рвался, но былъ застигнутъ ушатою холодной воды и... не смѣю! Дѣятельность — хорошая штука, но есть нѣчто, чѣмъ обыватель россійскій долженъ дорожить гораздо больше всякой дѣятельности, и нѣчто это называется благонадежностью. Между тѣмъ — достаточно читать журналъ «Гражданинъ», чтобы слѣдить за плачевнымъ процессомъ, какъ между Краснымъ Крестомъ и благонадежностью треснула земля вглубь до пупа, и трещина обращается въ бездну, и бездна бездну призываетъ, и демонъ крामолы торжествующе хохочетъ въ ней. Начались всѣ эти ужасы съ того, трагическаго момента, когда Красный Крестъ рѣшился обратиться къ помощи отвратительнаго учрежденія, называемаго земствомъ и, по слухамъ кн. Мещерскаго, составляемаго преимущественно изъ каторжниковъ, приговоренныхъ къ пожизненнымъ работамъ въ рудникахъ съ прикованіемъ къ тачкѣ. Изъ таковыхъ земскихъ каторжниковъ особенною знаменитостью славится грозный атаманъ Шиповъ (двоюродный правнукъ Стеньки Разина по женской линіи), которому кн. Мещерскій, по званію заплечнаго мастера россійской журналистики, еженедѣльно дважды рветъ ноздри. Но вотще: таково сильно колдовство этого страшнаго разбойника, что, отъ воскресенья къ чет-

вергу и отъ четверга къ воскресенью, поздри его возста-
вливаются безвредно, что, конечно, кн. Мещерскому не до-
ставляетъ никакихъ восторговъ, но даетъ поводъ писать
ужасно много краснорѣчивыхъ статей. Само собою по-
нятно, что, послѣ такой компетентной рекомендаціи, я
пришелъ къ убѣжденію, что не долженъ компрометировать
себя близостью къ учрежденію, не брезгающему услугами
каторжныхъ корпорацій съ колдующими атаманами во
главѣ. Поэтому я написалъ въ Красный Крестъ одно
слово: «Стыдитесь!» и отправилъ закрытымъ письмомъ
безъ марки (пусть заплатятъ гривенникъ штраф!) Рубль
же, который намѣревался пожертвовать на раненыхъ, от-
правилъ кн. Мещерскому съ почтительнѣйшею просьбою
пріобрѣсти на всю эту сумму количество розогъ, достаточ-
ное для обращенія на путь нравственности хотя бы одного
кухаркина сына, одержимаго «припадками идейности».

А ужасная эта болѣзнь идейность! Даже вчулѣ! Столь
ужасная, что—чѣмъ заболѣть ею, я ужъ предпочитаю луч-
ше наминать себѣ бока о пружины своего дивана отнынѣ
и до конца дней своихъ. Судите сами: вотъ примѣты,
вѣрнѣе будетъ сказать: симптомы этого грознѣйшаго за-
болѣванія. Я заимствую ихъ изъ діагноза, поставленнаго
тѣмъ же кн. Мещерскимъ въ томъ же «Гражданинѣ». Больные
идейностью русскіе люди—непремѣнно «изъ
крестьянскаго сословія», учатся въ сельско-хозяйствен-
ныхъ училищахъ, проходятъ курсъ идейнаго развитія по
переводамъ *Спенсера* (кн. Мещерскій пишетъ сего фило-
софа почему-то курсивомъ!), *поступаютъ въ интелли-*
генты (опять курсивъ!), то есть въ редакцію газеты, тамъ
пробывъ (курсивъ!) нѣсколько мѣсяцевъ, уходятъ, а за-
тѣмъ ищутъ *учительскаго* (курсивъ!) мѣста... По вѣрѣ
они—атеисты, по убѣжденіямъ—толстовцы, но (!!!) съ
виду честные и добрые... Особая примѣта: въ карманѣ ре-
вольверъ!

Нечего и говорить, что, при такихъ данныхъ діагноза, предсказаніе болѣзни—самое мрачное: *exitu mortali* ! Для «идейнаго человѣка изъ крестьянскаго сословія» въ Россіи двѣ дороги:

1) О, ужасъ!—въ учителя!!!

2) «Болѣе обыкновенный исходъ,—это поступленіе въ агенты разныхъ подпольныхъ пропагандъ или во враги существующаго строя». «Изъ десяти разъ девять вы можете быть увѣрены, что это бывший или будущій поднадзорный».

Весь свой діагнозъ кн. Мещерскій произвелъ по наблюденію за какимъ-то молодымъ бѣднякомъ изъ крестьянъ, пришедшимъ къ нему просить работы. Работы благодѣтель не далъ,—какъ трижды о томъ даетъ понять, напуганный довольно дикою мечтою воображенія: а нѣтъ ли у просителя револьвера въ карманѣ?²—но искостить въ газетѣ искостилъ. Да еще и не одного этого бѣдняка: ему-то, пожалуй, подблѣомъ! знай, дуракъ, къ кому обращаться за помощью, и не унижай себя напрасно!—но и все его сословіе. «А, если тетка есть, то и теткѣ!»

Я, напрасный молодой человѣкъ, не кухаркинъ сынъ, но дворянскій, и потому, какъ сами можете понять, читаль «Рѣчи консерватора» съ истиннымъ восторгомъ, празднуя, такъ сказать, настоящіе именины сердца. Именно! Такъ его! Жарь каналью! Курсивами! Не читай, чортовъ сынъ, подлеца Спенсера! Я Спенсера не читаль, но думаю, что, разъ «Гражданинъ» пишетъ его курсивомъ,—непремѣнно долженъ быть подлець! Не поступай въ интеллигенты, а—поступилъ, такъ живи въ интеллигентахъ, чортова перешница, дондеже не поколѣбешъ, а не ищи учительскаго мѣста!... Кстати: не забыть спросить кн. Мещерскаго письменно, что это за мѣсто такое «интеллигентъ», на которое можно «поступить», и велики ли оклады, а также—съ какой протекціей?! Я думаю, что, разъ кухаркинъ сынъ могъ поступить въ интеллигенты, то дворянскому, съ

хорошими рекомендательными письмами... гм?.. Отчего же?.. Не имѣй, апаеема, честнаго и добраго вида, если ты по вѣрѣ—атеистъ, а по убѣжденіямъ—толстовецъ!.. Тутъ тоже есть маленькое недоразумѣніе, о которомъ надо запросить князя въ томъ же письмѣ: какъ это совмѣстить въ одномъ лицѣ толстовца по убѣжденіямъ съ атеистомъ по вѣрѣ? Если толстовецъ, то, значить, не атеистъ, если атеистъ, то, значить, не толстовецъ... Тутъ чувствуется какое-то совмѣстительство, котораго я постичь не въ состояніи, но—это пустяки! все равно! Главное—тонъ и неукоснительность, а они пущены во весь C-dug... Я читалъ, и вся балалайка души моей гремѣла отзвучіями и пѣла, вторя автору «Рѣчей Консерватора»:

Ахъ, такой-сякой комаринскій мужикъ!
За идейность мы тебя—сейчасъ бжикъ! бжикъ!

Но признаюсь вамъ откровенно: при всемъ балалайномъ совершенствѣ «Рѣчей Консерватора», восторгъ мой былъ не полонъ. Я люблю кумировъ цѣльныхъ и солнца безъ пятенъ. А въ разсказѣ своемъ о визитѣ идейнаго комаринскаго мужика со Спенсеромъ, кн. Мещерскій, какъ хотите, далъ нѣсколько разъ большого маха, и я очень боюсь, чтобы кухаркины дѣти не поймали его на этихъ размахъ и не высмѣяли, къ величайшему огорченію всѣхъ, кому дороги истинно-консервативныя начала, которыя, какъ извѣстно, только въ одномъ «Гражданинѣ» настоящимъ букетомъ и цвѣтутъ и за умѣренныя деньги дважды въ недѣлю желающимъ показываются.

Во первыхъ, къ обидѣ моей, разсказъ показался мнѣ не новымъ, равно какъ и разсужденіе объ идеяхъ, составляющее его правоучительный центръ. Я, хотя и напрасный молодой человѣкъ, однако, лежа на диванѣ, кое-что почитываю (не Спенсера курсивомъ!! сохрани Богъ!!!) и потому мнѣ не составило большого труда догадаться, гдѣ я впервые ознакомился съ мыслями кн. Мещерскаго объ идейности, и кто, такимъ образомъ, оказывается старшимъ

братомъ и наставникомъ вдохновителя «Гражданина». Его звали Михайло, и, онъ въ качествѣ цирюльника, служалъ «Въ банѣ», описанной Антономъ Чеховымъ. Сверхъ стрижки, бритья, открыванія крови банками и срѣзыванія мозолей, почтенный труженикъ этотъ имѣлъ еще двѣ спеціальности: сваталъ невѣсты и сообщалъ нѣкоторому Назару Захарычу, если кто въ банѣ «слова разные произносить... съ идеями». Промыселъ сватовства былъ въ упадкѣ, и современную невѣсту цирюльникъ Михайло не одобрялъ совершенно по тѣмъ же причинамъ, по коимъ кн. Мещерскій не одобряетъ современную читающую публику:

— Прежняя невѣста желала выйти за человѣка, который солидный, строгій, съ капиталомъ, который все обсудить можетъ, религію помнить, а нынѣшняя лѣстится на образованность.

Всѣхъ же образованныхъ цирюльникъ Михайло глубоко презиралъ—и опять совершенно по рецепту кн. Мещерскаго, связующаго разговоры о культурѣ съ «черными нѣгями»:

— ...«Къ намъ сюда ходить одинъ образованный... Изъ телеграфистовъ... Все превзошелъ, депеши выдумывать можетъ, а безъ мыла моется, смотрѣть жалко.

Въ отвѣтъ на цирюльныя рѣчи Михайлы, съ полка донесся хриплый голосъ:

— Бѣденъ, да честенъ! Такими людьми гордиться надо! Образованность, соединенная съ бѣдностью, свидѣтельствуешь о высокихъ качествахъ души. Невѣжа!

Михайло искоса поглядѣлъ на полокъ и увидалъ голаго, волосатаго человѣка.

— Изъ этихъ... изъ длинноволосыхъ!—мигнулъ глазомъ Михайло.—Съ идеями... Страсть, сколько развелось нынче такого народу! Не переловишь всѣхъ... Ишь, патлы распустилъ, шкилетъ! Всякій христіанскій разговоръ ему противенъ, все равно, какъ нечистому ладонь. За образо-

ванность вступился! Такихъ вотъ и любить нынѣшняя публика... Нешто не противно?

И, чтобы доказать, что противно, Михайло спѣшить разсказать подлѣйшій анекдотъ о «писателѣ».

— Это клевета на печать!—гремятъ хриплый басъ. Дрянъ! Не смѣй говорить о томъ, чего не понимаешь. Писатели были въ Россіи многіе и пользу принесшіе. Они просвѣтили землю, и за это самое мы должны относиться къ нимъ не съ поруганіемъ, а съ честью. Говорю я о писателяхъ, какъ свѣтскихъ, такъ равно и духовныхъ.

— Духовныя особы не стануть такими дѣлами заниматься.

— Тебѣ, невѣжѣ, не понять. Димитрій Ростовскій, Иннокентій Херсонскій, Филаретъ Московскій и прочіе другіе святители церкви своими твореніями достаточно способствовали просвѣщенію.

Михайло покосился на своего противника, покрутилъ головою и крякнулъ:

— Ну, ужъ это вы что-то тово, сударь... Что-то умственное... Недаромъ на васъ и волосья такіе. Не даромъ! Мы все это очень хорошо понимаемъ и сейчасъ вамъ покажемъ, каковъ вы человѣкъ есть.

Пошелъ въ предбанникъ и заявилъ:

— Сейчасъ выйдетъ изъ бани длинноволосый... Народъ смущаетъ... Съ идеями... Сбѣгайте къ хозяйкѣ, чтобы за Назаромъ Захарычемъ послали — протоколъ составить...

— Какой же это длинноволосый? — встревожились мальчишки. Тутъ никто изъ такихъ не раздѣвался... Ты, знать, отца дьякона за длинноволосаго принялъ?

— Выдумывайте, черти! Знаю, что говорю.

Но—увы! — мнимый длинноволосый, дѣйствительно, оказался дьякономъ!.. Тогда:

— Отецъ дьяконъ! Простите меня, Христа ради, окаяннаго!

— За что такое?

Михайло глубоко вздохнулъ и поклонился дьякону въ ноги.

— За то, что я подумалъ, что у васъ въ головѣ есть идеи!»

Въ заключительномъ діалогѣ сходство между цирюльникомъ Михайло и кн. Мещерскимъ теряется, ибо князь не имѣетъ презрѣнныхъ пороковъ добродушія и простосердечія, которые заставили ничтожнаго Михайлу (все-таки, кухаркинъ сынъ!) признать свою ошибку и извиниться въ ней. Кн. Мещерскій не изъ тѣхъ: *il ne se trompe pas*. И, будь онъ на мѣстѣ Михайлы, то, конечно, закаталъ бы къ Назару Захаровичу неповиннаго отца дьякона за настоящаго «длинноволосаго» въ самомъ лучшемъ и чистомъ видѣ... Но сходство во взглядѣ на идейность и въ ненависти къ ней—поразительное: Михайло-цирюльникъ разсуждаетъ, словно онъ весь свой вѣкъ издавалъ «Гражданинъ», писалъ «Дневники», «Рѣчи консерватора», кн. Мещерскій—точно онъ весь вѣкъ въ предбанникѣ стригъ, брилъ, кровь отворялъ и мозоли рѣзалъ.

Человѣку свойственно ошибаться: ошибся и непогрѣшимо, казалось бы, наметанный глазъ цирюльника Михайлы, принявъ діакона за «длинноволосаго». Я сильно опасаюсь, что современные длинноволосые подвергнутъ сомнѣнію весь разговоръ князя съ идейнымъ историческимъ мужемъ, будто бы его посѣтившимъ. Мнѣ, конечно, никогда и въ голову прійти не можетъ, что кн. Мещерскій лжетъ, но «длинноволосые» не столь къ нему почтительны. Они, пожалуй, скажутъ:

— Ну, съ какой стати, идейный человѣкъ изъ крестьянскаго сословія, притомъ столь крайней марки, что у князя съ перепуга въ глазахъ запрыгали призраки револьверовъ, поѣдетъ за работой къ кн. Мещерскому—завѣдомому врагу образованныхъ людей, изъ крестьянскаго сословія? ну, какъ это архирадикалъ можетъ разсчитывать получить занятія отъ кн. Мещерскаго, архиретро-

града? Вретъ кн. Мещерскій! Никакого «идейнаго чело-
вѣка изъ крестьянскаго сословія» у него въ гостяхъ не
было, а просто, вѣроятно, приходилъ старшій дворникъ
(кстати и по описанію похожъ— «въ полукрестьянскомъ
и полуинтеллигентномъ одѣяніи и съ перваго же движе-
нія производитъ впечатлѣніе развязностью своихъ ма-
неръ») — старшій дворникъ поздравить его сіятельство съ
праздникомъ и попросить на чаекъ...

— Позвольте-съ, — возопіемъ, протестуя, мы, благо-
мыслящіе. — А разговоръ? Развѣ вы не читали, какой между
княземъ Мещерскимъ и костромскимъ мужикомъ съ идеями
возмутительный вышелъ разговоръ?

Но длинноволосые скептики и невѣры по натурѣ,
чортъ ихъ дери. Они преспокойно возразятъ:

— А весь разговоръ князь выдумалъ.

— Какъ выдумалъ?!

— Да, такъ — примѣнительно къ тому, какъ, по мнѣ-
нію князя, разговаривалъ бы его старшій дворникъ, если
бы сдавалъ въ участкѣ экзаменъ объ «идейномъ недугѣ»...
Гдѣ это видано, гдѣ это слыхано, чтобы такъ вотъ при-
шелъ челоѣкъ къ другому, впервые знаемому, да еще съ
репутаціей князя Мещерскаго, — и давай выкладывать:
меня въ учебномъ заведеніи «революціямъ» учили! У ме-
ня револьверъ въ карманѣ! Я по вѣрѣ атеистъ, но ищу
учительскаго мѣста!.. Это — ряженный старшій дворникъ
провокаторствуетъ, а вовсе не «революціонеръ»!... Это —
представленіе изъ тойже категоріи, которую съ годъ тому на-
задъ преostroумновысмѣлялъ самъ кн. Мещерскій, изображая
какъ часть петербургскаго high life'a «спасала отече-
ство, сближаясь съ рабочимъ классомъ»... Только и всего!

И вдругъ — представьте, князь: ну, какъ длинноволо-
сые не врутъ, и вы... того... попали не въ тотъ дубъ, на
манеръ цирюльника Михайлы? Преглуно! Потому что у
Михайлы было хоть то утѣшеніе, что онъ извинился предъ
дьякономъ, но ваша перспектива со старшимъ дворникомъ

мнѣ, исконному вашему поклоннику, рѣшительно не улыбається.

Я, напрасный молодой человѣкъ, будучи дворянскимъ сыномъ, смущенъ нѣсколько и тою рѣзкостью, съ которою кн. Мещерскій объявилъ «идейность» специальною принадлежностью «полуграмотнаго крестьянина». Какъ же такъ? Есть же, наконецъ, и у насъ что нибудь въ головахъ... Вы вотъ говорите: «Возьмите хорошаго, образованнаго, порядочнаго человѣка; вы съ нимъ побесѣдуете часъ, два, три и ни разу не услышите отъ него словъ: «гуманность, культура»... Когда я прочиталъ эти слова ваши, мнѣ вспомнился на сей разъ не Чеховъ, а нѣкто Бакинъ изъ пьесы Островскаго «Таланты и Поклонники». Ходить этотъ господинъ Бакинъ и выхваляетъ нѣкоего князя Дулебова:

— И этотъ, господа, почтеннѣйшій во всѣхъ отношеніяхъ человѣкъ и отличный семьянинъ пожелалъ осчастливить своей благосклонностью дѣвицу Нѣгину... Онъ очень учтиво приглашаетъ ее на содержаніе, а она изволила обидѣться и расплакаться.

Д у л е б о в ъ. Нѣтъ ужъ, Григорій Антоновичъ, оставьте, сдѣлайте одолженіе.

Б а к и н ъ. Почему же, князь?

Д у л е б о в ъ. Вы когда начнете хвалить кого нибудь, такъ у васъ выходитъ, что почтенный во всѣхъ отношеніяхъ человѣкъ оказывается совсѣмъ непочтеннымъ.

Я сильно опасаюсь, что многіе князья Дулебовы, которыхъ рекомендуетъ кн. Мещерскій, какъ хорошихъ, образованныхъ, порядочныхъ, тоже скажутъ ему:

— Нѣтъ ужъ, Владиміръ Петровичъ, оставьте, пожалуйста!

— Почему же?

— Когда вы хвалите кого нибудь, такъ у васъ выходитъ, что хорошій, образованный и порядочный человѣкъ совсѣмъ не хорошъ, не образованъ и не порядоченъ.

Красиво было бы общество, въ которомъ понятія о

«гуманности» и «культурности» были бы устранены из рѣчи хорошихъ, образованныхъ и порядочныхъ людей и составляли бы принадлежность «умственныхъ хулигановъ съ фигурою, заставляющею думать о револьверѣ, который у него въ карманѣ»!.. Какъ хотите, князь, а это обидно! Вы отдали кухаркинымъ дѣтямъ слишкомъ много преимуществъ предъ нашимъ братомъ, дворянскимъ сыномъ, хотя мы никогда не огорчали васъ, обучаясь въ сельско-хозяйственныхъ училищахъ, въ которыхъ, вмѣсто сельскаго хозяйства, преподаютъ идейность! Вы лишаете насъ даже словъ, которыя г. Лейкинъ называлъ бы «образованными», подобно тому, какъ вы называете платье «интеллигентнымъ». Лишили идейности, лишили образованныхъ словъ, хотя таковыя не чужды даже заблудшему моему другу, экста-телеграфисту Константину Сатину на днѣ ночлежки... Кстати сказать, я сильно подозреваю, не былъ ли этотъ телеграфистъ, о которомъ писалъ Чеховъ, что онъ въ банѣ безъ мыла моется по бѣдности, но не идетъ на содержание къ богатой невѣстѣ—именно Константиномъ Сатинымъ?.. Ни мыслей, ни словъ... Что же вы оставляете намъ? Какое готовите намъ мѣсто въ природѣ? Мы обростемъ шерстью, превратимся въ Навуходоносоровъ, и погонять насъ на подножный кормъ, какъ щедринскаго «Дикаго помѣщика», который изъ отказа отъ культурности только ту пользу вынесъ, что пересталъ сморкаться и получилъ возможность сѣять на шеѣ шампиньоны.

Еще долженъ я предупредить князя о возможностяхъ вылазки противъ него статистической. Эта неблагонамѣренная наука стоитъ въ одной очереди гоненія съ культурностью и гуманностью, звучащими такъ непріятно въ ухахъ княжескихъ. Она язвительна и являетъ свои аргументы человѣку завравшемуся совершенно неожиданно и, Богъ вѣсть, изъ какихъ хитрыхъ и потайныхъ щелей. И вотъ—теперь. Я сообщаю падшему другу моему, Константину Сатину, открытіе кн. Мещерскаго, что у cadaго

идейнаго челоѣка изъ крестьянскаго сословія въ карманѣ лежитъ револьверъ, а Константинъ Сатинъ опровергаетъ:

— Скажи своему князю, що вінъ бреше.

— Почему?

— Потому что, если бы не брехалъ, то оружейники въ Россіи были бы богачами, а у насъ во всѣхъ городахъ, наоборотъ, оружейные магазины — такъ и лопаются. Даже въ Тулѣ кустари всѣ съ голода попримерли!

Еще—вотъ что, князь: послѣднее слово смущеннаго, празднаго и напраснаго, но любящаго васъ молодого челоѣка. Недѣлю тому назадъ вы объявили мерзавцами шесть милліоновъ сибирскаго населенія, изъ которыхъ де даже лучшіе—воры и казнокрады. *). Теперь объявили умственными хулиганами и разбойниками съ револьверами въ карманахъ грамотную часть крестьянскаго сословія, что составить опять немалые милліоны. Населеніе въ Россіи весьма изрядное,—до ста пятидесяти милліоновъ, однако, если вы будете еженедѣльно объявлять внѣ закона по нѣскольку милліоновъ русскаго обывательства, то—увѣрены ли вы, что достанетъ для вашего усердія? И не уподобитесь ли вы другому щедринскому персонажу—пресловутому Пафнутьеву, который, единожды принявшись упразднять, упразднилъ всѣхъ въ природѣ до праведнаго Ноя съ птицами и звѣрьми его и взялся уже было за упраздненіе Адама и Евы, но тутъ его начальство остановило за руку:

— Стой! А кто же, по твоему, плодиться и множиться будетъ?

Хотя русскій гражданинъ и плодливъ, но если истреблять его по мещерской усовершенствованной методѣ, то не воспротестуетъ ли сама природа?

Успѣютъ ли женщины пополнять убыль къ новымъ срокамъ упраздненія?

*) См. предыдущія статьи „О сибирскомъ земствѣ“.

Простите сомнѣнія новичка, князь! Я вѣдь не противъ упраздненія человѣчества: сохрани Богъ! Какъ напрасный молодой человѣкъ въполнѣ вашей школы, я очень хорошо понимаю, что затѣмъ и создавалось человѣчество оптомъ, чтобы быть упраздняемымъ въ розницу. Но на все есть своя метода,—я лишь врагъ чрезмѣрной поспѣшности... Надо такъ, чтобы было *langsam, aber immer voran*.

А то—что хорошаго? Одинъ публицистъ истребить сегодня евреевъ, другой—сибиряковъ, третій—мужика, четвертый, въ самомъ дѣлѣ, примется за Ноя съ птицами и за Адама съ Евою. И останемся въ концѣ концовъ мы съ вами, князь,—вдвоемъ на пустырь: вы, редакторъ-издатель «Гражданина», въ своемъ Гродненскомъ переулкѣ, а я, читатель, напрасный молодой человѣкъ, на диванѣ, въ странствѣ... Вы будете ораторствовать, а я читать, удивляться и подпѣвать. И никакой культуры и гуманности. Только согласный балалаечный звонъ двухъ понимающихъ другъ друга сердецъ...

Но, чортъ возьми! Неужели же, въ самомъ дѣлѣ, культура и гуманность въ отечествѣ нашемъ существовала только для того, чтобы разрѣшить свою исторію дуэтомъ двухъ балалаекъ?!

Съ подлинными Записками Напраснаго Молодого Человѣка вѣрно:

О партійности.

Иногда случается, что «не знаешь, гдѣ найдешь, гдѣ потеряешь». Свой «Діалогъ двухъ бѣсовъ», *) я печаталъ не безъ угрызенія совѣсти, что воскресному фельетону приличествуютъ темы большей злободневности и менѣе сухія и спеціальныя. Но—вотъ—съ радостью вижу, что угрызался напрасно: «Діалогъ» сдѣлался предметомъ общественнаго обсужденія въ гораздо большей мѣрѣ, чѣмъ я могъ разсчитывать. Въ двухъ столичныхъ газетахъ я, за истекшую недѣлю, имѣлъ удовольствіе прочитать семь статей, посвященныхъ прямой или косвенной полемикѣ съ «Діалогомъ»; судя по выдержкамъ въ обзорахъ печати, подобные же отклики были и въ остальной прессѣ; а читательскія (въ данномъ случаѣ, вѣрнѣе будетъ сказать—писательскія) письма довершаютъ впечатлѣніе «шума». Думаю, что поэтому мнѣ слѣдуетъ дать объясненія по пунктамъ, возбудившимъ споры.

Причиною недоумѣній явился мой тезисъ, что періодическое изданіе, какъ органъ публицистической мысли, выражаемой отъ коллективнаго лица извѣстной общественной группы, неминуемо должно быть партійнымъ и даже не имѣетъ права быть инымъ. Противъ этого тезиса высказали свои возраженія гг. Владиміръ Ж. въ «Руси», гг. Борскій, И. Василевскій (Не-Буква), Зигфридъ и Vitalis въ

*) См. мой „Литературный альбомъ“, статью „Умеръ ли талантъ?“

«СПБ. Вѣдомостяхъ». За другими газетами я въ это время не слѣдилъ, и потому буду имѣть дѣло лишь съ этими моими противниками, хотя опредѣленіе «противниками» къ нимъ мало подходитъ, ибо противорѣчій по существу между нами я въ статьяхъ ихъ не усматриваю, за самыми малыми и третьестепенными исключеніями, а противорѣчія кажущіяся формальны, и думаю, что мнѣ удастся устранить ихъ призраки пристальнымъ разсмотрѣніемъ. Достичь этого мнѣ хотѣлось бы тѣмъ болѣе, что всѣ названные авторы принадлежатъ къ литературной молодежи, талантамъ которой задуматься надъ вопросами «направленій» и «партийности» дѣло не лишнее—и, тѣмъ раньше, тѣмъ лучше. Не дай Богъ никакому русскому поколѣнію повторить то «восьмидесятное» самодовольное сидѣніе между двумя стульями, въ которомъ развивалась наша молодость, и тѣ болѣзненные напряженія, мучительныя усилія, которыя нужны были намъ, чтобы выйти изъ своего нелѣпнаго положенія, какъ скоро жизнь отвалила отъ насъ самодовольство, и прозрѣвшіе глаза показали намъ позиціи наши во всей ихъ незавидной правдѣ.

Отсутствіе существенныхъ противорѣчій между мною и моими оппонентами легко устанавливается уже тѣмъ фактомъ, что всѣ они, безъ исключенія, признаютъ необходимость направленія и писательской группировки по направленіямъ, которая и образуетъ «литературныя партіи». Даже наиболѣе безразличный изъ нихъ протестовалъ противъ «партийности» лишь «до извѣстной степени», признавая, что «есть въ Россіи изданія, къ которымъ и на версту-то подойти страшно, а не то, что войти совсѣмъ внутрь». Остальные же высказались на этотъ счетъ съ еще болѣею опредѣленностью. Всѣ заявляютъ себя (фактически) принадлежащими къ передовому лагерю журналистики, а г. Владиміръ Ж. даже намѣчаетъ рядъ вопросовъ, которые не могутъ быть разрѣшаемы печатью иначе, какъ отрицательно,—напримѣръ, вопросъ о тѣлесномъ наказаніи,—

и статей въ обратномъ направленіи передовой органъ принимать и печатать, по его справедливому мнѣнію, уже никакъ не долженъ. Если г. Владиміръ Ж. и читатель потрутся вспомнить, это самое проповѣдуетъ въ «Диалогѣ» бѣсъ Пенемуэ, лишь вмѣсто тѣлеснаго наказанія онъ приводитъ примѣръ земской реформы. Такъ вотъ уже г. Владиміръ Ж., вмѣстѣ съ бѣсомъ Пенемуэ, и заболѣлъ недугомъ «партиѣности», раздѣливъ печать, голосъ общества, на двѣ очень яркія партіи. Для однихъ—вопросы земской реформы, тѣлеснаго наказанія, всеобщаго обученія, университетской корпоративности, вѣротерпимости, равноправія сословій и народностей—рѣшены столь положительно, что статьи о нихъ составляютъ въ газетѣ нѣчто вродѣ «справочнаго отдѣла, пополняющаго росписанія поѣздовъ, биржевыя котировки» и т. п. Для другихъ же тѣ же вопросы рѣшаются съ такою же твердою отрицательностью: полагаю, что оппоненту моему небезызвѣстны органы гг. Мещерскаго, Грингмута, Скворцова, Комарова и иныхъ, иже съ ними. Есть, стало-быть, партія плюса и партія минуса. Я, всею душою и обѣими руками, согласенъ съ тѣмъ взглядомъ, что въ благоустроенномъ и культурномъ обществѣ формулы плюса должны звучать такъ же побѣдительно, привычно и безспорно, такъ же справочно, какъ непреложное росписаніе поѣздовъ и рецептъ изъ поваренной книги. Но что же мы будемъ говорить въ сослагательномъ наклоненіи, когда жизнь течетъ въ изъявительномъ, и фазисъ желательнаго еще за три-девять земель отъ фазиса дѣйствительности?! Мы еще не въ томъ вѣкѣ живемъ, когда русскій интеллигентъ можетъ считать свой голосъ унисономъ къ волѣ русской народной массы: мы еще въ періодѣ школы и борьбы, мы еще переживаемъ свои *Lehrjahre*, со всѣмъ его *Sturm und Drang*омъ. Свѣтлый плюсъ во многомъ побѣдилъ, сломилъ и отгѣснилъ темную силу минуса, но у меня нѣтъ оптимизма считать ее пораженною на смерть, уничтоженною: она властна, громка,

нахальна, лѣзетъ въ русскую жизнь цѣпко и ежеминутно, стирая съ школьной доски азбуки и прописи, доказывая, что таблица умноженія есть ересь. И—увы! русскому публицисту изъ передового лагеря, работающаго на свѣтлый плюсъ, покуда, почти только и дѣла, что восстанавливать на доскахъ своихъ стертые азбуки и реабилитировать достоинства таблицы умноженія. Занятіе нерадостное, чернорабочее, но необходимое, потому что всюду, гдѣ вы зазѣвались, реакціонный минусъ не дремлетъ, и начинаютъ торжествовать въ обществѣ азбуки вверхъ ногами, исходящія отъ прописанной ижицы, и проповѣди, что дважды два равно стеариновой свѣчкѣ. У насъ много аристократовъ мысли, какихъ не найти и въ западной публицистикѣ, — но и имъ приходится размѣнивать свои головы на повседневные вопросы, которые для нихъ-то самихъ—«поваренная книга», ну, а для массы еще та двуликая истина, которую щедринскій адвокатъ называлъ результатомъ судоговоренія: сумѣлъ ты защитить отъ нападокъ минуса свой плюсъ, масса признаетъ, что онъ плюсъ; оплошалъ, либо прозѣвалъ, масса говоритъ:—Кой чортъ это плюсъ? Плюсъ-то тамъ, гдѣ минусъ! Пойдемъ и поклонимся!.. Наблюдая теперь давно невиданный Петербургъ, я съ искреннею печалью и не безъ содроганія вижу, какъ, въ короткий срокъ, приобрѣли и забрали силу совершенно нежелательныя и грубо реакціонныя теченія только потому, что ихъ поклонники за это время успѣли и сумѣли сложиться въ дружныя партіи общественной и газетной проповѣди, не встрѣтившей въ передовыхъ слояхъ общества и передовой печати достаточно энергическаго идейнаго отпора. Итакъ, мы съ своею «поваренною книгою» еще не покончили, и, слѣдовательно, уже первобытный вопросъ о «поваренной книгѣ» есть партійный экзаменъ, дѣлящій публицистическихъ агнцевъ на правую сторону, козлищъ—на лѣвую. Такъ что и я, и г. Владиміръ Ж., и всѣ осталь-

ные мои оппоненты, возставаая противъ «партійности», чувствуемъ себя, однако, уже въ «партіи». И, притомъ, въ одной партіи. И, притомъ, никому изъ насъ эта «партійность» не кажется чѣмъ либо нежелательнымъ, не естественнымъ, и никто не намѣренъ изъ ея границъ выходить, перепрыгнувъ черезъ загородку отъ козлицъ къ агнцамъ. Напротивъ, каждый обидится, если заподозрять въ немъ такое коварное намѣреніе. Не исключая отсюда даже и того чудака оппонента, который сокрушается, что «очень трудно писать статью, даже просто невозможно (!), если не знаешь, понравится ли она редактору или нѣтъ». Это откровенное восклицаніе такъ наивно, что даже трогательно...

— Маска! ужинать хочешь? — спрашивалъ въ маскарадѣ купецъ.

— Стрррасть!

— Такъ ты... старайся!

Если между людьми одной партіи заходятъ споры о партійности, то рѣчь идетъ уже не о партійности, собственно, но о фракціонерствѣ, диссидентствѣ, сектантствѣ. Спорять между собою не партіи, но фракціи и секты одной партіи, въ которой изъ нихъ больше элементовъ плюса, который путь ближе ведетъ къ успѣху прогресса. Въ образованіи этихъ сектъ и фракцій, конечно, нѣтъ рѣшительно ничего дурного: они — естественные плоды субъективной работы мысли надъ общепризнаннымъ великимъ объектомъ; это — разсмотрѣніе правды съ семи концовъ: каждый изъ нихъ равно достоинъ и вниманія, и уваженія. Фракціи могутъ быть — однѣ больше и сильнѣе, другія меньше и слабѣе, въ одной — тысяча человѣкъ, въ другой — десять, а въ третьей — одинъ. Собственно говоря, «фракціями по одному человѣку», а не цѣльною корпораціей, являются и тѣ «дикіе», «Wilde» нѣмецкаго парламента, которыхъ вспоминаетъ г. И. Василевскій (Не-Буква) и въ подражаніи которымъ онъ усматриваетъ по-

лезный примѣръ для печати. Каждая фракція или секта имѣетъ свой, самостоятельно выработанный, символъ вѣры и проводитъ его въ жизнь своею энергіей и своими средствами: одна — силою тысячи человѣкъ, другая — силою десяти, третья — силою одного человѣка. Безчестно и противно свободѣ совѣсти, если фракція въ тысячу человѣкъ пользуется своею силою, чтобы задавить мнѣніе фракціи въ десять человѣкъ или хоть въ одинъ голосъ, зажимая имъ ротъ, а себѣ — уши. Но болѣе, чѣмъ наивно, и совершенно неправильно логически разсчитывать, а чѣмъ болѣе требовать одному голосу, «фракціи изъ одного человѣка», чтобы фракція изъ тысячи человѣкъ удѣляла свою энергію и средства на привитіе къ обществу взглядовъ и мнѣній не своего собственного символа, но его, сектантскаго. Для того, чтобы сильная фракція взялась за дѣло маленькой и слабой, какъ за свое собственное, надо, чтобы маленькая побѣдила ее своими доводами, чтобы большая приняла вѣру маленькой. Дѣйствуя иначе, сильная фракція сознательно работала бы себѣ во вредъ и противъ своей совѣсти, — и кто же вправѣ упрекать ее за то, что она не хочетъ впасть, — на вѣру случайному пришельцу, — въ ошибку, опасную ей и не оправдываемую самосознаніемъ?

Такъ вотъ и съ газетами и журналами строгихъ направлений. У всѣхъ у нихъ есть свой Коранъ и своя поваренная книга, какъ сравнилъ г. Владиміръ Ж., но — разной полноты, спорныхъ и недоговоренныхъ достоинствъ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что вновь приходящій, случайный талантъ можетъ иногда озарить органъ печати новымъ свѣтомъ и двинуть самое направленіе къ путямъ, которыхъ присяжные жрецы и блюстители его и не подозрѣвали, но по которымъ, узнавъ ихъ, они устремятся съ восторгомъ. Но это — именно тотъ случай побѣды «фракціей изъ одного человѣка» фракціи стоголовой, какъ говорилъ я

выше, и свершается онъ силою не только случайнаго таланта, но и провѣрки этого таланта тѣми, кто ему внимаютъ. Онъ становится властителемъ умовъ и пріобрѣтаетъ права гражданства, иногда и первенство во фракціи не потому, что онъ просто стихійный, абсолютный талантъ, а потому, что талантъ его принесъ какъ разъ тѣ слова, которыхъ ждала фракція, чтобы утвердиться на своей позиціи или шагнуть впередъ. Бываютъ также у фракцій свои почетные, излюбленные *гости*: напр., Владиміръ Соловьевъ—у «Вѣстника Европы», Левъ Толстой—въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ», Кони, Чичеринъ и т. д. Отдавать же свою газету или свой журналъ на удачу каждому, желающему что-то проповѣдовать, просто лишь потому, что «онъ желаетъ», хотя бы и талантливо, — значитъ, просто отнимать и время, и мѣсто, и вліяніе (ибо впечатлѣнія дробятся) у собственной проповѣди, а свой храмъ—повторяю—обращать въ залъ для случайной декламациі. Чтобы дать примѣръ: г. Владиміръ Ж. негодуетъ на редакцію одного передового журнала, что она не напечатала поэмы, съ соціологическою посылкою которой была совершенно не согласна. Рѣчь идетъ о проституткахъ, которыя-де — фатальный клапанъ для всемірнаго предвѣчнаго разврата: «Да! затѣмъ должны мы съ торгу отдавать свои тѣла, чтобы дѣвушка для мужа сохранить себя могла». Передовыми журналами у насъ почитаются органы направленія уравнительнаго, демократическаго. Какой же смыслъ такому журналу заполнять свои страницы восторженною проповѣдью архи-аристократическаго принципа объ искупительной жертвѣ, приносимой спеціальною «расою илотовъ» за цѣломудріе дѣвицъ достаточнаго класса?! Съ какой же стати проводить въ общество завѣдомо фальшивый тезисъ? Только потому, что «босякъ» увѣряетъ, будто онъ — не фальшивый, но истинный? Ну, стало быть, «босяка», если онъ вѣритъ въ свое ученіе, будетъ и дѣло—провести свое ученіе въ жизнь. Какъ?—

это опять его дѣло!.. Если онъ фанатикъ своей мысли, если она для него — вѣра его, онъ будетъ стучать въ разныя двери, пока не найдетъ подходящую, которая откроется предъ нимъ. Если нѣтъ, не вѣра и не фанатическая мысль, а только одна изъ тѣхъ парадоксальныхъ отсебятинъ, которыми полно наше время, много думающее, но, къ сожалѣнію, мало образованное, то, можетъ быть, «забросить сочинительство» и... это опять-таки его дѣло и потеря, потому что,—если Америкѣ насущно быть открытою, то Колумбъ для открытія ея придетъ!.. «При существованіи десяти направленій, одиннадцатое легче всего можетъ оказаться началомъ той новой правды, которой страстно ждешь для себя каждая эпоха». А еще легче можетъ не оказаться. И странна будетъ та каѳедра, которая ограничить слово своей правды, чтобы внѣдрять паствь чью-то чужую, случайную и лишь потенціальную правду. Г. Vitalis съ справедливою любовью вспоминаетъ Гамалиила, который сказалъ синедріону объ апостолахъ: «Оставьте этихъ людей: если дѣло ихъ отъ Бога, вы не можете помѣшать имъ, а если оно человѣческое, оно само разрушится». Эти прекрасныя слова—лучшій завѣтъ свободы совѣсти, наилучше мотивированное отрицаніе запретительнаго отношенія къ гласному слову. Это слова самой широкой и благородной терпимости,—притомъ, въ скобкахъ сказать, терпимости чисто-фракціонерской, а не партійной, такъ какъ въ эпоху Гамалиила христіанство еще не выдѣлилось изъ іудейства, а пребывало въ немъ эмбриональною сектою *). Но отъ принципіальной терпимости до покровительства — очень широкій шагъ, который можетъ быть подсказанъ только убѣжденнымъ сочувствіемъ. «Босьякъ» же, оскорбляясь, что журналъ не хотѣлъ напечатать его поэмы, вопреки своему убѣжденію, требовалъ, хотя и

*) См. объ этомъ статью во 2-мъ изданіи моего „Женскаго неуроенія“.

безсознательно, не терпимости, но покровительства. Покровительства, а не терпимости требуютъ и всѣ тѣ, кто огорчается, какъ несправедливостью, получая изъ редакцій «къ возврату» свои «написанныя литературно и искренно статьи», по несогласію ихъ съ направлениемъ журнала. Эти огорченія—въ концѣ концовъ—тѣ же поиски мещанства, отвлеченнаго благодѣяніемъ таланту *in se ipso*, только не въ деньгахъ и дарахъ, какъ въ старину, а—страницами популярнаго изданія и его вліяніемъ. Не сомнѣваюсь,—повторяю,—что въ огромномъ большинствѣ поиски безсознательные, однако — подумайте, проанализируйте, и, если не собьетесь въ красиво рогаые силлогизмы, то путемъ правильныхъ посылокъ выйдетъ, что оно такъ...

Однако, если существуетъ десятокъ направлений и десятокъ соответственныхъ журналовъ, то куда же, въ самомъ дѣлѣ, дѣваться одиннадцатому направлению, буде таковое родится? Вопросъ этотъ, вполне основательный, задаютъ всѣ безъ исключенія оппоненты мои. Принципіальный отвѣтъ — конечно, одинъ: одиннадцатое направление создастъ и одиннадцатый журналъ. Въ странѣ со свободою печати принципіальный отвѣтъ этотъ былъ бы и практическимъ отвѣтомъ. Но въ нашемъ отечествѣ нѣтъ свободы печати, и журнальныя трибуны открываются, какъ привилегіи, въ маломъ количествѣ и трудно. Я уже имѣлъ случай говорить, что именно эта внѣшняя причина и порождаетъ всѣ тѣ внутреннія неурядицы печати, на которыя плакался въ брошюрѣ своей г. Луговой *), а теперь жалуются мои оппоненты. Все, что неуклюже внутри нашего печатнаго міра, — второстепенный результатъ его приспособленій къ тѣснотамъ, въ которыхъ онъ живетъ. И, покуда онъ останется въ тѣснотахъ, никакія внутреннія соглашенія не погасятъ этихъ неурядицъ и сопряженныхъ съ ними жалобъ, и, обратно, онѣ сами со-

*) См. мой „Литературный Альбомъ“.

бою погаснуть, какъ скоро расширятся тѣсноты, потому что при свободѣ печати даже совершенно немислимъ и непонятенъ тотъ споръ, который мнѣ предложенъ: споръ за право посидѣть на чужомъ стулѣ... зачѣмъ оно писателю тамъ, гдѣ каждый можетъ взять себѣ новый стулъ, свой собственный? Но въ печати подцензурной — иное дѣло, и, конечно, отвѣчать тутъ надо уже не о принципиальныхъ возможностяхъ, но практическихъ: въ какія приспособленія гласности можетъ «одиннадцатое направленіе» развѣшиться?

Обыкновенно бываетъ такъ, что «одиннадцатое направленіе» выбираетъ изъ десяти существующихъ то, къ которому оно болѣе близко, и проситъ у него гостепріимства — до тѣхъ поръ, покуда не оперится и людьми, и деньгами настолько, чтобы стать на свои ноги и открыть свою кафедру. Въ этомъ отношеніи очень поучительно именно послѣднее время русской журналистики, когда на нее, въ совершенно правильномъ развитіи фракцій, послѣдовательно накладываются одно за другимъ новыя, типически направленскія, повременныя изданія: «Образованіе» — съ одной стороны, съ другой — «Новый Путь», «Вѣсы», затѣмъ—«Правда» и т. д. Это—голоса группъ, еще недавно звучавшіе лишь какъ голоса одинокіе и индивидуальныя, съ чужихъ, любезно терпимыхъ кафедръ. Что бы ни говорили обвинители нашей журналистики, а фракціонерство ея далеко не такъ уже обострено и нетерпимо! Мои оппоненты все цитируютъ мнѣ Дѣянія апостольскія и тексты Павловы. Ну, такъ и я скажу изъ Дѣяній же, что фракціонерство наше, по образу нравовъ своихъ, напоминаетъ вовсе не то скопище, которое побито камнями архидіакона Стефана, но гораздо скорѣе тѣхъ «начальниковъ сонмища» въ Антиохіи Писидійской, которые, «по чтеніи закона и пророкъ», сами обратились къ Павлу и Варнавѣ съ предложеніемъ: «Мужіе братіе, аще есть слово въ васъ утѣшенія къ людямъ,

глаголите!..» Достаточно даже не читать журналы русского прогрессивнаго лагеря, а лишь просматривать оглавленія на обложкахъ, чтобы убѣдиться, что фракція къ фракціи ходить въ гости повседневно, за милую душу, и поглотить другъ друга ни у единой изъ нихъ нѣтъ ни малѣйшаго намѣренія. Да и зачѣмъ намъ далеко ходить за примѣрами? Лучшее доказательство — вотъ наша полемика, очень спокойно развивающаяся и никого не удивляющая на страницахъ двухъ петербургскихъ газетъ, въ редакціяхъ которыхъ я имѣю право считать себя не чужимъ человѣкомъ. Если два, три органа, дѣйствительно, болѣны недугомъ узкой «кружковщины», развитой до полной слѣпоты ко всему, что не изъ ихъ прихода, то — повторяю, что говорилъ раньше: въ семьѣ не безъ урода! Да и ихъ боязливости и осторожности къ воспріятію въ нѣдра свои случайныхъ, субъективныхъ новшествъ есть серьезное извиненіе: вспомните, какое расплывчатое, студенистое, полное безхарактерныхъ неожиданностей время переставали, да еще и переживаемъ мы вотъ уже двадцать пять лѣтъ! Вспомните, какое зыбкое, неустойчивое, мало образованное, развинченное нервами и засоренное въ мозгахъ дурною школою, поколѣніе стояло на житейской сценѣ и дѣйствовало въ эти годы! Я твердо вѣрю и надѣюсь, что выступающая въ жизнь молодежь будетъ лучше насъ, — безъ этой надежды ни жить, ни дѣйствовать нельзя: можно только прозябать! Вѣрю и вижу, что у нея есть и болѣе стойкіе идеалы, и знамена свои она держитъ болѣе крѣпкими руками. Но русская идейная журналистика прошла такую школу недоувѣрія, была свидѣтельницею такого множества порывовъ и капризовъ, что еще удивительно, какъ, провѣренная придирчивымъ экзаменомъ, «кружковщина» не сдѣлалась въ ней повальнымъ недугомъ. Врядъ ли кто изъ російской пишущей братіи больше меня, въ молодые мои годы, намучился уязвленнымъ самолюбіемъ отъ подозри-

тельной «кружковщины», угрюмо затворявшей двери предъ моими юными субъективными порывами,—ну, а винить за «кружковщину» я теперь, по чистой совѣсти и зрѣлой самоотчетности, никого не могу, хотя и терзался страшно: какъ это не понимаютъ моего «таланта» и моихъ «новыхъ словъ». Слово «талантъ»—двусмысленное и хрупкое, а въ особенности въ Россіи, для которой Щедринъ справедливо объяснялъ талантливость, какъ пустопорожнее мѣсто, на которомъ съ одинаковымъ удобствомъ можетъ возрасти и пшеница, и чертополохъ. Слава и честь газетѣ, которая умѣетъ воспользоваться молодымъ талантомъ, къ ней обращающимся, для своей идейной работы, но положительно несправедливо требовать, чтобы газета была коллективнымъ Мecenатомъ, выводящимъ въ люди всякій талантъ только потому, что онъ талантъ. Газета—не оранжерея для выращиванія экзотическихъ фруктовъ. Газета—идейная батарея, на которой каждый артиллеристъ полезенъ лишь въ предѣлахъ общей, дружной и согласной дисциплины. Либо надо ему строить свою батарею.

Совершенно напрасно сравниваютъ газету съ парламентомъ, и недаромъ, какъ выразился г. И. Василевскій (Не-Буква), сравненіе это осквернено прикосновеніемъ грязныхъ рукъ. Это—широкая лестъ газетѣ, которою пытаются извинить себя лавочки безразличія,—не больше. Сравненіе съ парламентомъ годится для всей печати, но не для отдѣльных ея органовъ. Послѣдніе же — не болѣе, какъ митинги, создающіе выборы въ парламентъ и формирующіе общественное мнѣніе про или contra тѣхъ биллей, которые, въ текущемъ порядкѣ, разсматриваются парламентомъ. Въ парламентѣ печати одинаковое право голоса имѣетъ и М. М. Стасюлевичъ, и кн. Мещерскій, и В. Г. Короленко, и В. А. Грингмутъ, и В. А. Гольцевъ, и В. В. Комаровъ, но на митингъ кн. Мещерскаго немислимы Короленко, Гольцевъ и Стасюлевичъ, а на митингъ «Вѣстника Европы», «Русскаго Богатства», «Рус-

ской Мысли» невообразимы кн. Мещерскій, Грингмутъ и Комаровъ.

Трудности основанія новыхъ повременныхъ органовъ, при сильномъ нарастаніи спроса и предложенія публицистической мысли, повели въ Россіи къ развитію идейныхъ книгоиздательствъ. Самымъ популярнымъ примѣромъ ихъ является «Знаніе» Максима Горькаго, распространившее въ короткій срокъ до милліона экземпляровъ своихъ изданій, чего не въ состояніи были достигнуть до сего времени ни одинъ періодическій журналъ или газета. Полагаю, что картины успѣховъ «Знанія», «Скорпіона», «Труда», Поповой, «Общественной Пользы» и т. д. достаточно поучительны для тѣхъ индивидуалистовъ, которые ищутъ средствъ популяризировать мысли свои внѣ фракціонныхъ рамокъ. И, дѣйствительно, мы видимъ, что дѣльный рядъ общественныхъ теченій прошелъ въ нашей современности книгою (босачество, декадентство, «Проблемы идеализма», «Основы реалистическаго міровоззрѣнія»), а не журналомъ и при сравнительно маломъ участіи газетъ. Такимъ образомъ, жалобы, будто дѣльной индивидуальной мысли негдѣ пріютиться, врядъ ли основательны: книгоиздательствъ съ идейною планировкой сейчасъ едва ли меньше, чѣмъ серьезныхъ періодическихъ органовъ, и, притомъ, фракціонерство въ нихъ дробится, и малыя группы выдѣляются изъ крупныхъ съ гораздо большею легкостью. Вотъ и сейчасъ предо мною лежитъ публицистическая драма талантливаго Петрищева «Бернадотъ», года два назадъ по всѣмъ, казалось бы, правамъ принадлежавшая фракціи «Знанія», — однако, книжка издана «Оріономъ», и, читая ее, я понялъ, что это не случайность, но—парламентъ російской печати пріобрѣлъ еще одну фракцію,—можетъ быть, покуда, «фракцію изъ одного человѣка», но самостоятельную и новую. Что касается до указаній, что не всегда-то найдешь издателя либо деньги на изданіе... что же дѣлать-то, господа?! Не всегда, гдѣ медь,

тамъ и ложка, и Колумбу прежде, чѣмъ найти Фердинанда и Изабеллу для командировки открывать «пути въ Индію», пришлось напрасно посѣтить многіе дворы и просить многихъ королей, дождей, совѣты республикъ, получать холодные отказы и даже смѣхъ. Кто чувствуетъ въ себѣ огонь колумбовъ, тотъ пронесетъ свою идею сквозь искусь и найдетъ своихъ Фердинанда и Изабеллу. Въ комъ огня этого нѣтъ и кто способенъ бросить свою идею только потому, что Фердинандъ и Изабелла не очень-то скоро находятся,— что же особенно жалѣть о нихъ? Значить—были изъ слабыхъ и жиденькихъ. Не спѣшите къ легкому успѣху! Не бойтесь искусовъ молодой карьеры, не смущайтесь ея обжогомъ, не трусьтеся страданій, изъ которыхъ рождается сила! У Юпитера долго и тяжело болѣла голова, но за то и родилась изъ нея во всеоружіи прекрасная и мощная Минерва. И помните: какъ всѣ властныя правительства, отказавшись осуществить могучую мысль Колумба, скрежетали зубами отъ зависти къ Испаніи, которой онъ подарилъ свой новый міръ, — такъ точно, когда расцвѣтетъ успѣхомъ и ваша идея, много безсильной ревности и позднихъ раскаяній внесетъ она въ круги, которые ея не сумѣли узнать. Въ этомъ—законная казнь за ошибку въ чужомъ талантѣ!

Глубоко не согласенъ я съ тѣми изъ моихъ оппонентовъ, которые ставятъ *цѣлью* газеты забрасыванье публики субъективными настроеніями и впечатлѣніями, а ужъ что для себя выбрать — читатель, молъ, самъ изъ этой кучи найдетъ благопотребное. Не согласенъ не только принципиально, но и по опыту, потому что эта фальшивая идея—еще восьмидесятихъ годовъ, и наше поколѣніе отдало ей щедрую дань, и плодомъ ея явилась и расплодилось винигретная пресса съ пестрѣйшимъ «Новымъ Временемъ» во главѣ. Не запугивайте газету волею публики! Газета—голосъ публики, поскольку она передаетъ факты общественной жизни; газета—голосъ въ публику, поскольку

она формулируетъ бродящую въ фактахъ идею. Говорятъ, что газетѣ пора махнуть рукою на свои учительныя задачи: публика-де такъ развилась, что не позволяетъ вести себя на поводу газетныхъ обобщеній, а сама ищетъ своихъ путей. Это дѣло—ея, публики, и слава Богу, что она такая развитая. А наше газетное дѣло, все-таки, формулировать и обобщать обработанныя и продуманныя системы идей, а не только забрасывать публику субъективнымъ сырьемъ отсебятины своего производства и случайнаго поступленія. Плохъ тотъ казакъ, который не надѣется быть атаманомъ. Плохъ редакторъ, если берется за изданіе, не рассчитывая, что оно будетъ имѣть нравственное и умственное вліяніе на среду, для которой издается. Зачѣмъ тогда и издаваться?! Газета, идущая за публикою, но не имѣющая ничего сказать въ публику своего, «слова утѣшенія къ людямъ», можетъ быть выгоднымъ и коммерческимъ предпріятіемъ, какъ то доказываетъ наша «мелкая пресса» и западная «желтая пресса», но мы говоримъ не о коммерческой, а объ идейной силѣ печати. Скажу болѣе: какой смыслъ имѣли бы даже тѣ субъективныя изліянія искренности, альманахомъ которыхъ рекомендуютъ сдѣлать газету, напримѣръ, талантливый г. Владиміръ Ж., если бы они появлялись въ газетѣ безразличной, въ газетѣ выбора для публики — «что понравится, то и купишь»? Это будетъ отнюдь не парламентъ мнѣній, но просто циркъ, съ дюжинами гладіаторовъ слова, истекающихъ кровью сердца своего, при глазѣннй толпы. А ужъ какъ равнодушна въ такихъ случаяхъ она, эта буржуазная толпа! Какъ привыкаетъ она къ красивому умиранію своихъ гладіаторовъ! Какъ быстро пресыщается впечатлѣніями и требуетъ все болѣе и болѣе острыхъ эмоцій! Какъ скоро, подъ давленіемъ ея капризовъ, самая искренность превращается въ аффектацію, и на аренѣ цирка кипитъ бой взвинченныхъ чувствъ, нарочныхъ парадоксовъ и оглушительныхъ фразъ въ перекрикъ гладіатора-сосѣда...

Я читалъ статьи Владиміра Ж. въ южной прессѣ и помню, что онъ неоднократно выражалъ свое отчаяніе предъ трагическимъ «скоморошествомъ» роли журналиста въ современномъ обществѣ. Но тѣмъ болѣе удивительно для меня, что, хорошо понимая весь ужасъ такого положенія, онъ, все-таки, поддерживаетъ ошибочный тезисъ, при которомъ публика является властною заказчицею спектаклей и зрительницею печати, печать—циркомъ, а журналистъ—усерднымъ гладиаторомъ, т. е. именно трагическимъ скоморохомъ. Что-то вродѣ Діаволо или Женщины-стрѣлы: проскочилъ петлю, — аплодисменты за хорошо сдѣланный фокусъ, сломалъ себѣ голову, —туда и дорога: не берись забавлять насъ, ежели не мастеръ... Развѣ это дѣятельность для мыслящаго человѣка? Развѣ это цѣль для слова? Развѣ это дисциплина мысли? Развѣ это жизнь?

Все это—о людяхъ идеи, о людяхъ таланта и серьезныхъ задачъ. Теперь эпизодъ трагикомическій. Одинъ изъ оппонентовъ моихъ наивно вздыхаетъ, какъ мы видѣли, о писателяхъ иной категоріи, —о «старательныхъ маскахъ», которымъ «очень трудно писать статью, даже просто невозможно, если не знаешь, понравится она редактору или нѣтъ. И такъ какъ всякому очень хочется видѣть свои строки напечатанными, то онъ мало-по-малу начинаетъ сочинять свои статьи такъ, чтобы онѣ всегда нравились редактору». Что же дѣлать симъ несчастнымъ страдальцамъ отъ партійности? Увы! Я долженъ сознаться, что судьба столь удивительныхъ литераторовъ беспокоитъ меня весьма мало, и, если они вовсе исчезнутъ изъ журналистики, то ни послѣдняя, ни публика, отъ этого ровно ничего не потеряютъ. Человѣкъ, который способенъ сдѣлаться консерваторомъ или либераломъ только по той случайности, что редакторъ, согласный его печатать, консерваторъ или либераль, —и не писатель, и не публицистъ, и не журналистъ, а просто—сидѣлецъ въ печатной лавочкѣ, торгующій ввѣреннымъ ему товаромъ. Заниматься симъ

почтеннымъ ремесломъ можно по тремъ причинамъ—либо по влюбленности въ чей либо личный авторитетъ, которую Писаревъ хорошо опредѣлялъ «любленіемъ твари паче Бога», либо по природному или благопріобрѣтенному лакейству душевному, либо по дѣтскому графоманству, въ которомъ «всякому очень хочется видѣть свои строки напечатанными». Въ первой причинѣ обыкновенно трепещетъ драма, другая—зерно обличительной комедіи, третья—водевилъ Писатель, которому все равно быть либераломъ или консерваторомъ, потому что «всякому хочется видѣть свои строки напечатанными»—драгоценная фигура для К. А. Варламова, либо для анекдотиста, вроде Мальскаго.

— Хочешь ли ты быть дьякономъ?—спросилъ калужскій архіерей Григорій, при объѣздѣ епархіи, угодившаго ему дьячка.

Дьячокъ облизнулся и говорить:

— Еще бы, ваше преосвященство: всякій человѣкъ на землѣ желаетъ быть отцомъ дьякономъ!

Я думаю, что не всякій человѣкъ желаетъ быть отцомъ дьякономъ, и что не всякому писателю такъ хочется видѣть свои строки напечатанными, что ему безразлично, какой партіи органъ ихъ тиснетъ, лишь бы видѣть черныя буквы на бѣлой бумагѣ. Иначе печать наша не была бы не токмо парламентомъ, но даже и говорильнею, а сдѣлалась бы празднымъ скопищемъ тѣхъ людей съ легкостью мыслей необыкновенною, объ одномъ изъ которыхъ,—ужъ, видно, съ легкаго почина развеселившей меня наивной фразы закончить анекдотомъ!—объ одномъ изъ которыхъ повѣствовала когда-то, устами И. Θ. Горбунова, захолустная понадья:

— А сыночекъ у меня въ гору пошелъ: въ Петербургъ въ писателяхъ служить. Большія деньги получаетъ! И такое, мать моя, ему счастье, и такой-то у него талантъ: во всѣ газеты, какія есть, онъ теперича передовыя статьи пишетъ!!!.

Оно, можетъ быть, и выгодно, но нельзя сказать, чтобы почтенно.

О критикѣ.

Я очень прошу читателей не принимать моей статьи за профессиональное поползновение къ «критикѣ»: не мастеръ я составлять протоколы о литературныхъ буйствахъ и преуспѣяніяхъ, чинить имъ судъ и расправу, раздавать вѣнки и выносить рѣшительные приговоры. Предъ вами — просто записная книжка, довольно много и впечатлительно читающаго, литератора, издавна привычнаго выносить свои мысли въ публику, безъ претензій на властную и непогрѣшимую объективность. Къ строгой роли критика ex officio я не чувствую ни малѣйшаго призванія и даже имѣю дерзость сомнѣваться, нужны ли, по нашему времени, таковые критики вообще-то. А, если и нужны, то—возможны ли? Объ упадкѣ русской критики стоитъ въ отечествѣ нашемъ плачь и вой около сорока лѣтъ. Даже самыя яркія критическія звѣзды этого сорокалѣтняго поста безъ разговѣнія принимались и принимаются большою публикою, хотя и уважительно,—за давностью заслугъ,—но и не безъ отѣнка нѣкотораго снисхожденія: на безрыбьи-де и ракъ рыба, на безлюдьи и Гома дворянинъ. Вѣры въ критику,—той легендарной вѣры, которую,—разсказываютъ старики,—питали къ своимъ критическимъ богамъ современники Бѣлинскаго, Добролюбова, Писарева,—въ читательской массѣ нашего вѣка очень мало, чтобы не сказать: нѣтъ ни на грошъ. Если перебрать въ памяти прославленные и излюбленные

литературныя имена за послѣднія двадцать пять лѣтъ, то окажется, что едва ли не всѣ они вошли въ извѣстность и любовь публики не только безъ содѣйствія критики, но даже весьма часто—вопреки самому энергическому ея противодѣйствію. Исключеніемъ нельзя считать даже Льва Николаевича Толстого: къ его «мышленію вслухъ», послѣ опрощенія и проповѣди непротивленія злу, значительная часть русской критики,—притомъ, наиболѣе, все-таки, уважаемая и вліятельная, такъ какъ прогрессивная,—стоитъ въ открытой и хорошо мотивированной оппозиціи, которая, однако, въ пламенномъ наплывѣ толстовскаго вліянія всегда таяла и таетъ, яко воскъ отъ лица огня. Истинно же разительные примѣры разлада симпатій публики съ судомъ профессиональной критики являютъ собою триумфы, почти апофеозы С. Я. Надсона, Максима Горькаго, въ послѣднее время Леонида Андреева, сражаясь съ которыми критика охромѣла, какъ Іаковъ, не обрѣтя побѣды Іаковлей. Антонъ Чеховъ тоже ничѣмъ не обязанъ критикѣ, но съ нимъ она, по крайней мѣрѣ, и не слишкомъ боролась. Наконецъ, можно привести любопытнѣйшій, въ своемъ родѣ, примѣръ блестящей и долгой литературной карьеры, пройденной болѣе, чѣмъ успѣшно, хотя и совершенно за чертою критическаго вниманія: я имѣю въ виду Василія Ивановича Немировича-Данченко. Пишутъ о немъ ужасно мало, а читаютъ его ужасно много. По количественному распространенію въ экземплярахъ и по спросу въ библиотекахъ, Василій Немировичъ-Данченко идетъ непосредственно за Львомъ Толстымъ. Но вспоминаю такой случай: въ 1898 году одинъ мой пріятель, обрусѣвшій итальянецъ, прочиталъ какую-то повѣсть Немировича въ итальянскомъ переводѣ, увлекся и продолжалъ читать полюбопшагося ему автора уже по-русски. Затѣмъ итальянецъ пожелалъ ознакомиться съ литературною біографіей писателя — такъ популярнаго и, слѣдовательно, казалось бы, столько вліятельнаго. И былъ безмѣрно изумленъ, не найдя

въ русскомъ критическомъ архивѣ и десятка серьезныхъ статей о дѣятельности беллетриста, продолжавшейся уже тогда близко сорока лѣтъ и породившей чуть ли не двѣсти томовъ, каждый въ нѣсколькихъ изданіяхъ.

— Во что вѣришь, то и есть, — говоритъ Лука въ драмѣ Максима Горькаго. — Я очень люблю этотъ мѣткій афоризмъ, ибо онъ — растяжимый и покладистый безъ обмана. Есть въ человѣкѣ инстинктъ цѣлесообразности. Инстинкту этому подчинена въ человѣкѣ и вѣра. Во что вѣрить онъ, то для него и есть. Но ищетъ вѣрою онъ того, что его для жизни интересуеетъ, что ему въ жизни насущно нужно. Во что вѣришь, то и есть, а вѣришь въ то, что нужно. И, что перестаетъ быть нужнымъ, въ то теряется вѣра, и то перестаетъ быть. Удары грома похожи на раскаты грохочущихъ колесъ гигантской телѣги. Вологодскому безграмотному мужику, чтобы объяснить себѣ эти колесные раскаты, нужно вообразить заправскую, скачущую колесницу огненную и на ней грознаго возницу, — и вологодскій мужикъ вѣрить въ Илью-Громовника, и Илья-Громовникъ для вологодскаго мужика есть. А намъ съ вами, о, просвѣщенный мой читатель, въ гимназій, хотя и очень скверно, однако, все же, преподавали физику, — и сталъ Илья, въ объясненіе грома и молніи, намъ уже не нуженъ, и перестали мы въ Илью вѣрить, и пересталъ Илья для насъ быть.

— Во что вѣришь, то и есть. — Я сильно склоненъ думать, что у насъ не «нѣтъ критики», какъ принято утверждать, но, по невѣрію нашему, она скрылась изъ глазъ нашихъ, подобно раскольничьему граду Китежу, исчезнувшему отъ нечестивыхъ агарянъ. Ея нѣтъ лишь постольку, поскольку мы въ нее не вѣримъ, а не вѣримъ мы въ нее постольку, поскольку она стала для насъ ненужна. Публика ссадила съ огненныхъ критическихъ колесницъ, искони правившихъ ими, возницъ-пророковъ и поѣхала въ нихъ сама. Посмотрите, какая масса любителей

скихъ брошюрокъ о литературѣ выходитъ теперь изъ «публики», какіе богатые и интереснѣйшіе критическіе результаты даютъ, практикуемые нѣкоторыми газетами, опросы читателей по спорнымъ литературнымъ явленіямъ, вродѣ андreeвской «Бездны». И въ брошюркахъ, и въ отвѣтахъ читательскихъ неугомонно звучитъ одна и та же властная, настойчивая нота: *Я*, имя рекъ, такъ думаю, это *мое*, имя река, мнѣніе! Очень рѣдки хожденія взаимы за чужимъ умомъ, — ссылки, что, молъ, присоединяюсь къ мнѣнію такого-то критическаго авторитета. Столь рѣдки, что, встрѣчаясь съ ними, невольно думаешь: автору, навѣрно, подъ или за пятьдесятъ лѣтъ! Современный читатель русскій — индивидуалистъ и субъективистъ. Критическія благоговѣнія онъ отринулъ, какъ объективную указку, которая водить его по псалтырю: буки-азъ-ба, вѣди-азъ-ва, тогда какъ быстро схваченный звуковой методъ уже открылъ ему невѣсть какіе широкіе горизонты. Личность выросла, выросли самосознаніе и самодовольство имъ. Выросла вѣра въ себя, въ свою потребность, въ свой вкусъ. А литературная вѣра въ себя, въ свою потребность, въ свой вкусъ — противопоставленіе литературной вѣрѣ въ чужой авторитетъ, въ чужую проповѣдь о потребностяхъ, въ чужой вкусъ. Она есть критика на критику, она есть отрицаніе и отметаніе запоздалой указки. «Что ни время, то и люди». Нѣкогда, случайно прочитанный, разборъ Бѣлинскаго сразу разрушилъ юношескіе восторги И. С. Тургенева къ стихамъ Бенедиктова. И этотъ символическій моментъ сталъ для Тургенева рѣшительнымъ: онъ нашелъ себѣ въ Бѣлинскомъ и въ памяти Бѣлинскаго вождя и пастыря на всю жизнь. И поколѣнія трехъ десятилѣтій пережили затѣмъ то же самое и такъ же, какъ Тургеневъ. Пришелъ властный учитель и увлекъ робкихъ учениковъ за собою, отъ Бенедиктовыхъ, Марлинскихъ, Кукольниковъ, Тимофѣевыхъ, въ мощный потокъ, перелившій протестующую силу послѣднихъ романтиковъ въ реали-

стическое движеніе, которому мы обязаны Герценомъ, Тургеневымъ, Гончаровымъ, Достоевскимъ, Островскимъ, Писемскимъ, Некрасовымъ, Толстымъ, Добролюбовымъ,— всѣмъ, что было умнаго и сильнаго въ нашей литературѣ, изъ чего сложился ея золотой вѣкъ. И когда Бѣлинскій сталъ царемъ мысли, Бенедиктовымъ, Марлинскимъ, Кукольникамъ пришлось нравственно умереть и прійти въ скорое забвеніе. Ну, а вотъ — соединенныя усилія всѣхъ современныхъ лагерей російской профессиональной критики не могутъ дать скончаніе живота такимъ, казалось бы, не весьма ужъ великимъ поэтамъ, какъ гг. Валерій Брюсовъ, Юргисъ Балтрушайтисъ, Александръ Добролюбовъ и инымъ, съ ними сущимъ. Ругаютъ ихъ ругательски лѣтъ уже десять, а они, давай Богъ здоровья, съ лайки только растутъ да толстѣютъ. Отчего это Бѣлинскому было легко уничтожить Бенедиктова и вытравить его «Матильду съ плотнымъ усѣстомъ» изъ памяти образованныхъ людей, а современная критика передъ современными Бенедиктовыми оплошала, какъ Наполеонъ при Седанѣ? Оттого, что въ современной критикѣ нѣтъ Бѣлинскихъ? Вотъ что: попробуемъ не злоупотреблять идолопоклонствомъ и громомъ авторитетовъ, предъ которыми все должно упасть ницъ. Я глубоко чту и, смѣю похвалиться, недурно знаю Бѣлинскаго и благоговѣю предъ памятью его не менѣе всякаго, всуе и не всуе призывающаго это святое имя. Но, когда какое либо отрицательное явленіе современной литературы вызываетъ вопли: ахъ, молъ, пѣтъ на васъ Бѣлинскаго! Добролюбова! Писарева!—мнѣ всякій разъ немножко смѣшно... Такъ же смѣшно, какъ заставилъ меня улыбаться въ Минусинскѣ нѣкій благочестивый мужикъ-новосель: бѣдняга перерылъ всѣ лавки на ярмаркѣ, разыскивая себѣ въ кіотъ «старога Миколу», чтобы былъ черный, облуланный, потому что «новый Микола не помогать». Если бы Бѣлинскій всталъ изъ гроба и взялся за перо, онъ

имѣлъ бы въ войнѣ, хотя бы съ тѣми же, — продолжимъ начатый примѣръ! — декадентами не больше успѣха, чѣмъ Владиміръ Соловьевъ, Михайловскій, Протопоповъ, Волинскій, Буренинъ, а это значить: не имѣлъ бы никакого. Новые критическіе Миколы не только не уступаютъ старому Миколѣ въ сомъ абсолютныхъ своихъ достоинствъ, но каждый даже превосходить его какою либо, особенно развитою стороною и способностью своей писательской личности. Бѣдный, старый Виссаріонъ, малоучившійся, съ слабымъ знаніемъ языковъ, и во снѣ не видалъ колоссальной эрудиціи и философской подготовки и опытности Н. К. Михайловскаго; гг. Скабичевскій, Протопоповъ, Е. Соловьевъ, Батюшковъ посрамили бы его прямолинейною твердостью направленства, не знающаго «Бородинской годовщины» и статьи о Менцелѣ; С. А. Андреевскій смакуетъ красоты Пушкина и Лермонтова такъ тонко, что — можно сказать — онъ пересмотрѣлъ, на свободѣ и соп амоге, въ великолѣпнѣйшій Цейссовъ микроскопъ стихи, которые труженикъ Бѣлинскій разсматривалъ даже безъ простой лупы, наскоро, «упорствуя, волнуясь и спѣша»; страстный г. Волинскій говоритъ еще смѣлѣе, рѣшительнѣе и запальчивѣе «неистоваго» Виссаріона, когда атакуетъ какой либо архаическій авторитетъ, — въ томъ числѣ, отчасти, и самого Виссаріона; и, наконецъ, Бѣлинскій ссвершенно не обладалъ ядовитымъ даромъ злой пародіи, которымъ такъ щедро снабженъ и мастерски владѣтъ г. Буренинъ. Что касается Владиміра Соловьева, это огромное имя, эта почти страшная, вѣщая фигура всесторонняго пророка «конца вѣка» уже заняла мѣсто въ томъ же почетнѣйшемъ ряду русской литературной божницы, гдѣ и Бѣлинскій, и Герценъ, и Достоевскій, и Толстой... Словомъ, и количественно, и качественно арсеналь современной критики совсѣмъ не слабъ: онъ — дробленный, но богаче прежняго. Шутка ли?! Подумать только, что, въ теченіе юбилейнаго 1903 года, наша критика оказалась

въ силахъ родить сразу даже не тройни, а чуть не дюжину огромнѣйшихъ монографій по исторіи русской печати, въ томъ числѣ пространные обзоры гг. Е. А. Соловьева, Глинскаго, Лемке и Н. Энгельгардта... съ работою послѣдняго, вызвавшею обвиненія въ плагіатѣ, я, впрочемъ, совершенно незнакомъ. А какъ знанія-то ушли впередъ со временъ Бѣлинскаго! А какъ процессъ мысли и слова-то выработался! Вѣдь между Бѣлинскимъ и нами лежатъ и Дарвинъ, и Бокль, и Милль, и Спенсеръ, и Контъ, и Шопенгауэръ (т. е. русское знакомство съ Шопенгауэромъ чрезъ Гартмана), и Лассаль, и Марксъ, и Ренанъ, и Левъ Толстой, и Рескинъ, и Ницше. Всесторонняя, побѣдоносная діалектика Владиміра Соловьева открыла цѣлый новый міръ и новые пути русской эристикѣ... И, за всѣмъ тѣмъ,—«велика Діана Эфесская»! Живъ Бальмонтъ, живъ Брюсовъ, живъ Балтрушайтисъ! А Бенедиктова, Кукольника, Тимофѣева, Марлинскаго, Зотова,—Бѣлинскій, какъ въ русской сказкѣ говорится, «однимъ махомъ побивахомъ». Больше того разница: чѣмъ бы умирать отъ ударовъ критическихъ палицъ и бояться ихъ паче огня палящаго, казнимые декаденты съ откровенностью жаждутъ этихъ ударовъ, не безъ правоты давая понять, что, молъ, чѣмъ злѣе критическія на насъ гоненія, тѣмъ внимательнѣе къ намъ публика и тѣмъ шире раздвигается протестующій кругъ нашихъ поклонниковъ и сторонниковъ. И, дѣйствительно, смотрите: въ 1904 году — въ Россіи уже четыре декадентскихъ журнала, и «Скорпіонъ» умножился «Грифомъ», и странный, лукавый и предательскій талантъ Андрея Бѣлаго смущаетъ,—какъ новая, еще едва намѣчаемая тропинка, какъ еще не опредѣлившійся, но что-то интересное обѣщающій, «стиль модернъ» сатиры, — смущаетъ даже тѣхъ людей, въ которыхъ, какъ и въ нашемъ покорнѣйшемъ слугѣ, первыя гримасы того же Андрея Бѣлаго вызывали только Настинно сожалѣніе:

— Несчастный!.. молоденькій еще, а ужъ... такъ ломается!..

Нѣтъ, приключившійся Седанъ зависитъ не отъ слабости профессиональной русской критики! Но также и не отъ силы тѣхъ, съ кѣмъ она воюетъ, ибо ея современныя «анкраморскія битвы», какъ любить выражаться г. Буренинъ, проиграны не только сильнымъ, вродѣ Горькаго, но часто и очень слабосильнымъ противникамъ. Проиграны одинаково и тѣ битвы, гдѣ критика была кругомъ неправа, напримѣръ, въ злобной борьбѣ съ Надсономъ, и тѣ, гдѣ она защищала вполне разумное и правое дѣло. А вѣдь, совсѣмъ не въ давнемъ прошломъ, русской критикѣ случалось выигрывать навѣрняка и почти безапелляціонно сраженія и войны, даже предумышленно неправыя, надолго лишая общественныхъ симпатій силы и таланты, признанные ею бесполезными, хотя и сверкавшіе «объективно» брильянтами чистѣйшей воды, огромной величины и изящѣйшей грани. Вѣкъ Добролюбова, Писарева, Антоновича, Зайцева, «Свистка» и «Искры» не захотѣлъ знать Тютчева, заставилъ молчать Фета, держалъ въ «черномъ тѣлѣ» Алексѣя Толстого, уничтожилъ Мея, засмѣялъ до безсилія Майкова, лишь съ презрительною снисходительностью терпѣлъ Полонскаго, раздавилъ опалою Писемскаго и вплесть въ вѣнокъ Тургенева много терній, которыя выдернуть старый, кроткій великанъ успѣлъ только къ самому концу своей жизни. Не говоря уже о двухъ послѣднихъ именахъ, каждый изъ названныхъ поэтовъ — настоящая, яркая звѣзда на литературномъ небѣ. И, однако, критика шестидесятихъ годовъ устроила всѣмъ этимъ свѣтиламъ, по совокупности, затменіе такой «вселенской смази», что однихъ лѣтъ на двадцать вычеркнула изъ литературы (живой примѣръ — Случевскій), а другихъ оставила доживать вѣкъ въ самомъ плачевномъ перепугѣ, неизгладимыя черты котораго сохранились у нихъ до могилы. Я живо вспоминаю первое свое знакомство съ Я. П. По-

лонскимъ. Я смотрѣлъ на знаменитаго старика съ величайшимъ любопытствомъ и благоговѣніемъ, какъ на почтеннѣйшій осколокъ временъ минувшихъ, а онъ почти извинялся,—не предо мною, конечно, а предъ кѣмъ-то отвлеченнымъ, въ пространство,—что Марксъ выпустилъ полное собраніе его стихотвореній, и, тономъ конфузливаго оправданія, говорилъ мнѣ о нихъ:

— Знаете ли, тамъ многое, все-таки, хорошо продумано и отъ сердца сказано. Вы, какъ журналистъ, могли бы найти нѣсколько интересныхъ афоризмовъ.

Поэтъ словно стыдился,—какъ это его угораздило написать пять томовъ стиховъ! Настолько вкоренилось въ немъ убѣжденіе, что поэтическое творчество числится на Руси въ пустякахъ! Онъ щупаль новаго знакомаго: а не врагъ ли, молъ, ты? не издѣваться ли пришелъ ты и бередить мои старыя раны? И, убѣдившись, что новый знакомый не изъ такихъ, становился совсѣмъ другимъ человѣкомъ. Въ немъ жилъ застарѣлый перепугъ, какъ въ очевидцѣ погрома. Сказывался свидѣтель вѣка разрушительной насмѣшки, отъ которой онъ ушелъ искалѣченный и — скажи спасибо, что не былъ убитъ! И угрожающіе призраки промчавшейся бури, уже не покидая, мерещились ему до гробовой доски! Въ томъ вѣкѣ Благосвѣтловъ сказалъ Писареву, когда тотъ принесъ ему переводъ «Атта-Троля»:

— Что вы стихи пишете? У васъ лобъ хорошій. Съ такимъ лбомъ надо не стихи писать, а критику!

Фраза эта, по тогдашнему времени, звучала очень умно, потому что отлично выражала литературный инстинктъ эпохи. Эпохѣ, до корня провѣрившей старую Россію, нужна была критика, эпоха фанатически вѣрила въ критику,—и была мощная, огромная критика. Не нужна была «чистая поэзія», публика не вѣрила въ «чистую поэзію», и, хотя жили Тютчевъ, Фетъ, Майковъ, Полонскій, Алексѣй Толстой, не было «чистой поэзіи». Пропцвѣтала только гражданская «муза мести и печали» мощ-

наго Некрасова, да и той весьма часто доставалось «кулака подъ бока». Въ старинной «Искрѣ» я читалъ самыя рѣзкія и обидныя для поэта пародіи не только на мелкую лирику его, но даже на колыбельную «Пѣсню Еремушкѣ». Была вѣра, что люди съ хорошимъ лбомъ пишутъ критику, люди съ лбами похуже—беллетристику, а которые вовсе безъ лбовъ,—стихи. И въ тонѣ всѣхъ поэтовъ, пережившихъ шестидесятые годы, навсегда сохранились эти трагикомическіе отголоски былыхъ сомнѣній въ доброкачественности ихъ лбовъ: у кого грустною застѣнчивостью Полонскаго, у кого реакціоннымъ гнѣвомъ (Фетъ) и чрезмернымъ олимпійскимъ величіемъ (Майковъ), у кого стремленіемъ подладиться и угодить, у кого заячьей робостью творчества и неохотою выступать въ печать (Случевскій, Кусковъ). И всѣ эти пуганные люди имѣли много какихъ-то неуловимо-общихъ чертъ. Такъ, въ Сибири опытные нарядчики наметавшимся глазомъ сразу отличаютъ въ толпѣ поселенцевъ тѣхъ рабочихъ, которые «плетей пробовали»!. А были названные лбы, конечно, не чета лбамъ Бенедиктова, Тимофѣева, Зотова и иныхъ, избѣнныхъ мечемъ Бѣлинскаго, да и самъ же Бѣлинскій, именно, возложилъ на эти лбы первые вѣнки ихъ! Но ни авторитетъ Бѣлинскаго, ни абсолютныя достоинства лбовъ не спасли ихъ отъ долгаго посрамленія, а эпоха дружно приняла сторону посрамителей и апплодировала «хорошимъ лбамъ», которые писали нужную вѣку критику, и свистала «плохимъ лбамъ», которые имѣли влеченіе, родъ недуга писать стихи. Въ критической когортѣ нашей не вымерли многіе, которые въ то время были, правда, еще рядовыми и фендриками, однако, состояли несомнѣнно и заслуженно въ спискѣ «хорошихъ лбовъ», удостоенныхъ критическаго ореола, и дѣйствовали уже очень побѣдоносно. Перваго напомнимъ: г. Буренинъ. И вотъ опять возвращаемся на первое: почему юношеская бойкость и брыкливый задоръ веселыхъ пародій Владиміра Монументова и Хуздозда

Церебринова могли загубить на смерть хотя бы майковский «Неаполитанскій альбомъ» и приглушить терцинами о «Ерундѣ» тургеневскіе «Призраки», а «Бѣлые звуки и голубыя поэмы» графа Алексиса Жасминова отскочили отъ декадентовъ, какъ горохъ отъ стѣны? Декаденты не сильнѣе Майкова и тѣмъ паче Тургенева, а Алексисъ Жасминовъ восьмидесятыхъ и начала девяностыхъ годовъ, и какъ мастеръ стиха, и по язвительной силѣ созрѣвшаго пародиста, стоялъ, конечно, гораздо выше Владимира Монументова шестидесятыхъ годовъ. И, тѣмъ не менѣе, у Владимира Монументова—Аустерлицъ, а у Алексиса Жасминова—даже не Ватерлоо: просто—широкій и опытный размахъ сильной руки, совершенно безвредно упавшій въ пустое пространство!

Обыкновенно, люди, замѣчающіе паденіе кредита критики и принимающіе его за упадокъ критики, объясняютъ это явленіе поводами вмѣсто причинъ: публика, молъ, не вѣритъ критикамъ, потому что они сами ее оттолкнули,—они грубы, одержимы недугами партійности и кружковщины, пристрастны, вдохновляются не общею истиною, но личнымъ самолюбіемъ, часто ложнымъ, лъстивыхъ авторовъ превозносятъ, строптивыхъ уничтожаютъ и т. д. Ставятся на видъ «узкость либераловъ», хамоватыя грубости ретроградовъ, принципиальные промахи и объективные прорѣхи. Но, если прослѣдить исторію критики, то не было эпохи, когда бы не повторялись эти lamentации и когда не ставился бы въ примѣръ дѣйствующимъ критикамъ какойнибудь золотой вѣкъ, въ которомъ критическіе тигры, будто бы, играли на травкѣ-муравкѣ съ барашками-беллетристами и козликами-поэтами, а публика смотрѣла, умиляясь, и радовалась, сколь все сіе добро зѣло, то есть безвредно и прекрасно. Въ дѣйствительности, подобнаго золотого вѣка никогда не было, да и не зачѣмъ ему было быть. Легенды фантастически вѣжливыхъ и умильных критикахъ неизвѣстнаго прошлаго напоминаютъ ры-

царскіе романы, по коимъ, въ средніе вѣка, всѣ мужчины были изящные Айвенго или, въ худшемъ случаѣ, пылкіе Буа-де-Гильберы, а женщины, на перечетъ, благоухающія цѣломудріемъ лэди Роуэны и поэтическія Ревекки. Но, когда къ легендамъ прикасается историкъ - изслѣдователь, то, пыль вѣковъ отъ хартій отряхнувъ, онъ легко убѣждается и убѣждаетъ, что изящнаго Айвенго ввести въ современное общество можно было бы не иначе, какъ предварительно вымывъ его въ трехъ щелокахъ и научивъ употребленію носового платка; что пылкость Буа-де-Гильбера, по нашему, называется просто хулиганскимъ скотствомъ и заслуживаетъ чижовки; что любимымъ развлеченіемъ лэди Роуэны было «искаться въ головахъ», а цѣломудріе ея изъяснялось языкомъ, отъ котораго теперь покраснѣлъ бы извозчикъ; что поэтическая Ревекка не знала, что за штука сорочка, спала голая и надѣвала бархатъ и парчу прямо на тѣло и т. д. Не такъ давно, въ одной провинціальной газетѣ, говоря о мнимой грубости современнаго полемическаго языка и притворныхъ вздохахъ по былому золотому вѣку добрыхъ литературныхъ нравовъ, я цитировалъ полемическія тирады И. С. Аксакова противъ В. В. Комарова. Я увѣренъ, что, хотя г. Комаровъ своего рода «турка» для пробы російскаго публицистическаго кулака, и ему приходилось и приходится чуть не ежедневно претерпѣвать заушенія отъ разныхъ бойкихъ перьевъ, но быть обруганнымъ такъ, какъ обругалъ его представитель золотого вѣка, Аксаковъ, врядъ ли ему случалось затѣмъ на своемъ газетномъ вѣку. Ругаются теперь, ругался Михайловскій, ругались въ шестидесятыхъ годахъ, ругались въ сороковыхъ, ругался Пушкинъ (и какъ еще!). ругался Сумароковъ, будутъ ругаться и въ двадцать первомъ вѣкѣ. И совершенно безпристрастною тоже критика никогда не была и не будетъ, ибо ее не ангелы пишутъ, а люди, и не для ангеловъ, а для людей. Бѣлинскій—нашъ критическій идеалъ, но возьмите новое изданіе его сочиненій,

комментированное Венгеровымъ: вы увидите, что и у него не поднималась иной разъ рука на недаровитаго пріятеля, вродѣ И. И. Панаева, или историка Кудрявцева, имѣвшаго несчастную слабость писать плохія повѣсти, и, наоборотъ, даже его кулакъ часто пристукивалъ совершенно ни за что, ни про что антипатичнаго, хотя талантливаго, чужака, вродѣ Степанова, автора «Постоялаго двора». Что касается «партіиности», то наша литература, за немногими и далеко нельзя сказать, чтобы лучшими, исключеніями, всегда была до такой степени публицистична, что критика на каждое почти литературное явленіе и не могла отвѣчать ничѣмъ инымъ, какъ публицистическимъ же отголоскомъ изъ той или другой части,— партіи,—общества. Если критика не такова, то, правду сказать, вѣдь и грошъ ей цѣна! Ибо—не объ изящномъ же слогѣ Тургенева было разсуждать по поводу «Отцовъ и Дѣтей», и не абсолютную же красоту Марейинки смаковать по поводу «Обрыва»! Въ нашемъ отечествѣ болѣе, чѣмъ гдѣ либо на земномъ шарѣ, литература и общество едино суть, и литературное событіе цѣнно лишь постольку, поскольку оно—общественное событіе. Время отъ времени ввергается въ великій русскій океанъ чьею либо мощною рукою камень—новый, назрѣвшій общественный типъ, носитель новыхъ, назрѣвшихъ общественныхъ идей, задачь, вопросовъ,—и бухаетъ онъ на всю Русь тяжелымъ шумомъ, и бѣгутъ отъ мѣста паденія по Руси широкіе круги. Круги Пушкина и декабристовъ, круги Лермонтова, круги, Бѣлинскаго, круги Гоголя «Мертвыхъ душъ» и контръ-круги Гоголя «Переписки съ друзьями», круги Герцена, Хомякова, Грановскаго, круги Тургенева, Гончарова, Писемскаго, круги Чернышевскаго, Добролюбова, Некрасова, Писарева, Салтыкова, круги Достоевскаго, круги народниковъ, круги Льва Толстого, круги Владиміра Соловьева, круги Антона Чехова и Максима Горькаго... Полагаю, что для cadaго изъ этихъ авторовъ было бы злѣй-

шею обидою стать жертвою и предметомъ именно той непартійной критики, о которой мы слышимъ столько платоническихъ воздыханій. Нейтральной эстетической опѣнкѣ, внѣ партій, подлежатъ только произведенія, неспособныя никого зажечь ни страстною любовью, ни лютою враждою, не имѣющія общественнаго значенія, не живыя для живыхъ, но мертвыя—для музейнаго созерцанія любителей архаической красоты. Въ интереснѣйшемъ рефератѣ С. А. Андреевскаго о судебной защитѣ я встрѣтилъ смѣшной анекдотъ про адвоката, который жестоко огорчился пушкинскимъ стихомъ: «Пора. Перо покоя просить» за четыре «п» и три «р» въ четырехъ словахъ. Это—тоже «критика», и до Бѣлинскаго на Руси такъ и критиковали. Ну, а Бѣлинскому было уже не до того, чтобы считать покои и рцы: онъ былъ вождь общественности и такой партійный вождь, что даже и въ вѣчности-то остался съ кличкою «цеистоваго Виссаріона». Я лѣтъ десять уже занимаюсь исторіей Римской имперіи. Кажется, эпоха достаточно давняя, чтобы не будить въ изслѣдователѣ партійнаго критицизма, а между тѣмъ, какъ это трудно! Скажу болѣе: какъ это невозможно! Стоитъ хорошенько узнать эпоху, чтобы уже начать жить въ ней воображеніемъ, а—значить,—и дѣлить ея интересы. Самъ великій Момсепъ не сумѣлъ остаться безстрастною Сивиллою (если, впрочемъ, и на Сивиллѣ-то не клевета, будто онъ безстрастенъ), когда дошелъ до демократической революціи Юлія Цезаря. За идею своего излюбленнаго политическаго героя, онъ поругался, — да! лично, на смерть, грубыми словами поругался!—съ Маркомъ Тулліемъ Цицерономъ, совершенно упуская изъ вида, что Маркъ Туллій Цицеронъ уже двѣ тысячи лѣтъ—покойникъ! Онъ писалъ о Помпеѣ такимъ тономъ, какъ мы, грѣшные, пишемъ о князѣ Мещерскомъ. На лбу Домиція Аэнобарба онъ начерталъ проклятіе типической юнкерской скотинѣ, а Катонъ Моммсена, при сравнительномъ стараніи автора

сохранить, почтение, вышелъ трагикомическою дворянскою фигуурою почти что изъ чеховскаго «Вишневаго сада»... Параллели двухтысячелѣтней давности закипають кровь историка-публициста: какъ же не кипѣть крови критика, который взялся отстаивать или опровергать типичность, образъ мыслей, права на художественное изображеніе и общественное существованіе Евгенія Базарова, Марка Волохова, Раскольниково, Ивана Карамазова, Левина, Нехлюдова, Сатина? Какъ именами этими не проклинать и не благословлять? Какъ не дружить съ благословляющими и не враждовать съ проклинающими? Жить въ эпохѣ — значить бороться за идею ея съ одними противъ другихъ. Кто живетъ иначе, тотъ не живетъ вовсе, а только сидитъ зрителемъ въ театрѣ жизни и смотритъ на спектакль ея; для того нѣтъ людей, есть только актеры; нѣтъ мыслей-дѣлъ, есть только мысли-слова, и больше слова, чѣмъ мысли. Увѣряють, будто это и есть самое мудрое: Ну, и Богъ съ ними! Зовите меня вандализмъ: я не могу! И чѣмъ далѣе живу, тѣмъ болѣе не могу. Я слишкомъ люблю жизнь, я слишкомъ люблю эту милую каналью, называемую человѣкомъ!

Въ недавней статьѣ объ одной моей повѣсти я прочелъ упрекъ себѣ, что я публицистъ, а не художникъ. Клянусь, никогда ни одна похвала,—хотя я болѣе, чѣмъ не избалованъ похвалами,—не радовала меня болѣе, чѣмъ этотъ упрекъ! Между тѣмъ, выросъ и воспитался я въ тѣхъ понятіяхъ, что художество въ писательствѣ есть самая большая, важная и рѣдкая вещь, ибо оно для вѣковъ, а работа нашего брата, публициста, умираетъ вмѣстѣ съ нами въ поколѣніи, съ которымъ и для котораго мы работаемъ и, обыкновенно, — много, много раньше поколѣній! Это правда. Но мы, паріи словесности, имѣемъ то утѣшеніе, что и такъ называемые «чистые художники» недолговѣчны, если творчество ихъ не прошло, въ свое время, чрезъ публицистическій огонь, а вѣчно въ нихъ

только то, что сильно обожжено и закалено нашимъ земнымъ пламенемъ. Пропитанный публицистическою прививкою, человѣкъ и гражданинъ, Шиллеръ пережилъ полубога Гете, а Гете, для девяти десятыхъ современной публики, весь укладывается въ «Фаустъ», самомъ публицистическомъ изъ твореній германскаго олимпійца; остальной Гете — уже великолѣпный музейный антикъ для знатоковъ и специалистовъ. Долго живетъ только то искусство, которое, въ свое время, практически послужило людямъ, было прикладнымъ, какъ все искусство, завѣщанное намъ Греціей и Римомъ, и выразило живой смыслъ и движеніе эпохи, какъ портреты Веласкеза, мадонны Возрожденія, Шекспиръ, Моцартъ, Пушкинъ, «Карменъ». Наши мастера во всѣхъ отрасляхъ литературы и искусства слишкомъ охотно утѣшаютъ себя «музыкою будущаго» и надеждою изъ «Донъ-Карлоса»:

Вѣкъ щедедушный
Не вызрѣлъ для моихъ прекрасныхъ мыслей:
Я — гражданинъ грядущихъ поколѣній.

Конечно, — давай Богъ всякому! Но, чтобы получить почетное гражданство даже отъ города Пошехонья, надо предварительно сдѣлать кое что для города Пошехонья, и «грядущія поколѣнія» тоже, выдавая патентъ на почетное гражданство дѣятелю изъ прошедшихъ поколѣній, имѣють дурную привычку провѣрять исторически, что оный предокъ сдѣлалъ для своего поколѣнія. Маркизь Поза, окомъ Донъ-Карлосъ произнесъ свое пророчество, имѣлъ, чѣмъ доказать свои законныя права на гражданство въ грядущихъ поколѣніяхъ, — ну, а многихъ, клятвенно собиравшихся жить въ будущихъ вѣкахъ, отметая свой собственный, будущіе вѣка-то къ себѣ въ граждане и не пустили!

Къ публицистическому началу я питаю особое пристрастіе и въ творествѣ, и въ критикѣ творчества, и, гдѣ я не слышу его, тамъ я глухой, и то для меня нѣмо. Я

видѣлъ на вѣку своемъ довольно много красоты, но сознаюсь откровенно: трогали и трогаютъ меня только тѣ силы и власти ея, которыя родились изъ идей публицистическаго порядка, или тѣ, которыя внушали мнѣ впечатлѣніемъ своимъ идеи публицистическаго порядка. Не думайте, что это «узко»! Теоретически я самъ не разъ смущался тѣснотою моей формулы, сѣтуя о скудости своего воображенія и о сухости душевной, но на практикѣ я сотни разъ убѣждался, что эта узкая формула таинственно соприкасается съ самыми разнообразными и неожиданными углами въ мірѣ творческой красоты. Публицистическою идеею свѣтитъ міру даже вѣчная нагота Венеры Милосской: она «выпрямила» согбенную спину и изломанную душу Глѣба Успенскаго! Предъ нею самъ Сатинъ радостно созналъ бы, что недаромъ онъ, въ грязномъ подвалѣ, съ жалкимъ Барономъ, пилъ за гордо звучащее имя человѣка,— потому что, дѣйствительно, «человѣкъ—это великолѣпно» и вотъ онъ каковъ—вѣчный, великолѣпный, гордо божественный человѣкъ!

«Человѣкъ—это звучить гордо». Въ вѣкѣ, родившемъ такой сильный, искренній и выразительный афоризмъ, литературная критика не можетъ сохранить за собою диктаторскихъ полномочій, осуществимыхъ только надъ громадно единомыслящею массою. Власть критики убита не качественнымъ или количественнымъ упадкомъ ея, недугъ ея не внутренній (по крайней мѣрѣ, главный недугъ), но внѣшній: она потеряла значеніе для общества потому, что—ужь если «на днѣ» человѣкъ звучить гордо, то выше дна онъ звучить даже и надменно, и потребность въ прежнемъ условно-объективномъ критическомъ судѣ для него исчезла, распавшись на тысячи судовъ субъективныхъ и говорящихъ, отъ самыхъ молодыхъ ногтей, очень властно и самоувѣренно. При Бѣлинскомъ Россія имѣла критику учительную, въ шестидесятыхъ годахъ—повелительную, въ послѣднихъ двухъ десятилѣтіяхъ XIX вѣка—совѣща-

тельную, при чемъ авторитетъ совѣтницы шель на смарку съ самою жалостною быстротою. Теперь россияне, воспріявъ въ души свои торжествующій ураганъ протестующаго индивидуализма, упразднили критическій авторитетъ вовсе и даже какъ бы дразнить его павшее величіе. Вѣдь, въ самомъ дѣлѣ, полмилліона экземпляровъ Горькаго, сто тысячъ Леонида Андреева и несомнѣнная современная диктатура на книжномъ рынкѣ фирмы «Знаніе», установившаяся вопреки критическому противъ ея столповъ воплю, страшно краснорѣчивы. Горькаго анаеematствовали единовременно Михайловскій, Буренинъ, Вейнбергъ, Суворинъ. А публика говорить:

— Ну, анаеема, такъ и анаеема! А я желаю этого анаеему читать и смотрѣть. А критика, если анаеема ей не нравится, оставайся зѣвать при своихъ благословенныхъ!

Въ тѣ годы, когда русская критика была учительною и повелительною, Россія слыла странюю хорового начала. У Писемскаго, въ «Людахъ сороковыхъ годовъ», одинъ патріотъ развиваетъ эту теорію примѣромъ наивнымъ, но не безъ остроумія:

— Помилуйте!— говорить онъ.— да у насъ хоровое начало во всемъ... Возьмите хоть оперу: у солистовъ голосовъ нѣтъ и поютъ они прескверно, а хоры наши—первые въ Европѣ!

Но это было столь жестоко давно, что даже символъ этотъ успѣлъ вывернуться съ тѣхъ поръ съ лица на изнанку. Въ настоящее время именно солисты русскихъ оперъ — мощный художникъ Шаляпинъ, сладкоголосый Собиновъ — покоряютъ подъ нозѣ всякаго европейскаго врага и супостата. Хоры же наши хороши только въ чертѣ еврейской осѣдлости, а безъ ея голосистой и музыкальной помощи всюду, хотя въ ротъ хмѣльное берутъ, но дерутъ даже не немножечко, такъ что «индивидуализмъ» и здѣсь торжествуетъ. И настолько, что даже жалостно

читать въ рецензіяхъ правовѣрныхъ критиковъ, какъ свирѣпый насильникъ Шаляпинъ вольничаетъ въ ритмѣ и знать не хочетъ палки дирижера, а поетъ «самъ по себѣ», и всего ужаснѣе, что выходитъ это почему-то очень хорошо и нравится публикѣ до фанатизма!

Шаляпинъ не хочетъ стѣснять свои вдохновенія ради палки дирижера,—публика говоритъ: Шаляпинъ правъ. Сатинъ не хочетъ считаться съ общественнымъ хоровымъ «кораномъ» Татарина, — публика говоритъ: Сатинъ правъ. И, такъ какъ Шаляпинъ великолѣпный артистъ, стоящій по музыкальности дюжины дирижеровъ, а Сатинъ большой умница,—то и оказывается, сверхъ мрачныхъ теоретическихъ ожиданій, что они, дѣйствительно, правы въ своихъ безцеремонностяхъ съ «хоровымъ началомъ»: побѣдителей не судятъ. Да, побѣдителей не судятъ, но побѣдители, напротивъ, судятъ и очень часто, и очень круто. И старовѣрка критика—не успѣетъ еще осудить какого либо новаго «побѣдителя», разложивъ его въ строгихъ правилахъ искусства, по всѣмъ преданьямъ старины, какъ глядь, побѣдитель ее самое осудилъ: сиди, старуха, при особомъ мнѣніи! Сиди и мри! Мнѣ, молъ, какъ говорила сваха у Островскаго, публика «выдастъ привиллегію, а тебя запишетъ въ лабеть!» И такъ оно и есть: всѣ яркіе солисты современной литературы, съ громаднымъ Горькимъ во главѣ, украшены отъ публики самыми громкими и нѣжными привиллегіями, а критика ихъ сидитъ въ невылазномъ «лабетѣ».

Публика Бѣлинскаго и Добролюбова, публика временъ хорового начала, искала общественной гармоніи, идейнаго ансамбля и требовала критиковъ-регентовъ, которые ей благо это установили бы дружными, строгими спѣвками. И бысть ей по глаголу ея. Были у нея суровые, властные, высокоталантливые регенты, общественные Направники и муштровали и ее, и литераторовъ въ стройный хоръ ежемѣсячными спѣвками. И худо было хористу, если онъ фальшивилъ, либо проявлялъ черезчуръ брыкливую само-

малъ и обработалъ Шекспиръ: до такой степени, что даже измѣнилъ нѣсколько Плутарху, которому, вообще, рабски вѣрилъ и слѣдовалъ, заставивъ Брута видѣть призракъ Цезаря, тогда какъ, по Плутарху, Брутъ видѣлъ только чудовище, назвавшееся ему его «злымъ гениемъ».

Духомъ Брута «послѣдніе римляне» уничтожили Юлія Цезаря. Духомъ Цезаря уничтожили «послѣднихъ римлянъ» тріумвиры, при чемъ, въ скобкахъ сказать, побѣдивъ, надули этотъ «духъ Цезаря» самымъ безсовѣстнымъ образомъ, въ лицѣ Октавія—усерднѣйшаго душителя демократическихъ началъ, опорою на которыя создалась цезарева диктатура. Здѣсь не мѣсто судить исторически Цезаря съ Брутомъ и Кассіемъ, такъ какъ «Юлій Цезарь» Шекспира — плодъ не историческаго изслѣдованія, на почвѣ котораго стоитъ образованный человѣкъ XX вѣка, читатель Моммсена и Германа Шиллера, но романтическій выводъ, сдѣланный авторомъ XVI вѣка, — геніальнымъ, но со всѣми сословными предразсудками своего времени, — изъ полуромановъ Плутарха, писателя, удаленнаго отъ эпохи Цезаря слишкомъ на полтора столѣтія и пропитаннаго безпрекословнымъ уваженіемъ къ стойкамъ и аристократической республикѣ, какъ золотому вѣку древней добродѣтели. Наши современные понятія о политической свободѣ гораздо ближе къ демократическимъ идеаламъ Юлія Цезаря, чѣмъ къ той олигархической конституціи, за права которой убили Цезаря Брутъ и Кассій и сами потомъ пали при Филиппахъ. Мы свыклись съ вѣковымъ предразсудкомъ о «вольнлюбивомъ» Брутѣ, и нашимъ ушамъ даже диковато на первое впечатлѣніе слышать, что если кто былъ по настоящему «вольнлюбивъ», то не Брутъ, аристократъ-убійца, защитникъ узкихъ сословныхъ интересовъ, а умерщвленный имъ народный вождь Юлій Цезарь. Однако, это такъ, и уже древность понимала это хорошо. Когда діархическій принципъ Августа утвердился и принялъ деспотическій характеръ, измѣнивъ народнымъ

силамъ, которыя его создали, имя Юлія Цезаря Диктатора очутилось въ немилости у династіи, отъ него происшедшей. И, наоборотъ, раздавленные Юліемъ, аристократическія тенденціи Помпея воскресли при дворѣ и въ знати, пользуясь откровенными симпатіями большого свѣта и громкими хвалами въ покровительствуемой литературѣ. Имена Брута и Кассія были гонимы, но лишь какъ символы цареубійства, а политическій кодексъ ихъ былъ въ уваженіи, и старая, «дворянская» оппозиція, политическая партія крупныхъ земле и рабовладѣльцевъ, хранила ихъ портреты, провозглашала за нихъ тосты даже сто и полтора ста лѣтъ по ихъ кончинѣ.

Итакъ,—написанный внѣ современныхъ средствъ исторической провѣрки правъ и мотивовъ,—«Юлій Цезарь» Шекспира разрабатываетъ лишь внѣшнюю, казовую и условную сторону античнаго конфликта: борьбу сената, исконнаго аристократическаго учрежденія на началахъ привилегированнаго представительства, съ единовластникомъ. Въ вѣкѣ Генриха VIII, Маріи Тюдоръ, Елизаветы и Іакова I интересъ къ подобному конфликту врядъ ли могъ быть только историческимъ, и въ «Юліи Цезарѣ» вѣяніе публицистической мысли замѣтно болѣе, чѣмъ въ какой-либо иной трагедіи Шекспира за исключеніемъ, развѣ, «Короля Лира». Многіе почитаютъ «Юлія Цезаря»—по яснымъ симпатіямъ Шекспира къ Бруту и Кассію—пьесою «революціонною». Но, если бы даже и такъ, если бы даже и въ самомъ дѣлѣ Шекспиръ апофеозировалъ революцію, то изъ всей пьесы слишкомъ ясно слѣдуетъ, какъ ограниченно, насколько въ полномъ и тѣсномъ соотвѣтствіи своего, еще полнаго феодальныхъ преданій, вѣка понималъ онъ самъ политическую свободу, изображая ее плодомъ «господскаго» возстанія ради вольностей и привилегій немногихъ однословныхъ и одинаково состоятельныхъ гражданъ. Народъ въ трагедіи—наивная масса. Ею грубо пользуются обѣ стороны, до нея

объимъ сторонамъ нѣтъ заботы, внѣ вербовки изъ нея своихъ военныхъ кадровъ и выжиманія фуража и денегъ. «Революціонеры» трагедіи ругаютъ эту массу едва-ли не съ большимъ отвращеніемъ и презрѣніемъ, чѣмъ единовластники. «Пни, камни вы, безчувственные твари!» — кричатъ народу Флавій и Марулль, пропагандисты партіи Помпея, приглашая толпу чтить его память, — то есть память жесточайшаго врага правъ этой самой толпы. Для Каски народъ — «подлая сволочь». Брутъ, правда, восклицаетъ, что

Готовъ скорѣе
Перечеканить сердце на монету
И перелить всю кровь мою на драхмы,
Чѣмъ вырывать изъ закорючалыхъ рукъ
Поселянина жалкій заработокъ.

Но, во-первыхъ, то — великій честностью, безкорыстнѣйшій, гуманный Брутъ, исключительный идеалистъ, одинокій въ собственной своей партіи. А, во-вторыхъ, нѣсколькими сценами ниже, тотъ же Брутъ объясняетъ свою рѣшимость дать генеральное сраженіе при Филиппахъ, утомительно идя навстрѣчу непріятелю, только потому, что

Всѣ жители отсюда до Филиппи
Лишь потому на нашей сторонѣ,
Что насъ боялся; противъ насъ они
Раздражены за тяжкіе поборы —
И, проходя по этимъ областямъ,
Свои ряды пополнить непріятель.

Въ знаменитой сценѣ на форумѣ, у праха Цезаря, народъ, измѣнивъ, какъ вѣтеръ, и глушь, и подль. Народу въ трагедіи или нагло лъстятъ, или нагло его ругаютъ. Отношеніе къ народу Шекспира — отношеніе кнехта изъ свиты знатнаго лорда къ мужику-землепашцу: болѣе лордское, чѣмъ у самого лорда, если лордъ былъ похожъ на ласковаго Брута. Это, впрочемъ, не въ одномъ «Юліи Цезарѣ»: то же самое въ «Коріоланѣ», тѣми же красками изображень Джекъ Кадъ.

Итакъ, мы — въ пьесѣ отнюдь не демократической, въ пьесѣ безъ народа, въ пьесѣ, такъ сказать, баронскаго

вопроса, и, если революціи, то баронской же,—за дворянское самоуправленіе противъ властолюбца-единовластника. Вотъ тутъ симпатіи Шекспира, дѣйствительно, на сторонѣ «бароновъ»; они въ военныхъ сценахъ и изображены у него съ тѣми же нравами и похвалбами, какъ феодальные герои Алой и Бѣлой розы, Йорки и Ланкастеры. Цезарь его очерченъ почти рѣзкою карриатурою, которой черты онъ позаимствовалъ у Плутарха, но промазалъ ихъ поглубже, съ видимою тенденціей создать въ этомъ, до смѣшного олимпійскомъ, человѣкъ-богъ антипатичный контрастъ съ благороднымъ гражданскимъ глубокомысліемъ Брута, съ яримъ партійнымъ пыломъ Кассія. Я видѣлъ двухъ Цезарей у мейнингенцевъ—Вейссера и другого, если не измѣняетъ память, Теллера. Оба они были великолѣпны въ своемъ родѣ, почти сатирически передавая самовлюбленное «яканье» состарѣвшагося, капризнаго божка цѣлаго міра. Немножко вызывало воспоминаніе о Менелай изъ «Прекрасной Елены», но было интересно и съ большимъ, острымъ смысломъ. То было еще въ восьмидесятыхъ годахъ, когда «яканье» и эготическое сверхчеловѣчество были не въ модѣ и выставлялись на посмѣяніе. Мы переживаемъ другое время, и г. Качаловъ, сообразно тому, показалъ вчера Петербургу «Юлія Цезаря» совсѣмъ въ иномъ освѣщеніи. Оно, можетъ быть, менѣе соотвѣтствуетъ публицистической тенденціи Шекспира, за то болѣе вѣроятно освѣщаютъ историческую фигуру Цезаря въ послѣдній періодъ его жизни. Еслибы великій обожатель Юлія Цезаря, покойный Теодоръ Моммсенъ былъ живъ, я не сомнѣваюсь, что Цезарь—Качаловъ доставилъ бы ему живѣйшее удовольствіе; такъ красиво, съ такою законченною цѣлностью воплощенъ артистомъ этотъ великолѣпный государственный умъ, поставившій ногу свою на верхъ земного величія. Извѣстно старое изреченіе, что самый успѣшный демагогъ—честолюбивый аристократъ,

отдавшій себя демократіи. Цезарь-Качаловъ—аристократъ съ головы до пятъ: съ перваго взгляда вы чувствуете въ немъ страшное обаяніе властной породы, острый, огромный интеллектъ, выработанный долгимъ подборомъ талантливыхъ поколѣній, достигшій предѣла «породистости» а—осужденный на вырожденіе: у Кальпурніи нѣтъ дѣтей, и у самого Цезаря—эпилептическіе припадки. Этотъ человѣкъ созданъ быть богомъ для толпы, которой онъ удѣлитъ свои милости, броситъ ласковое слово, пошлетъ ласковую улыбку. И такъ онъ привыкъ быть богомъ, что уже самъ себя заобожалъ, самъ для себя—богъ: по смерти онъ будетъ *divus*, а при жизни и носить въ себѣ безпредѣльное уваженіе къ сознательному своему сверхчеловѣчеству и такое же безпредѣльное презрѣніе къ людямъ. Сцена въ куріи Помпея, при эффектномъ толкованіи Цезаря Качаловымъ, производитъ болѣе сильное впечатлѣніе, чѣмъ у мейнингенцовъ—при сатирическомъ толкованіи Вейссера и Теллера (если онъ былъ Теллеръ). Тамъ убивали просто себялюбиваго, крикливаго, обнаглѣвшаго отъ раболѣпства, старичишку, который капризно ломается надъ правительствующей корпораціей, нарочно перечить ей въ законной правдѣ, захлебывается властью и самодурствомъ. Здѣсь убиваютъ воплощенное презрѣніе, красивое, холодное и оскорбительное до того, что—сносить его уже не въ подъемъ людямъ, а онъ, Цезарь пресзирающій, какъ нарочно, все ярче и рѣзче подчеркиваетъ свое сверхчеловѣчество, свой «подъемъ надъ расою»: уже и пощадить знать не хочетъ, и швыряетъ плевки своихъ словъ въ Цимбера, Брута, Кассія... ходитъ по достоинству человѣческому, какъ по ровному полу! Прекрасенъ гримъ г. Качалова, очень близкій къ неаполитанскому бюсту Юлія Цезаря, — лицо человѣка геніальнаго, страстно живущаго въ самого себя, холодно и властно взирающаго на внѣшній міръ, который онъ, какъ гигантское орудіе, ворочаетъ систематическою

работою своей мощной мысли. Это—Юпитеръ, олимпіецъ. Въ Цезарѣ-Качаловѣ много «Гете въ старости», человѣка—орла, подѣ чьимъ пристальнымъ, вѣчнымъ взглядомъ совершенно терялись самые талантливые люди (какъ, напримѣръ, рассказываетъ о себѣ Гейне). А иные изъ «обыкновенныхъ смертныхъ» загорались ненавистью къ нему, какъ Берне, — ненавистью естественною, потому что это не личность противъ личности—это искра огня Прометеева въ душѣ человѣческой озлоблялась и протестовала противъ божественной хрустальной ясности очей Юпитера, извѣчнаго врага.

Кассій—Берне «Юлія Цезаря», за исключеніемъ безкорыстія Берне; великій римскій патриотъ былъ таки крѣпко нечистъ на руку, что, впрочемъ, большимъ грѣхомъ въ вѣкѣ Кассія не считалось. Его ненависть къ Цезарю—такая же органическая, какъ у Прометея къ Зевсу, а у Берне—къ Гете. Не въ томъ дѣло, что Кассій—личный честолюбецъ, что онъ завистливъ и т. п. Все это—второстепенный наносъ на характеръ, дрянныя наклоненія, наброшенные привычнымъ страданіемъ на очень пылкую, прекрасную, мучительно чувствующую душу,—на нее жаль смотрѣть въ тѣ рѣдкія минуты, когда она открыта на распахку: до того она истерзана нетерпѣливыми надеждами, обманутыми ожиданіями, горькими разочарованіями жгучаго гражданскаго чувства, самобичеваніемъ человѣка, вѣчно себя провѣряющаго, никогда собою недовольнаго, придирчивою ревностью...

Придите вы, Антоній и Октавій,
Все выместить надъ Кассіемъ однимъ.
Усталъ онъ жить: онъ ненавидимъ тѣмъ,
Кого онъ любить, презираемъ братомъ;
Его ругаютъ, какъ раба; его ошибки,
Всѣ до одной замѣчены и въ книгу
Записаны; ихъ наизусть твердятъ,
Чтобъ ими мнѣ въ лицо бросать. О, если-бъ
Я могъ всю душу выплакать. Вотъ мечъ мой,
Вотъ грудь моя открытая, въ ней сердце,
Цѣнный сокровищъ Плутуса, дороже,

Чѣмъ золото—возьми его, когда
Ты римлянинъ: я, отказавшій въ деньгахъ,
Тебѣ охотно сердце отдаю!

Кассій— всю жизнь работая надъ своимъ характеромъ, все таки, остался лишь полухарактеромъ. При всѣхъ своихъ способностяхъ, онъ—человѣкъ на второй номеръ, прицѣпленный къ первому номеру—Бруту, въ комъ идея—стала характеромъ. Практически Кассій умнѣ Брута и не хвастаетъ, говоря, что онъ способнѣе Брута, какъ воинъ, и какъ политикъ. Разумѣется, надо было, въ практическихъ выгодахъ заговора, убить вмѣстѣ съ Цезаремъ Марка-Антонія; разумѣется, не слѣдовало давать сраженія при Филиппахъ,—все, на чемъ настаивалъ Кассій, но чего онъ не сумѣлъ отстоять отъ Брута. Но Кассій не умѣетъ хорошо настаивать предъ Брутомъ, потому что въ нравственную цѣльность друга, онъ идейно влюбленъ, и только мучится, видя, что дѣло, имъ налаженное, могло бы идти прекрасно, а въ рукахъ честнѣйшаго и прямолинейнѣйшаго, но совершенно «не отъ міра сего» дѣятеля-философа идетъ сквернѣе сквернаго. Кассій, по своему, даже мягкосердеченъ,—при вспыльчивости и внѣшней жестокости; когда овдовѣлъ Брутъ, онъ чувствуетъ потерю Порціи болѣе ѣдко, чѣмъ самъ Брутъ; онъ любитъ славу, потомство, декорацію подвига, надѣется, что его дѣянія вѣками будутъ представляться на театрѣ. Онъ человѣкъ—талантъ, со всѣмъ величіемъ и дѣтствомъ талантливой натуры, порывистой и неустойчивой, со всѣми паденіями и воскресеніями таланта, со всею его кротостью и яростью и даже со всѣми суетвѣріями.

Брутъ,—если ужъ продолжать литературныя сравненія,—Шиллеръ заговора: человѣкъ необычайно искренней и глубокой общественной идеи, столь же сильной, какъ его воля, но еще болѣе сильной, чѣмъ его талантъ и умъ. Г. Станиславскій хорошо передаетъ возможную наружность Брута, схожую съ бюстомъ и монетами въ «Иконографии» Висконти: маленькая голова на большомъ тѣлѣ и длинной шеѣ, сосредоточенный взглядъ и страшно упрямое выраженіе

лица, при кроткомъ взглядѣ и мягкомъ складѣ рта. Это — человѣкъ своей думы и своей воли. Ведеть роль Брута г. Станиславскій нельзя сказать, чтобы удачно, за исключеніемъ рѣчи надъ трупомъ Цезаря, когда онъ прекрасенъ; тутъ весь — всегда самоотчетный Брутъ,* со всѣмъ, доступнымъ его стоически выдержанной натурѣ и рѣдко въ ней прорывающимся, пафосомъ. Брутъ настолько честный человѣкъ, что не умѣетъ даже предположить, чтобы другіе поступали въ отношеніи его нечестно; онъ, какъ ребенокъ, вѣритъ словамъ и, когда дошелъ до убѣжденія въ порядочности своего или чужого дѣянія, не умѣетъ догадаться, что другіе могутъ быть другого мнѣнія, сумѣютъ затаить свою заднюю мысль и поймаютъ его въ ловушку, коварнымъ обходомъ. Сами триумвиры признали, что въ заговорѣ на смерть Цезаря Брутъ дѣйствовалъ, какъ человѣкъ съ побужденіями честнѣйшими, совершенно безкорыстно, изъ одной любви къ благу общественному. Но даже въ трагедіи понятно, что этотъ идеалистъ безъ компромиссовъ, ходячая нравственность, краснорѣчивый и строгій логикъ долженъ былъ погубить свое политическое дѣло, какъ скоро пришлось перевести мысль въ дѣятельность, теорію въ практику. Онъ — антиподъ Юлія Цезаря и обоихъ губятъ крайности: Цезарь умеръ за то, что слишкомъ презиралъ людей и въ каждомъ ближнемъ видѣлъ только его душевную дрянь; Брутъ умеръ только за то, что слишкомъ уважалъ людей и въ каждомъ ближнемъ видѣлъ только хорошія черты — до тѣхъ поръ, пока дрянь не всплывала наружу уже слишкомъ очевидно и пошлою наглядностью. Великолѣпно передаетъ г. Станиславскій эту черту — наивной довѣрчивости — въ Брутѣ и дѣтскую ярость его, когда довѣріе обмануто, — какъ въ случаѣ съ Кассіемъ, отказавшемъ ему въ деньгахъ. Этотъ споръ г. Станиславскій ведетъ съ большою силою и увлеченіемъ. Къ сожалѣнію, затѣмъ онъ совершенно ослабѣваетъ, и знаменитая сцена появленія призрака проходитъ

у артиста какимъ то спутаннымъ комкомъ, гдѣ безъ надобности много Ричарда Ш, и совсѣмъ нѣтъ стойка Брута, «честнаго убійцы». Вообще, эта сцена,—четвертое дѣйствіе,—«лагерь близъ Сардъ» поставлена москвичами очень неудачно,* а призракъ напоминаетъ Демона въ деревѣ 2-го акта оперы. Въ этомъ дѣйствиіи мейнингенцы, постановочно разбитые москвичами во всѣхъ безъ исключенія другихъ сценахъ трагедіи, брали реваншъ, побѣждая москвичей зловѣщимъ настроеніемъ трагической, вѣщей ночи... Сколько лѣтъ прошло, а и сейчасъ звучитъ въ ухахъ моихъ унылая ночная труба, настоящий зовъ ангела смерти!... Въ одномъ спектаклѣ мейнингенцовъ я имѣлъ удовольствіе видѣть Брутомъ Эрнста Поссарта, als Gast, а, такъ какъ артистъ этотъ—чуть ли не первый европейскій специалистъ по передачѣ зрительныхъ галлюцинацій, то можете себѣ представить, какое потрясающее впечатлѣніе оставляла эта ночь, полная бреда, призраковъ, сна, трубныхъ звуковъ, переключекъ караула, звона сонной арфы, тумана, тьмы—всей юдоли тоски и мрака душевнаго, объявшихъ великую душу «послѣдняго римлянина» въ предчувствіи, что онъ пропалъ, въ сознаніи, что пропалъ за проигранное дѣло, и съ однимъ лишь утѣшеніемъ:

Я этимъ днемъ теперь прославлюсь больше,
Чѣмъ Маркъ Антоній и Октавій Цезарь
Постыдною побѣдою своей.

Страшно трудна роль Брута: вся—сплошное размышленіе. Она не удавалась Эрнесто Росси—не удивительно, что не удастся и г. Станиславскому, который—отличный характерный актеръ, но и не Росси, и не трагикъ. На театрѣ, задающемся цѣлями строгой житейской правды, актеръ, играющій Брута, собственно говоря, долженъ бы молча ходить по сценѣ, выражая лишь мимикою свои саженныя а parte, и только развѣ изрѣдка бормотать нѣчто, особенно патетическое, себѣ подъ носъ. Г. Станиславскій что то въ такомъ меланхолическомъ родѣ и пробуетъ изобразить въ

сценѣ раздумья предъ заговоромъ (въ саду при домѣ Брута), но тутъ оказывается, что иная простота хуже воровства: выходить это мурлыкающее моноложество скучно и немножко смѣшно. Есть такіе превосходные, умные и поэтическіе монологи, которые, будучи великолѣпными для читателя, несносны въ спектаклѣ, при передачѣ актерами. Напримѣръ, чтобы привести нѣчто извѣстнѣе Брута, — монологъ Басманова въ пушкинскомъ «Борисѣ Годуновѣ»: что именно такія мысли вполнѣ въ характерѣ Басманова и должны быть въ его головѣ — понимаетъ всякій; чтобы онъ высказывалъ ихъ вслухъ наединѣ съ самимъ собою, для всякаго невѣроятно, и сблизить это съ сценическою правдою рѣшительно невозможно. Монологъ — вообще условнѣйшее изъ ухищреній въ драматическомъ искусствѣ, а ужъ монологъ тайныхъ помышлений — совсѣмъ балетное solo въ словахъ. Поэтому, едва ли не правы тѣ, кто рѣшаютъ: ужъ если это такое безысходное положеніе и условности со всѣхъ сторонъ, — такъ пусть же будетъ условность во всю! — и избываютъ монологъ просто красивою декламаціей, какъ своего рода вставную арію. Поссартъ, въ этомъ отношеніи безцеремонный, раскатывалъ Брутовы монологи по всей гаммѣ своего великолѣпнаго голоса, а нѣмцы млѣли. Однажды, — кажется, послѣ «Гамлета», — я дерзнулъ спросить этого художника;

— Herr Direktor, зачѣмъ вы иногда оставляете обыкновенную рѣчь человѣческую и начинаете пѣть, словно произносите оперные речитативы?

Поссартъ былъ въ духѣ и возразилъ мнѣ съ кротостью:

— Развѣ это некрасиво?

— Нѣтъ, пожалуй, красиво, только ужъ очень естественно.

А онъ засмѣялся и говорить:

— Другъ мой! Я декламирую такъ, когда не совсѣмъ понимаю, что произношу... Если не можешь хорошо пере-

дать публикѣ тайну фразы, пусть бѣдная публика, за свои деньги, слышитъ хоть красивый звукъ!

Пластическая сторона роли разработана г. Станиславскимъ безупречно. Всѣ его группы съ Кассіемъ запоминаются яркимъ впечатлѣніемъ, прочно ложатся въ голову.

Г. Вишневскій—Маркъ Антоній—произноситъ свою знаменитую рѣчь предъ сенатомъ съ хорошею отчетливостью и достаточною силою темперамента. Голосъ у него очень большой, въ декламациі замѣтна огромная работа надъ интонаціями и дикціей. Но, при большомъ и сильномъ звукѣ, голосъ г. Вишневскаго страдаетъ какою то неподатливостью, не воспринимая тонкихъ ироническихъ оттѣнковъ, какими полны бунтовскія, зажигательныя слова эффектнаго, вдохновеннаго демагога. Поэтому пропали для публики пресловутыя повторенія:

Но Брутъ сказалъ: „онъ былъ властолюбивъ“...

А Брутъ, безспорно, честный человѣкъ!

Повторенія эти были когда то конькомъ Людвиг Барная, какъ и вся ярко выгрышная, умная, полная темперамента и, въ сущности, для хорошаго декламатора, не трудная роль Марка Антонія. Я видѣлъ Барная Маркомъ Антоніемъ трижды и помню его живо, такъ что—боюсь судить г. Вишневскаго: быть можетъ, грандіозная фигура нѣмецкаго трагика слишкомъ давить въ воображеніи моемъ фигуру нашего почтеннаго московскаго гостя, несомнѣнно вложившаго въ свое исполненіе много горячности и всю привычную ему добросовѣстность.

Затѣмъ, чтобы покончить съ отдѣльными персонажами, выдѣлившими свое исполненіе надъ общимъ уровнемъ, назову Каску—г. Лужскаго: въ первой сценѣ трагедіи онъ далъ такой совершенный и тонкій типъ римскаго свѣтскаго человѣка, аристократа-скептика, d'un blasé, что я чуть не зааплодировалъ ему среди монолога. Но вскорѣ онъ столь же успѣшно расхолодилъ меня, ибо въ патетической сценѣ подъ грозою былъ вяло крикливъ, а убивалъ

Цезаря совсѣмъ ужъ плохо. Восхитительно говорить свои короткія фразы г. Москвинъ въ маленькой роли стараго Кая Лигарія: такъ и пахнуло въ публику талантомъ и темпераментомъ!.. О женщинахъ не хочется говорить: очень онѣ слабы.

Удовольствіе—огромное удовольствіе—большое: высокое наслажденіе—поговорить о томъ, какъ поставлена и обставлена трагедія!.. Восемь лѣтъ книжно работая надъ исторіей перваго вѣка Римской имперіи («Звѣрь изъ бездны»), я все время мечталъ о такомъ художественномъ произведеніи, чтобы оно дало мнѣ типическое «живое» представленіе о бытѣ той эпохи, которой исторію и археологію я имѣлъ несчастіе изучать слишкомъ подробно, а, слѣдовательно, и требовательно.

Со вздохомъ отходилъ я отъ многихъ картинъ (кро-мѣ двухъ-трехъ *обстановокъ* покойнаго Семирадскаго) и со вздохомъ закрывалъ многіе романы, повѣсти и драмы. Оперный Римъ на сценѣ совершенно невыносимъ... И вотъ—наконецъ засмѣялось, заговорило, засуетилось, зашумѣло со сцены что то такое живое, людное, пламенное, что смотрю и радуюсь: да! если это не то самое, то яркій и подробный намекъ на то самое, умное и смѣлое, къ тому приближеніе. Я, быть можетъ, позволю себѣ сдѣлать талантливымъ режиссерамъ добрую дюжину возраженій и вступлю съ ними не въ одинъ споръ, но при всѣхъ частичныхъ несогласіяхъ,—я долженъ прежде всего высказать свой восторгъ и изумленіе къ огромной работѣ изученія, вложеннаго ими въ постановку «Юлія Цезаря», и къ полной удачѣ примѣненій изученнаго...

Гг. Немировичъ-Данченко, Станиславскій и Бурджаловъ совершенно ошеломили зрителей: никогда еще не видано на нашихъ сценахъ ничего подобнаго въ смыслѣ исторической наблюдательности и разработки бытовыхъ чертъ, въ смыслѣ тонкаго и разнообразнаго примѣненія *couleur locale*, въ смыслѣ развитія археологическихъ мотивовъ! Когда раздвиг-

нулся мягкій занавѣсъ, сцена—словно вспыхнула: такимъ яркимъ римскимъ днемъ, такимъ горячимъ итальянскимъ солнцемъ глянули на насъ просвѣты этихъ двухъ узенькихъ улицъ, такимъ муравьинымъ движеніемъ и шумомъ мірской молвы—морской волны обдала зрительный залъ кипящая праздною энергіей южная толпа: Римъ! семиколѣнный Римъ, столица всѣхъ народовъ! По архитектурному построению и типу лавочной—торговой и ремесленной—жизни, первая сцена «Юлія Цезаря» очень напоминаетъ одну изъ удачнѣйшихъ картинъ П. Свѣдомскаго, «Улица въ Помпеѣ», находящуюся въ Третьяковской галлерей,—съ тою разницею, что Свѣдомскій свои великолѣпныя античныя декорации всегда портитъ мертвыми фигурами, похожими на манекены въ трагическихъ маскахъ, а тутъ—все живо: стучать молотки оружейниковъ, торгуетъ кабачокъ, въ цирюльнѣ, за тростниковою сѣткою, работаетъ брандобрей, отпускаетъ одного кліента за другимъ, пляшетъ уличная танцовщица, идетъ подъ зонтикомъ рабыня матрона, глазѣтъ рыжеусый варваръ, летятъ цвѣты,—свистъ, бѣготня, гамъ...

— Господи! сколько тутъ Фридлэндера! — невольно думалъ я, когда прошло первое огромное впечатлѣніе и, привыкшіе къ движущемуся пестрому пятну, глаза начали уже выдѣлять детали.

Въ публикѣ,—кажется, потомъ и въ печати,—выражалось недоумѣніе, зачѣмъ Юлія Цезаря проносятъ по какимъ то переулкамъ, когда можно было бы блеснуть видами дворцовъ и храмовъ на широкихъ площадяхъ. Но, по данному обвиненію, я всецѣло остаюсь на сторонѣ москвичей, такъ какъ за нихъ—историческая правда. Широкая улица—и сейчасъ рѣдкость въ Римѣ современномъ (Corso не шире Ковенскаго переулка, а Corso Vittorio-Emmanuele—Итальянской), въ античномъ же, и тѣмъ болѣе въ эпоху Юлія Цезаря, совершенно отсутствовали, если не считать Alta Semita и бульваровъ: Via Nova и Via

Lata, которыя триумфальному шествію Юлія Цезаря—ужь очень не по дорогѣ. Вблизи же къ форуму было только то, что показываетъ московская труппа: живописно узкіе переулки (vicus) высокихъ домовъ, картинная грязь человеческого муравейника, живущаго въ тѣснотѣ, да не въ обидѣ. Слишкомъ сто лѣтъ спустя послѣ Юлія Цезаря, въ Римѣ, пережившемъ зодческую эпоху Августа и Агриппы, Нероновъ и Титовъ пожары, много способствовавшіе его украшенію, Марціалъ, всетаки, плакался на безобразную тѣсноту, грязь и дурныя шоссеыныя мостовыя улицы, загроможденныхъ пристройками и выступами, гдѣ ютились лавчонки, харчевни, кабачки, заставлявшіе «идти въ уличную грязь даже преторовъ». *Nunc Roma est, nuper magna taberna fuit!*—воскликнулъ Марціалъ, привѣтствуя перестройку города Домиціаномъ: только теперь Римъ—Римъ, а раньше онъ былъ огромною корчмою! Страшная дороговизна земли въ столицѣ міра тянула ввысь его узкіе однооконные дома на 70 футовъ къ небу и лѣпила ихъ одинъ къ другому: цѣнили каждый вершокъ площади, годной къ застройкѣ. Римская улица—только замощенная тропинка между жилыми помѣщеніями: бойкій Vicus Tuscus, по измѣренію Иордана, имѣлъ ширину 4,48 метра, Vicus Jugarius—5,50 метровъ, наилучшія улицы—отъ 5 до 6,50 метровъ: это—Графскій или Мошковъ переулокъ!

Сѣверное равнинное представленіе всегда соединяетъ дворецъ съ площадью, дающею видъ на него. Въ Италіи это и теперь не такъ: за очень немногими сравнительно исключеніями, palazzi вровнены въ очень тѣсныя группы домовъ, къ нимъ лѣпящихся,—а въ Римѣ античномъ было не такъ, въ особенности: чтобы строить дворцы съ площадями, надо было отчуждать дорого стоящую землю, либо безсовѣстно злоупотреблять такими трагическими случаями, какъ великій римскій пожаръ 64 года, которымъ воспользовался Неронъ для планировки Золотого Дома.

Если ужь надо придираться къ картинамъ московскихъ

художниковъ, я, наоборотъ, поставилъ бы имъ на видъ чрезмѣрную благоустроенность и роскошь ихъ Рима. Онъ въ вѣкъ Цицерона и Юлія Цезаря былъ гораздо проще и бѣднѣе. Москвичи показываютъ намъ мраморный и обштукатуренный Римъ вѣка Флавіевъ, на сто двадцать пять лѣтъ впередъ отъ Юлія Цезаря. Однако винить ихъ за то было бы грѣшно, ибо отъ кирпичнаго и деревяннаго Рима до Августава дошло до насъ слишкомъ мало архитектурныхъ памятниковъ и мотивовъ, а пѣтись къ первобытной простотѣ отъ великолѣпія Флавіевъ и Антониновъ фантазіей—дѣло рискованное, и погоня за чрезмѣрною правдою могла бы повести къ сугубой лжи. Собственно говоря, помѣщать Брута среди изящныхъ бѣлыхъ мраморовъ его виллы—такъ же неправдоподобно, какъ, напримѣръ, изобразить Екатерину Великую, ѣдущую по современному Невскому проспекту. Это надо отнести и къ рабочему кабинету Юлія Цезаря, хотя этотъ эллинофилъ, пожалуй, могъ значительно опередить вѣкъ роскошью и изяществомъ своего дворца. Грязная же улица, показанная москвичами,—положительно и несомнѣнно—одна изъ лучшихъ улицъ, возможныхъ для юліанской столицы. Помилуйте! Къ ней примыкаетъ другая улица, даже съ портикомъ въ круглую арку, какими украсилъ Римъ, планируя его по своему вкусу, только Неронъ!

Тѣмъ, кто бывалъ на Mercato Неаполя, на его нынѣ угасшей Santa Lucia, на Toledo—въ праздникъ, на разныхъ лѣтнихъ fiere и feste окраинъ этого безумно милаго и безпутно празднаго города,—тѣмъ и переулки, и толпа московской труппы скажутъ необычайно много знакомаго и будутъ любезны и близки... Правду скажу: сперва я обрадовался, а потомъ даже тоскливо стало немножко,—сердце застучало по давно невиданной свѣтлой странѣ, какъ по второй родинѣ! Нельзя лучше схватить и передать на сценѣ окраинный, простонародный Неаполь. А Неаполь—единственный городъ въ Европѣ, еще могущій дать

понятіе о бытовомъ укладѣ древней римской черни, съ ея жизнью на улицѣ и только сномъ подѣ крышею... Вездѣ великолѣпна толпа эта: и когда она съ испугомъ разбѣгается при видѣ постигшаго Цезаря припадка падучей, и когда таетъ,—по одному человѣку, и каждый человѣкъ—своеобразно, какъ особый характеръ!—подѣ грозою; когда аплодируетъ, перекидываясь отрывочными фразами, на форумѣ то Бруту, то Марку Антонію; когда, по голосу этого демагога, поднимается возстаніемъ и крушитъ скамьи и лавки, чтобы на нихъ сжечь прахъ Цезаря: фактъ историческій, отмѣченный московскими режиссерами съ внимательностью, дѣлающею имъ честь, но, къ сожалѣнію, не всѣми понятою. Я самъ слышалъ—позади себя—недоумѣніе:

— Зачѣмъ это они изломали скамьи?!

Древняя исторія у насъ не въ почетѣ и слишкомъ для многихъ, даже весьма интеллигентныхъ людей сводится къ нѣсколькимъ страничкамъ Иловайскаго и къ старинной глубокомысленной пѣсенкѣ, будто

Аристотель оный,
Мудрый философъ,
Продаль панталоны
За настойки штофъ.
Цезарь, сынъ отваги,
И Помпей герой
Продавали шпаги
Тою же цѣной!

Между тѣмъ, умная, продуманная, тонкая, поразительно детальная постановка «Юлія Цезаря» рассчитана на зрителя, очень хорошо освѣдомленнаго объ исторіи вѣка и въ ходѣ событій, и въ культурѣ. Для зрителя просто, московскій «Юлій Цезарь»—только изъ ряда вонъ великолѣпный спектакль, для зрителя съ историческимъ образованіемъ—блестяще защищаемая диссертация, только не въ словахъ, а въ костюмахъ, краскахъ, жестахъ, гримахъ, группахъ. Это такъ ново, такъ почтенно, что, право, даже не хочется и отмѣчать немногіе промахи мо-

сковскихъ художниковъ... Нѣтъ! Богъ съ ними! Да будетъ имъ триумфъ! Да будетъ имъ триумфъ!

Кое какія мелочи, признаюсь, мною непоняты и представляются странными. Напримѣръ, сомнительно, чтобы Юлій Цезарь сталъ перекликаться съ Кальпурніей о средствахъ оплодотворить оную—черезъ цѣлую площадь. Въ отвѣтъ на столь громогласную интимность, римская насмѣшливая толпа подняла бы такую бурю хохота и острыхъ словъ, что откровенный властитель провелъ бы весьма щекотливую четверть часа. Чернь въ Римѣ была на этотъ счетъ безцеремонна, и тотъ же Цезарь глоталъ отъ нея самыя ѣдки шуточки и эпиграммы, преподносимыя во всеуслышаніе. Тутъ, очевидно, режиссеры принесли правдоподобіе діалога въ жертву красивому зрѣлищу двухъ носилокъ. Кстати о Цезарѣ. Когда г. Качаловъ ведетъ подозрительный монологъ о Кассіи, не лучше ли Кассію стоять поближе—такъ, чтобы зловѣщая фигура его оправдала просьбу Цезаря къ Марку Антонію:

Я, впрочемъ, говорю о томъ, чего
Бояться надо, самъ же не боюсь:
Всегда я—Цезарь. Перейди направо—
Я глухъ на это ухо—и скажи,
Что именно ты думаешь о немъ...

Это—слова человѣка, которому не нравится выраженіе въ лицѣ тайнаго врага, стоящаго направо, —человѣка, желающаго, чтобы между нимъ и врагомъ сталъ, на всякій случай, вѣрнопреданный другъ.

Я пропускаю безъ описаній изумительную грозу, вызывающую столько толковъ въ публикѣ и печати: это—чудо чисто техническое. О томъ, какъ таетъ толпа подъ грозою, какъ запираются лавки, утихаютъ въ нихъ ужинающіе люди, и умираетъ римскій день, переходя въ зловѣщую ночь, съ пятнами фонарей и свѣта изъ дверныхъ щелей—просто скажу: идите и смотрите!

Я встрѣтилъ въ нѣкоторыхъ рецензіяхъ замѣчаніе, что врядъ ли римскіе вельможи могли блуждать подъ ноч-

нымъ дождемъ, одни-одинешеньки, безъ свиты рабовъ и кліентовъ. Что касается кліентовъ, то они не были пришиты къ патрону безотлучно, и не надо думать, чтобы знатный римлянинъ не могъ никогда остаться одинъ и обязательно зрѣлъ предъ собою умильную фізіономію кліента, всегда и вездѣ. Рабы болѣе вѣроятны и не были бы не кстати, но они и не необходимы. Одинокіе путники ночью въ Римѣ были нерѣдки, хотя и не безопасны: знаменитый трагическій актеръ Росцій, пріятель Суллы, былъ убитъ грабителями именно на такой одинокой ночной прогулкѣ. Но надо же дать свою долю въ пьесѣ и Шекспиру, заставившему вельможъ римскихъ бесѣдовать на улицѣ, подъ громомъ и молніей, о предметахъ, которые обсуждать въ присутствіи рабовъ и кліентовъ не слишкомъ-то удобно. Притомъ, Каскѣ (онъ же и вооруженъ) служить въ одиночествѣ извиненіемъ его панической ужасъ предъ вѣщими видѣніями ночи, а Кассію—общая театральность его мрачнаго политическаго экстаза. Цицеронъ же—при рабѣ, съ факеломъ... Разлакомленный прекрасными живыми картинами москвичей, я скорѣе сътую на нихъ за то, что ночь античнаго Рима они передали гораздо скупѣе въ деталяхъ, чѣмъ римскій день. И ужъ очень она тиха и безлюдна у нихъ, а между тѣмъ римскіе сатирики жалуются, что отъ ночного шума жизнь въ столицѣ міра становилась невтерпѣжъ. Ночь, какъ и теперь, была временемъ движенія ломовыхъ извозчиковъ, дорожныхъ колывагъ, по ночамъ ходили бѣдняковъ, — рыскали хулиганы и проститутки, — звенѣли серенады... Правда, послѣ сильной грозы всѣ звуки столичной ночи могли поотсырѣть. Но садъ Брута уже могъ бы и не быть погруженнымъ въ столь мертвую тишь.

Центръ трагедіи—убійство Юлія Цезаря—передается труппою со всѣмъ пониманіемъ важности сцены этой—и для пьесы, и какъ историческаго момента. Грозно и естественно нарастаетъ ропотъ сенаторовъ въ отвѣтъ на пре-

зрительныя дерзости диктатора. Ловко замыкается роковое кольцо облавы, преслѣдующей «олена, лѣсомъ для котораго былъ міръ»... Децій—у ногъ властелина... «Такъ говорите-жъ руки за меня!..» Кинжалъ Каски... Вопль... «И ты, Брутъ!..» Рухнуло у ногъ Помпея огромное тѣло въ пурпурѣ,—и—паника!.. Я отказываюсь описывать эту панику бѣлыхъ людей среди бѣлаго мрамора!.. Это опять надо видѣть, потому что дѣйствіе полутора минутъ можно было бы описывать хоть двадцать четыре часа: такую обширную хроматическую гамму ужаса передаютъ эти разнообразно искаженные лица, метанія, спотыканія, паденія, прятки и бѣгство безъ оглядки въ конецъ растерявшихся, въ одурѣлый табунъ превращенныхъ, людей. Скажу одно: знаменитая картина Жерома, изображающая смерть Юлія Цезаря и превосходная при всей своей академической условности, теперь представляется мнѣ не болѣе, какъ искуснымъ трагическимъ балетомъ. Впечатлѣніе смерти чловека, государя, божественнаго Юлія Цезаря такъ сильно, что, право, даже жаль, зачѣмъ москвичи не сокращаютъ нѣсколько дальнѣйшихъ разглагольствій сенаторовъ съ слугой Марка Антонія и съ нимъ самимъ, расхолаживающихъ ужасъ сцены... Паника въ куріи Помпея—*chef d'oeuvre*, послѣднее слово режиссерскаго искусства. Здѣсь московскій театръ превзошелъ себя. Сказано слово такое большое и объемистое, что не обидно было бы даже, если бы оно и впрямь оказалось послѣднимъ въ сценическомъ искусствѣ,—предѣльнымъ, за которое уже невозможно шагнуть, потому что тамъ кончается сцена и начинается жизнь.

Ко второй половинѣ трагедіи—послѣ сцены убійства и рѣчей на Форумѣ—къ лагернымъ и боевымъ сценамъ Брута, энергія спектакля оказалась какъ будто истрачена, и воевали римляне съ обѣихъ сторонъ скучновато... Но, зато, какъ вѣрно переданъ характеръ унылыхъ лысыхъ горъ—древняго поля битвы при Филиппахъ—нынѣшняго Филибе! Глядя на сцену, я съ печальнымъ удовольствіемъ

вспоминалъ сѣрые, безрадостные утесы Черногоріи, Албанскаго побережья и Битолійскаго вилайета. Такъ и ждешь, что вотъ поползутъ по скаламъ, какъ вши, противныя, унылыя, желтыя овцы и выглянуть откуда нибудь косматая феска и ружье полу-чабана, полу-разбойника.

Я отчасти согласенъ съ тѣми, кто находятъ, что, при всѣхъ совершенствахъ постановки, при всей добросовѣстности игры, зритель московскаго «Юлія Цезаря» уносить изъ театра осадокъ нѣкоторой неудовлетворенности и какъ бы раздвоенія душевнаго... Думаю, что источникомъ этого «чего-то не хватаетъ» является тайный антагонизмъ, несомнѣнно существующій между трагедіей Шекспира и реалистическимъ направленіемъ московской труппы. Послѣдняя твердо рѣшила, что «Юлій Цезарь» — пьеса *римская* и обставила, и сыграла ее добросовѣстнѣйшимъ образомъ, какъ таковую, выставивъ впередъ всю римскую внѣшность трагедіи. Между тѣмъ «Юлій Цезарь», какъ говорилъ я вчера, — совсѣмъ не римская пьеса, но лишь пьеса въ римскихъ костюмахъ и съ ходовыми фразами-цитатами изъ Плутарха, усвоеннаго Шекспиромъ въ толкованіи англійскаго переводчика, и понятаго въ высшей степени на рыцарскій, феодальный ладъ. Поэтому, — чѣмъ правдивѣе изображали артисты и режиссеръ Римъ и народъ римскій, тѣмъ глубже уходилъ вглубь «Юлій Цезарь» Шекспира и блѣднѣлъ аристократическій тонъ, въ какомъ написана трагедія. Для того же, чтобы актеры одолѣли Шекспира въ этой — сюрпризной, быть можетъ, даже для нихъ самихъ — борьбѣ съ нимъ, и, отринувъ его тенденцію, показали демократическую идею Рима, въ трагедіи нѣтъ достаточныхъ элементовъ. Въ результатъ — отъ шекспировой тенденціи и психологии, изъ нея истекающей, труппа ушла, а до Рима современныхъ взглядовъ и моммсеновой теоріи шекспировъ текстъ ея не допустилъ. Публика, предъ которой прочитанъ блестящій живописный курсъ римской исторіи и археологіи, не видитъ за ними Шекспира, а съ Шекспи-

ромъ—исчезаетъ духовный замыселъ пьесы: остается только блестящій спектакль—для зрителя просто, интереснѣйшій музей—для зрителя съ историческимъ знаніемъ. Этого-то внутренній разладъ старой романтической идеи пьесы съ новыми реалистическими идеями исполненія, инстинктивно чувствуемый публикою, и порождаетъ указанное недовольство. А слабость нѣкоторыхъ отвѣтственныхъ исполнителей его подчеркиваетъ. Публика слишкомъ ясно сознаетъ, что Римъ, изображаемый трупкою, не тотъ Римъ, который воображалъ себѣ Шекспиръ, и, если Римъ трупы вѣренъ, то фальшиво было общее представленіе о немъ Шекспира, хотя частности, бывшія ему не по сердцу, онъ угадалъ съ поразительною прозорливостью (напр. рѣчь Марка-Антонія).

Набросокъ свой позволяю себѣ заключить извиненіемъ предъ читателемъ за его невольную длинноту («не было времени писать коротко», какъ оправдывался кто-то) и искреннею благодарностью отъ лица не только своего, но,—я увѣренъ,—и отъ многихъ-многихъ внимательныхъ зрителей талантливымъ руководителямъ и артистамъ московскаго художественнаго театра—прекраснаго предпріятія, такъ успѣшно объединившаго научное знаніе съ искусствомъ. Шекспиръ въ «Юліи Цезарѣ», можетъ быть, и не ожилъ,—зато древность ожила... А это—рѣдкость изъ рѣдкостей и, новизною сильныхъ впечатлѣній, платить за Шекспира!

О воинской повинности.

Г. Борскій въ «Спб. Вѣдомостяхъ» поднималъ вопросъ объ избавленіи отъ обязанностей воина талантливыхъ людей, полезныхъ отечеству на другихъ поляхъ общественной дѣятельности. Вопросъ и очень важный, и чрезвычайно щекотливый. Излишне говорить, что внутренъ онъ самымъ добрымъ и честнымъ чувствомъ—вполнѣ понятнымъ ужасомъ предъ смертнымъ рискомъ, фатально возникающимъ, по суровому зову войны, для представителей мирныхъ, такъ называемыхъ, свободныхъ профессій: артистовъ, юристовъ, писателей и пр. Не военные по наукѣ, ремеслу и призванію, люди эти практически бесполезны въ рядахъ дѣйствующей арміи и представляютъ въ ней собою не болѣе, какъ «пушечное мясо». И, конечно, при мысли, что, чрезъ военное равеніе всѣхъ подъ одну шапку, въ пушечномъ мясѣ могутъ очутиться ярчайшіе люди ума и таланта, соль Русской земли, Чеховы, Горькіе, Вересаевы, никто не испытаетъ восторга, у каждаго сердце сожмется страхомъ и болью за всѣмъ дорогого человѣка. А съ другой стороны—какъ же избѣжать-то?

Всеобщая воинская повинность,—одинъ изъ немногихъ демократическихъ принциповъ, вполнѣ усвоенныхъ современными государствами и воспитывающихъ въ лонѣ ихъ начала всеобщности. Въ государствахъ, гдѣ вопросы войны и мира разрѣшаются народнымъ представительствомъ, всеобщая воинская повинность есть, въ значительной сте-

пени, тормозъ войны и цементъ мира, ибо всесословная армія—вооруженное общество, и, стоя предъ выборомъ войны или мира, общество не слишкомъ то спѣшить посылать подъ пули часть самого себя. Извѣстно, съ какою неохотою принимаются народнымъ представительствомъ крупные военные бюджеты Германіи, Австріи, Италіи; извѣстно, что никакія усилія шовинизма не въ состояніи были въ теченіе тридцати слишкомъ лѣтъ увлечь французскій народъ въ авантюру реванша, хотя она и очень льстила патріотическому чувству Франціи, униженной въ прусской войнѣ 1870 года. Необходимость обществу выступить на самозащиту или въ обязательное нападеніе рѣшаетъ само общество, и когда оно постановило неизбежность военныхъ дѣйствій, то всею массою своею само за нихъ и отвѣчаетъ, безъ различія сословій, капиталовъ, профессій: въ арміи каждый гражданинъ-солдатъ социаль-но равенъ другому, какъ въ смерти равенъ другому каждый человѣкъ.

Таково идеальное представленіе о всеобщей воинской повинности, какъ живой формулѣ ополченія народной самозащиты. Реальность даетъ, конечно, лишь большія или меньшія приближенія къ этому идеалу, неизмѣнному въ самыхъ зыбкихъ, протеевыхъ метаморфозахъ со временъ маленькихъ греческихъ республикъ до чудовищныхъ колосовъ современнаго милитаризма. И демократическій, уравнительный характеръ всеобщей воинской повинности настолько яркъ, что и государства автократическія, когда приходили къ убѣжденію въ насущной полезности этой реформы, приступали къ ней въ моменты рѣшительной перестройки своего уклада на начала всесословности: такъ, у насъ въ Россіи всеобщая воинская повинность явилась прямымъ результатомъ освобожденія крестьянъ и, конечно, безъ этого фундамента была бы немислима.

Итакъ основная идея всеобщей воинской повинности—равенство гражданъ въ обязанности защищать госу-

дарство, не нарушаемое никакими отличіями сословія, профессіи, образованія. Цензъ послѣдняго даетъ лишь сокращеніе сроковъ обязанности, не погашая ея потенциальнаго теченія. Обязанность уничтожается лишь физическою непригодностью гражданина къ ея отправленію. Это—для всѣхъ безъ исключенія.

Война—зло, и все, что служить и работаетъ на войну, конечно, также зло. Этически, разумѣется, подлежитъ отрицанію всякая организація, имѣющая задачею бойню людей людьми. Но, покуда мы живемъ не въ Новомъ Іерусалимѣ Іоаннова Откровенія, политическое существованіе подобныхъ организацій—неизбѣжное бѣдствіе земли, а наука убивать и быть убиваемымъ—ея роковое знаніе. Прогрессъ человѣчности выражается, покуда, только тѣмъ, что старыя жестокія организаціи, истекавшія изъ грубыхъ феодальныхъ правъ человѣка на жизнь и смерть другого человѣка, смѣнились новыми, дѣйствующими болѣе умѣренно и въ рамкахъ сословнаго соглашенія: полудикія наемныя орды Тилли и Валленштейновъ, сдаточныя изъ крѣпостныхъ арміи Суворова и т. д. уступили мѣсто арміямъ солдатъ краткосрочной службы, арміямъ Мольтке, Скобелева, Драгомирова, Куропаткина. И военная сила, которая въ феодальныя вѣка, была принципиальнымъ орудіемъ разрушенія человѣческаго равенства, теперь и сознательно, и безсознательно работаетъ на его идею всеобщую воинскую повинностью. Изъ зольъ выбрано человѣчествомъ наименьшее: изъ военныхъ организацій—та, которая наиболѣе выкупаетъ свой прямой вредъ компромиссами косвенной пользы.

Требованіе, чтобы талантливые не-военными дарованіями люди избавлялись отъ всеобщей воинской повинности, ставить вверхъ дномъ ея основную демократическую идею и слагаетъ въ обществѣ новый привилегированный классъ—аристократію «свободныхъ профессій». Пусть это будетъ лучшая изъ аристократій, аристократія умственного и образовательнаго ценза, однако, все же—аристокра-

тія, все же—классъ, которому государство почему-то уступить право на жизнь въ размѣрахъ, большихъ, чѣмъ другимъ классамъ, а защитительныя общегражданскія обязанности котораго льготно сократить. Это—призывъ къ обратному дробленію демократически собраннаго общества, къ созданію особой сверхъ-гражданской касты, очень гордо привилегированной. И кто же дастъ критерій къ организации подобной касты? Изъ какихъ элементовъ должна она сложиться? Толчекъ къ статьѣ г. Борскаго далъ призывъ на дѣйствительную службу нѣсколькихъ оперныхъ пѣвцовъ и одного адвоката. Я сильно сомнѣваюсь, чтобы устройство голосовыхъ связокъ могло служить достаточнымъ фундаментомъ для классификаціи людей на обязанныхъ умирать за отечество по востребованію и на избавленныхъ отъ такой обязанности. Эта разница потерпѣла крушеніе на многихъ фундаментахъ посоліднѣе: не поддерживали ее ни цензъ происхожденія, ни цензъ капитала, ни цензъ образовательный,—нельзя, конечно, построить ее и на томъ условіи, что Ивановъ въ состояніи закричать верхнее «до-дѣзъ» и прополоскать горло фіоритурами, а Сидоровъ подобныхъ возможностей лишенъ и, слѣдовательно, долженъ идти подъ японскія пули, покуда Ивановъ будетъ пѣть въ оперѣ, на утѣшеніе сытой буржуазіи Петербурга и Москвы. «Я не подлежу всеобщей повинности потому, что хорошо пою армію Ленскаго передъ дуэлью»,—вотъ, собственно говоря, все логическое построеніе предложеннаго требованія. Согласитесь, что въ какой-либо глухой сѣверной деревнѣ, гуртомъ отправляющей своихъ поилъцевъ-кормильцевъ подъ огонь японскихъ пулеметовъ, заявленіе подобнаго освободительнаго ценза вызвало бы глубочайшее недоумѣніе: какое кому дѣло до того, что ты хорошо поешь какую-то арію Ленскаго? и почему оторвать тебя отъ аріи Ленскаго нельзя и грѣхъ, тогда какъ тысячи людей отрываются отъ пашень, ткацкихъ станковъ, машинъ, промышленныхъ и коммерческихъ дѣлъ, которыми кормятся

ихъ семьи и поддерживается государственная жизнь? Хорошо вспаханная полоса для общества важнѣе хорошо спѣтой аріи, и портной Гришка Захолустный, узнавъ, что освобождаются за свои таланты отъ воинской повинности гг. Собиновъ, Шевелевъ и др., пожалуй, скажетъ:

— Почему же гонять на войну меня? Ежели вы печетесь о талантѣ, то насчетъ кройки—я самъ въ своемъ ремеслѣ Собиновъ!

Ибо талантъ—понятіе въ высшей степени зыбкое и условное, и,—какъ бы г. Борскій по справедливости распредѣлилъ, которому таланту идти подъ пули, которому сидѣть дома въ запечьи,—признаюсь, я представить себѣ не могу. Во всякомъ случаѣ, недовольныхъ классификаціей оказалось бы видимо-невидимо, такъ какъ «всякому своя слеза солона», и—какой же теноръ не считаетъ себя Собиновымъ? Какой же беллетристъ не уповаетъ стать Чеховымъ? Какой же художникъ не мнитъ себя будущимъ Левитаномъ? Адвокатъ—Спасовичемъ, Пассоверомъ, Плевако? Такъ что, съ мѣста въ карьеръ, требуется особый трибуналъ для созданія въ свободныхъ профессіяхъ своеобразнаго генералитета, что ли: вы въ рангъ чеховскихъ или Максимовыхъ заслугъ,—васъ оставляютъ дома, въ видѣ національнаго раритета; ну, а если вы только «подмаксимовикъ»,—тесакъ вамъ да ранецъ... Затѣмъ вопросъ: кто долженъ заняться учрежденіемъ подобнаго трибунала? Правительство? Общество? Но литературные и художественные вкусы правительственныхъ учреждений у насъ въ Россіи далеко не тождественны съ критическою оцѣнкою талантовъ обществомъ, и весьма многіе «любимцы публики» не нашли-бы ни малѣйшаго снисхожденія въ судѣ правительственнаго трибунала, равно какъ, наоборотъ, общество весьма равнодушно встрѣтило-бы, напримѣръ, извѣстіе, что издатели иныхъ субсидированныхъ изданій назначены рядовыми въ батальоны манчжурской арміи.

Люди таланта рѣдко жизнелюбивы. Между русскими

писателями прошлаго было много военныхъ людей и много воинственно храбрыхъ, при чемъ во главѣ списка надо поставить двухъ первыхъ поэтовъ нашихъ—Пушкина и Лермонтова. Въ моменты возбужденія страны войною, въ прежнее время, русскіе талантливые люди не только не уклонялись отъ дѣятельнаго участія въ грозѣ текущихъ событій, но, напротивъ, шли первыми въ ряды ополченскихъ или добровольческихъ дружинъ, въ санитарные отряды и т. п. Въ настоящей войнѣ оно, дѣйствительно, не совсѣмъ то такъ, и то обстоятельство, что раздаются въ печати протесты противъ отпуска на войну талантливыхъ людей, очень знаменательно. Наша японская война—первая русская колоніальная война, война за выгоды, за матеріальный успѣхъ. Альтруистическаго элемента, какимъ дышали наши прежнія крестоносныя и освободительныя войны, создавая идейные подъемы Севастополя и Плевны, въ ней нѣтъ нисколько. Воюя за какія то матеріальныя блага,—къ тому же весьма вилами на водѣ писанныя,—мы, какъ во всякомъ матеріальномъ дѣлѣ, нынѣ не столько увлекаемся, сколько считаемъ, прикидывая возможный балансъ прихода и расхода. Смущаясь мыслью, чтобы не заплатить за грядущія матеріальныя пріобрѣтенія слишкомъ дорогою цѣною, общество инстинктивно придерживаетъ въ нѣдрахъ своихъ внутреннія свои силы, какъ пригодныя на лучшую затрату, чѣмъ въ этой войнѣ. Отсюда и наивно построенный протестъ противъ верстки «тантантовъ» въ ряды дѣйствующей арміи, не слышанный и немислимый въ періоды войнъ «убѣжденія», когда талантливыхъ людей, отбывавшихъ къ Черняеву и Скобелеву, провожали дружныя рукоплесканія всей Россіи, и воинъ-крестоносецъ, освободитель славянства, временно заслонялъ въ человѣкѣ всѣ иныя его дарованія и пригодности. Ближній Востокъ—столь старая и общеизвѣстная наша историческая арена, что всякое военное приключеніе на ней легко объяснить даже самому темному россія-

нину тремя-четырьмя словами, отъ единокровныхъ и единовѣрныхъ славянъ до Олегова щита и креста на Св. Софїи включительно. Дальнїй-же Востокъ слишкомъ новъ и неожиданъ въ числѣ нашихъ политическихъ задачъ; въ русское самосознаніе онъ, какъ искусственная прививка съ чужого дерева, впитаться не успѣлъ; японская война разразилась прежде, чѣмъ идеи Дальняго Востока были усвоены и поняты русскимъ обществомъ. Пришлось воевать раньше, чѣмъ массы могли постичь, за что воюемъ. Наши несчастія въ началѣ войны послужили, до известной степени, къ благу хоть тѣмъ, что дали готовые отвѣтныя формулы на общественные вопросы о причинахъ войны: воюемъ-молъ, чтобы наказать японцевъ—за атаку порть-артурскаго рейда, за «Петропавловскъ», за Ялу. Это, хоть и грубо, но, по крайней мѣрѣ, понимается легко, сразу, прямою, образною мыслью. А вѣдь ранѣе—для того, чтобы разобраться въ причинахъ, создавшихъ для насъ роковое значеніе Манчжурїи, нужны были часовыя лекціи—да и не только темнымъ людямъ, но и интеллигентнымъ. Теперь война прїобрѣла фізіономію и окраску, какъ «война мщенія», раньше она двигалась совсѣмъ безликая, какъ Беллона подъ покрываломъ. Проектъ г. Борскаго—одинъ изъ многочисленныхъ симптомовъ той пытливости, съ какою общественное мнѣніе старается заглянуть подъ это покрывало и опредѣлиться въ расчетъ: стоитъ-ли игра свѣтъ? не купить-бы дорогою цѣною дешеваго товара?

Проектъ г. Борскаго не симпатиченъ мнѣ аристократическою тенденціей дѣлить человѣчество на соль земли, достойную сохраненія подъ стекляннымъ колпакомъ, и на пушечное мясо, которое—ничего, если и пропадетъ. Но повторяю: мнѣ понятенъ вполне естественный порывъ жалости, которымъ сложился этотъ проектъ, вѣроятно, подогнанный впередъ трагическимъ впечатлѣніемъ напрасной гибели Верещагина. Но критерій «таланта», все-таки, не

состоятеленъ, какъ увольнитель гражданина отъ общегражданской обязанности. И «таланты» слишкомъ разнообразны, и слишкомъ надменное, почти божеское начало привилегіи кастовой слагается подобнымъ критеріемъ, объединяющимъ нашихъ *hommes d'esprit* въ египетское жречество какое-то—«не для житейскаго волненія, не для корысти, не для битвъ». И, наконецъ, почему одинъ талантъ жалъ отпустить на войну, а другой—внго характера, но равной силы не только можно, но даже—въ томъ его какъ бы призваніе и провиденціальное назначеніе?! Макаровъ, въ своемъ родѣ, такая же богато одаренная натура, какъ Верещагинъ, и, конечно, для общей экономіи русскаго умственнаго капитала, ему тоже гораздо лучше было бы остаться въ живыхъ, чѣмъ лежать на днѣ Желтаго моря. Положимъ, Макаровъ, какъ военный,—«взявшій мечъ», а «взявшій мечъ отъ меча и погибнетъ». Но, увы! Гдѣ же то, государство, да и то общество, которое согласится, чтобы мечъ въ немъ брали только люди кругомъ бездарные и махровые дураки, а люди ума и таланта охранялись отъ прикосновенія къ мечу ненарушимымъ табу?

Отрицая справедливость выкупа отъ всеобщей воинской повинности по критерію таланта, я думаю, что 1) гражданинъ съ талантомъ долженъ нести свои государственныя обязанности въ равной мѣрѣ со всякимъ другимъ гражданиномъ, 2) дѣло общественнаго вниманія—поставить гражданина съ талантомъ, во время исполненія имъ своихъ государственныхъ обязанностей, такъ, чтобы подъ бременемъ ихъ не погибъ безплодно его талантъ, не сломилась дорогая обществу сила. Требованія строгой теоріи умиротворяются практическими компромиссами. Дѣло начальника части памятовать, что ввѣренный ему рядовой Всеволодъ Гаршинъ — существо, Богомъ мѣченное и не должное быть истраченнымъ понапрасну въ какой-нибудь безцѣльной рекогносцировкѣ или просто замучась въ караулахъ. Рядовой Гаршинъ несетъ честно свой военный

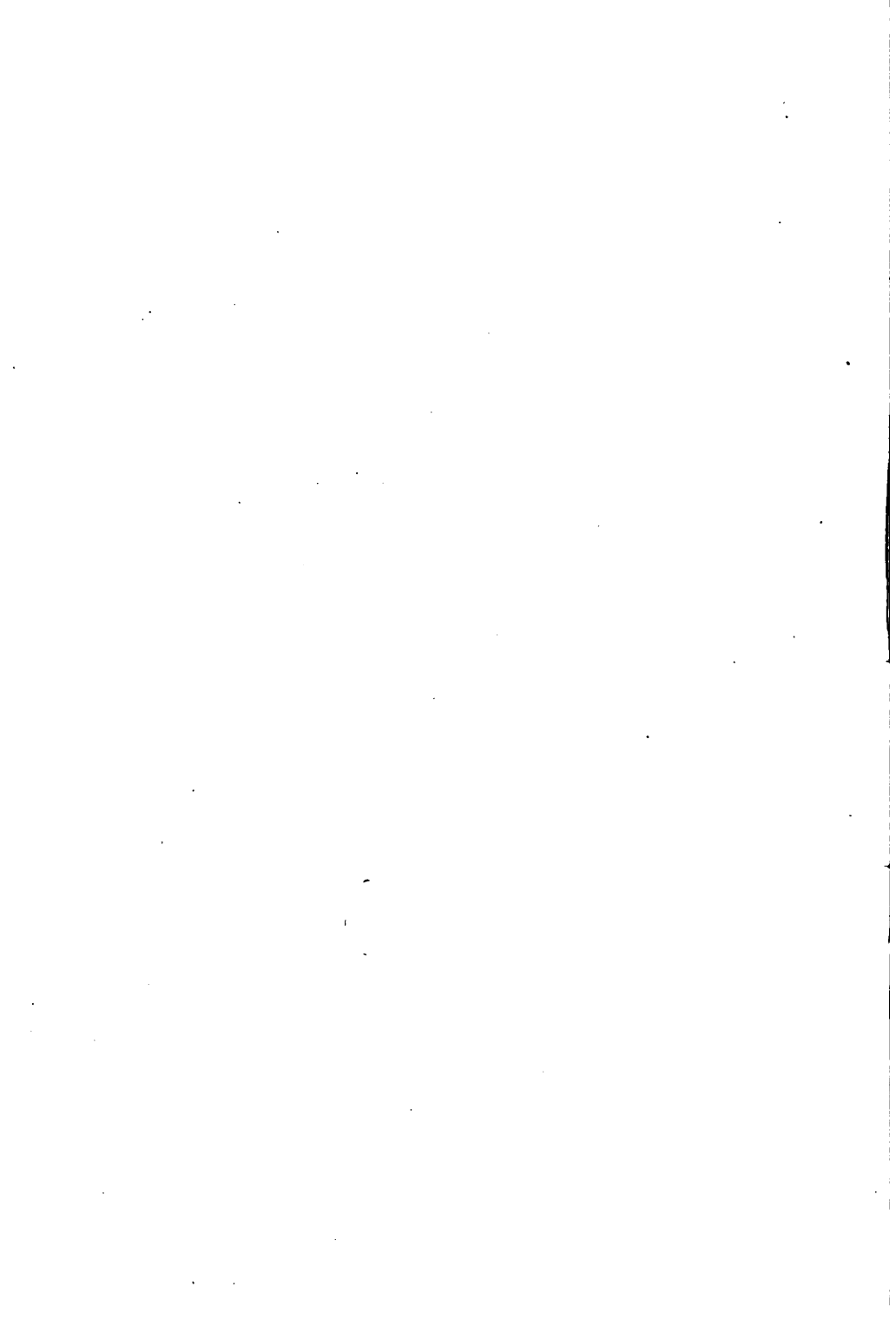
долгъ, а общественный долгъ военнаго міра — облегчить рядовому Гаршину исполненіе военнаго долга въ той мѣрѣ, какъ то возможно и по скольку того рядовой Гаршинъ самъ пожелаетъ. Изъ опыта же мы знаемъ, что рядовые Гаршины и поручики Лермонтовы къ облегченіямъ не слишкомъ-то стремились. Мнѣ скажутъ: да, вѣдь найдется бурбонъ, который не только не облегчитъ, а еще за долгъ почтетъ и съ особымъ аппетитомъ устремится тѣснить попавшаго во власть ему, образованнаго умника? Не невѣроятно — выскъ же когда-то какой то извергъ Достоевскаго! Но палачи и мученики возможны, какъ злоупотребленія, на почвѣ каждой государственной дѣятельности, и большее или меньшее количество ихъ въ томъ или другомъ міркѣ зависитъ отъ вліянія на мірокъ общественности, отъ единенія съ обществомъ, отъ контроля его мнѣніемъ общества. Старинный замкнутый міръ солдатчины, куда ссылали людей, какъ въ каторгу, и гдѣ сѣкли *рядового Достоевскаго*, слава Богу, умеръ. Новый военный міръ, выдѣляемый обществомъ чрезъ равную для всѣхъ повинность, построенъ уже на иныхъ началахъ: онъ плоть отъ плоти и кость отъ костей общества и ничто, дорогое и родное обществу, не можетъ быть ему чуждымъ, и, что бережетъ общество, долженъ беречь и онъ. Если встрѣчаются исключенія, они — результаты слабаго общественнаго воздѣйствія, они, въ значительной мѣрѣ, остаются на совѣсти самого общества, стало быть мало единящагося съ средою военною, если какой-либо корпоративный недостатокъ послѣдней можетъ оказаться въ ней сильнѣе и властнѣе требованій общественнаго идеала. Гдѣ офицеръ и солдатъ помнятъ въ себѣ гражданъ, гдѣ высоко стоитъ общественное самосознаніе арміи, тамъ никакому таланту не страшно отправленіе воинской повинности и не надобны уловки къ дезертирству отъ нея. Такъ вотъ и дай Богъ отечеству нашему какъ можно скорѣе и усиленно растить въ войскахъ своихъ эту силу общественнаго самосознанія, единящую солдата съ

гражданиномъ, уничтожающую старинный феодальный предрасудокъ ихъ противопоставленія одного другому... Вмѣстѣ съ ростомъ этимъ погаснутъ и боязливыя скорби, вродѣ проекта г. Борскаго: общество перестанетъ страшиться, ввѣряя опекѣ арміи силы, ему дорогія; армія постарается хранить ввѣряемыя ей силы со всѣмъ благоговѣніемъ, какого онѣ заслуживаютъ. Не робкимъ отстраненіемъ отъ военнаго міра сберегутъ себя для отечества русскіе таланты, но общественнымъ развитіемъ военной среды, неуклонно растущимъ въ ней подъемомъ гражданскаго самочувствія и самоотчета, необходимымъ взаимоуваженіемъ и взаимоохраненіемъ меча и пера, пушекъ и парусовъ, военнаго плаща и тоги... Работать на это единство, на этотъ подъемъ, на это развитіе—прямой долгъ каждого образованнаго и мыслящаго гражданина, для котораго міръ не кончается настоящимъ, а есть въ немъ и вѣра, и прозрѣніе въ лучшее будущее.



СОДЕРЖАНІЕ.

	СТР.
Памяти Антона Павловича Чехова.	1
Николай Семеновичъ Лѣсковъ.	77
Николай Константиновичъ Михайловскій.	95
Генрихъ Семирадскій и «Дирcea».	105
Николай Петровичъ Роцинъ-Инсаровъ.	139
Павелъ Васильевичъ Шейнъ.	153
Верди.	159
Петръ Ивановичъ Кичеевъ.	169
Александръ Ивановичъ Урусовъ и Григорій Аветовичъ Джаншѣвъ.	181
Ларошъ.	193
Полемическіе листки 1904 года.	205
Объ «овечьихъ добродѣтеляхъ».	207
О хулиганахъ.	221
Японія и еврейство.	236
Портъ-Артуръ и Севастополь.	258
О сибирскомъ земствѣ.	265
Изъ записокъ напраснаго молодого человѣка.	285
О партійности.	302
О критикѣ.	319
«Юлій Цезарь».	339
О воинской повинности.	361



UK 65024/61-236

5-

TO → 202 Main Library

2

3

5

6

Renewals and recharges may be made 4 days prior to due date.

INTERLIBRARY LOAN

GCT 19 1980

UNIV. OF CALIF., BERK.

BERKELEY, CA 94720

U. C. BERKELEY LIBRARIES



C047801159

YC15940

